

33574

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТАЛИ

ДНЕВНОЙ СВЕТ
В СУББОТУ

0222 205117402 31 11 74



М

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСЛИ

ДНЕВНОЙ СВЕТ В СУББОТУ

РОМАН ОБ АВИАЗАВОДЕ

Перевод с английского

М. Е. Абжиной



ОГИЗ

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1944

J. B. PRIESTLEY
DAYLIGHT ON SATURDAY
1943

Редактор Э. Гяльдина
Обложка худ. И. Николаевцева

Подп. к печати 18.VIII—44. А7913. Тираж 15 000.
14½ печ. листов. 15,4 уч. авт. листов. Цена 6 р.

6-я типография треста «Полиграфкинг» ОГИЭ при СНК РСФСР
Москва, 1-й Самотечный пер., 17.

ОТ АВТОРА

Прежде всего я хочу заверить многочисленных друзей и знакомых, которых приобрёл на авиазаводах во время моих посещений, что я не стремился отобразить в этом романе ни их заводы, ни их самих. Здесь все — художественный вымысел. Затем прошу иметь в виду, что отсутствие в романе всяких технических подробностей не случайно и объясняется не моим невежеством или ленью, — хотя я порою грешу и тем и другим, — а соображениями безопасности. Кроме того, я полагал, что если не загромождать фон романа такого рода деталями, то на этом фоне будет лучше виден человек в промышленности, а это, в сущности, и есть главная задача писателя.

В заключение позволю себе ещё раз напомнить, что это не репортаж, а роман, и его следует читать и критиковать именно как таковсй.

Март 1943

Д. Б. Пристли

1

Когда мы с вами проникнем внутрь завода, нам придётся уже там остаться, поэтому давайте бегло посмотрим на него снаружи. Это самый большой завод акционерного общества „Эмдлуунская самолётостроительная компания“, и, как известно, работает он отлично. Он приютился в туманной ложине одного южного графства, а за ним тянется длинная плоская равнина, которая служит испытательным аэродромом. Слэвэм, место самое подходящее. Конечно, оно немного в стороне — отсюда до ближайшего города десять миль, — но это как раз то, что нужно. Лётчики-испытатели неоднократно подтверждали, что с большой высоты завод почти не заметен. Крыши искусно замаскированы, а туго натянутая пёстрая сетка, скрадывающая острые углы, придаёт зданию сказочный вид. В иные дни не только сверху, но даже с земли нелегко разглядеть гигантские ангары. Когда смотришь сквозь туман на эти раскрашенные стены, можно подумать, что перед тобой какая-то необычайная игрушечная деревня.

Если бы кто-либо из наших дедов очутился вдруг в этом месте, он решил бы, что сошёл с ума. Людям старого века всё здесь должно пред-

ставляться совершенно фантастическим. Самая дорога к заводу выглядит так, словно не имеет ничего общего с окружающей местностью, словно её наспех раскинули здесь, как большой кремнистый ковёр. А о заводе — в те часы, когда он не бывает похож на игрушечную деревню с нарисованными деревьями и лугами, — можно подумать, что он не выстроен в долине, а привезён из каких-то далёких мест и брошен тут у дороги. Слово какое-нибудь дитя великана, для которого всё графство — только кучка песку, подобрало эту игрушку и небрежно воткнуло в песок, поправив её громадным указательным пальцем. Полдюжины судов, затиснутых между этими низкими зелёными холмами, вряд ли казались бы здесь более неуместными, чем этот завод.

Утром, лишь только рассветёт, в глазные ворота вливается огромная толпа людей — население целого городка. В сумерки она выливается обратно. Приезжают и уезжают в автомобилях, на велосипедах, в битком набитых автобусах. Наблюдателю это кажется похожим на магический фокус. Это и на самом деле настоящее колдовство. Откуда приходят все эти люди? Куда уходят? Кто они такие? Они возникают у ворот внезапно, огромной лавиной, смутно различимые в полумраке — ибо дневной свет в эти часы или ещё только занимается, или уже померк, — и сразу рассеиваются, исчезают. Скрежет колёс, гудение автомобильных рожков, звонки велосипедов, два-три громких возгласа то тут, то там — и толпы уже нет.

Так бывает каждый день — кроме субботы. В субботу дневной свет видит их и они видят дневной свет. Такова их жизнь, а сейчас, пожалуй, и жизнь каждого из нас. Дневной свет — только в субботу. Не раёнше.

Но что же происходит после того, как вы миновали грозные надписи „Вход посторонним воспрещается“, охраняемые ворота и ключую проволочку, прошли мимо полицейских сержантов с кирпично красными физиономиями, предъявили свой пропуск и отщёлкнули на контрольных часах время прихода? Не доберётся ли всё-таки до вас рано или поздно дневной свет внутри завода?

Нет, здесь не увидишь дневного света. Здесь нет окон. Потолки затемнены. Завод внутри похож на колоссальную низкую пещеру, залитую зеленовато-белым призрачным светом бесчисленных ртутных ламп. Здесь в три часа ночи и в три часа дня освещение одинаковое. Только по ритму работы можно определить, полдень сейчас или полночь. Вы словно заочены в глубине горы или на дне моря. Блистательное шествие часов. от утренней зари до яркого полудня, от заката — в сияющую ночь, извечная смена времён года, расцветание, созревание, увядание в окружающем мире, — всё осталось там, снаружи. А здесь — пещерная жизнь.

Пещера эта — волшебная. Здесь куются для вас деньги — столько, сколько вы никогда раньше не видывали, здесь в электрических печах кипят и дымятся тушёная баранина и имбирный пудинг и текут бесконечные потоки густого тёмного чая, здесь музыка, то бурная, то сладостная, звучит сквозь грохот и лязг машин, здесь сколько угодно ультрафиолетовых лучей и лучистого тепла. И сколько угодно срочной работы. Быть может, это та самая пещера, куда волшебник заточил Алладина и где спрятана чудесная лампа. Кто эту лампу отыщет и будет знать, как обращаться с нею, тот может требовать себе дворцы и сады и получит их. Да, возможно, что это та самая пещера.

Это зеленовато-белый улей, где в сотах хранятся отливки цветных металлов. Это термитник, из которого выходят громадные крылатые твари. Это силовая станция страны. Отнимите у неё эти черёжные, эти инструментальные цеха, длинные ряды машин, этих рабочих, занятых сборкой самолётов, — и через каких-нибудь десять дней по вашей спине будет гулять кнут. Никакие армии храбрых, хорошо обученных солдат, готовых ринуться навстречу смерти, никакие знамёна, национальные гимны и патриотические речи не могут спасти сейчас ни один народ в мире. Без таких заводов он обречён на гибель или порабощение. А эти заводы — сила. Не будь их, мы бы не выжили в нынешней войне, да и после войны вряд ли сможем существовать без них. Разумеется, тогда здесь будут другие машины, и они будут производить другие предметы, и темп работы будет иной, но в остальном не будет больших перемен. Заводы останутся и тогда силовыми станциями страны. Но нам ещё не известно, на кого будет работать эта сила! Мы можем только надеяться, ждать дневного света в субботу.

Итак, мы уже на заводе Элмдаунской компании, и останемся здесь. Солнце, месяц и звёзды для нас исчезли, здесь царит призрачный лунный свет ртутных ламп. Вокруг, куда ни глянь, лица, тысячи лиц, выступающих в этом театральном освещении с какой-то неестественной и порой пугающей чёткостью. Даже сквозь визг, грохот и скрежет металла о металл пробиваются голоса работающих. Глаза прикованы к станкам и прессам, к винтам и колёсам, к моткам изоляционного провода, к большим изогнутым стенкам самолётов, а в мозгу мечутся мысли, загораются и гаснут мечты. Здесь люди. Познакомимся же с некоторыми из них...

Управляющий заводом, мистер Джеймс Чевииот, стоял на внутренней галлерее, идущей вдоль северной стены главного цеха. Отсюда открывалось внушительное зрелище. Цех был огромный и казался ещё больше, чем был в действительности, благодаря необычайному освещению, погружавшему всё в сверкающий туман и увеличивавшему перспективу. Мистер Чевииот питал к своему заводу нежные отеческие чувства, и его до сих пор ещё поражала неожиданно открывавшаяся отсюда панорама производства, в особенности когда он показывал её посетителям. Но сегодня он был озабочен и, занятый своими мыслями, смотрел вниз рассеянно, не испытывая ни гордости, ни эстетического удовлетворения. Он заметил, однако, что целое отделение, псевдимоу, недостаточно загружено работой, но тут же вспомнил, что здесь ждут доставки деталей с одного из подсобных заводов. Он мысленно отметил, что нужно будет позвонить по телефону на этот завод и затем подогнать работу в отделении.

В эту минуту его секретарша, мисс Барроус, просунула голову в дверь и объявила, что его вызывают из министерства.

Он пошёл за ней по коридору, опоясывавшему галлерею, мимо кабинетов всей заводской администрации. Его комната находилась в самом конце. Войдя в неё, он тяжело плюхнулся в кресло— Чевииот был грузный и рыхлый человек, которому давно перевалило за пятьдесят,— и взял телефонную трубку.

Он слушал и время от времени вставлял несколько слов, а его лохматые, чёрные с проседью, брови (самое заметное в его широком заурядном лице) непрерывно двигались вверх и

вниз, похожие на крохотных пушистых зверьков, живущих своей отдельной жизнью.

Окончив разговор, он, шумно отдуваясь, повесил трубку и крикнул в открытую дверь мисс Барроус, чтобы она ометила у себя на календаре, что в четверг утром на завод приедут из министерства мистер Сэдли и мистер Монтегю. Потом попросил её позвать к нему его заместителя, мистера Блэндфорда, и главного инженера, мистера Элрика, но через час, не раньше, ибо он рассчитал, что куча бумаг, лежавшая перед ним на письменном столе, потребует доброго часа работы. Среди них, он знал, было несколько таких, над которыми придётся крепко поломать голову.

Чевиот был способный инженер и хороший организатор. Поэтому он отлично разбирался не только в той работе, которую делал и громадное значение которой хорошо понимал, но и во всех новых идеях техники и организации. Если он, как принято теперь говорить, и был представителем нового правящего класса завтрашнего (а может быть, и сегодняшнего?) дня, ничто в его образе жизни не давало повода думать, что он из тех, кто унаследует землю. Он жил очень скромно (если вообще можно говорить о какой-либо его жизни за стенами завода), на маленькой даче неподалеку, и миссис Чевиот, уютная маленькая женщина, лишённая всякой способности мыслить, большую часть домашней работы делала сама. У них было двое взрослых детей — сын в береговой авиации и дочь, которая недавно вышла замуж за военного и проводила мужа на фронт. Мистер Чевиот зарабатывал в последнее время много денег, но у него не было времени их тратить, если не считать того, что он иной раз покупал по баснословной цене коробку

сигар или ящик виски. Он понимал, что в его руках большая власть, что скоро, быть может, будет ещё гораздо бóльшая, и, разумеется считал, что он на это имеет полное право. Но в то же время он никогда не думал о себе как о представителе нового правящего класса, о большом человеке, Джеймсе Чевиоте, и не чувствовал никакой особенной разницы между собой и любым рабочим его завода. „У каждого свои обязанности, вот и всё, — рассуждал Джеймс Чевиот. Одним словом, он не рассматривал себя как человека особого сорта, подобно некоторым пожилым членам правления, которые считали, что имеют право жить совершенно по-инсму, чем все люди, работавшие на них. В этом отношении Чевиоту, хотя он и занимал пост главного управляющего и мог считать себя равным членам правления, если не выше их (ибо сейчас, во время войны, он мог обойтись без них, а они без него не могли), был ближе любой заводской староста, чем все те, с кем он разделял власть.

Свой старый коллектив квалифицированных рабочих, которые быстро выдвигались по мере того, как завод рос и на работу принимали всё больше и больше новых, необученных людей, Чевиот не только высоко ценил, но и любил. А масса новых рабочих, хлынувших на завод во время войны, — все эти бывшие лавочники, парни из гаражей, продавщицы, официантки, теперь ставшие у станка, его и раздражали, и в то же время вызывали в нём жалость и отеческое участие.

Ему хотелось помочь им чем только возможно, и помочь не откладывая, но он не знал, что же именно нужно делать. Его поглощало целиком ответственное дело изготовления самолётов усиленным темпом, несмотря на замену опытных рабочих неопытными, но в часы передышки он был

полон самых добрых намерений и растерянно и пытливо искал путей к лучшему будущему. В редкие часы досуга он упорно пытался читать книги по социологии, которые частенько нагоняли на него сон, или вёл глубокомысленные разгогоры с разными „высоколобыми“ мужами, с которыми ещё несколько лет назад ему бы и в голову не пришло обращаться запросто. Если в своих исканиях он ушёл не очень далеко, так это объяснялось не только недостатком свободного времени, но и тем, что он вот уж три года работал с огромным напряжением и теперь постоянно ощущал усталость, — и не поверхностное временное утомление, а очень глубокую усталость.

Последние четверть часа он диктовал мисс Барроус. Диктовал он отрывисто и невнятно, фразы летели галопом и всегда казались неоконченными. Впрочем, мисс Барроус умела превращать это бормотанье в чёткие и лаконичные письма. Она была первоклассная стенографистка, но отличалась довольно угрюмым характером. Эта брюнетка с длинным унылым носом настолько была занята своим продвижением по социальной лестнице, что её усилия быть „утончённой“ и сознание собственного достоинства просто мешали ей жить. Она пичкала себя жидким парафином и медленно прокладывала себе дорогу сквозь дебри мировой литературы, как будто перебираясь через громадные пространства вязкой глины. Чевиот давно оставил свои попытки увидеть в ней живое человеческое существо. Она не желала быть человеком.

В кабинет не вошёл, а вихрем влетел главный инженер Элрик, к явному неудовольствию мисс Барроус, сильно недолюбливавшей его. Он с иронической усмешкой посмотрел на неё, а она опустила веки.

— Простите... Я слишком рано?

— Нет, нет,— сказал Чевит, доставая папиросу.— Пока мы на этом закончим, мисс Бэрроус. Попросите ко мне мистера Блэндфорда.

— Вот он идёт,— сказала мисс Бэрроус, отступая в сторону с грацией светской дамы и подарив входившего Блэндфорда каким-то подобием улыбки. Мистер Блэндфорд ей нравился, он был настоящий джентльмен, не то что Элрик.

Чевит с минуту молча смотрел на своих помощников. Он снова подумал о том, какой между ними резкий контраст, и спросил себя, долго ли смогут работать вместе эти столь разные и враждовавшие друг с другом два человека. Даже „расцветка“ у них была совершенно разная. Элрик — малиновый с синим: румяное лицо, синий подбородок, тёмносиний костюм, вишнёвый галстук. Это был зрелый, брызжущий здоровьем человек, бывший рабочий от станка, выдвинувшийся благодаря кипучей энергии, настойчивости и умению строгостью или лаской добиваться от других максимального усердия в работе. Он умел подойти к рабочим, он понимал их, так как в глубине души оставался человеком их среды.

Блэндфорд был выдержан в светлосерых тонах: седеющая голова, бледное лицо, элегантный серый костюм, светлый галстук. Он отличался умом трезвым и точным, и в его холодной корректности сквозило лёгкое высокомерие. Он кончил с отличием математическое и механическое отделения Кембриджского университета, у него в обеих палатах парламента были братья и дядюшки, словом, он был человеком совершенно иной социальной среды и держался поодаль от остальных служащих завода. Но работал он великолепно — в тех случаях, когда ему приходилось

разрешать проблемы на бумаге и иметь дело с машинами, а не с живыми людьми.

К Элрику, которого он считал беспутным болтуном, он относился с вежливым презрением. А Элрик, со своей стороны, всё меньше и меньше скрывал глубочайшее отвращение к холодному и благовоспитанному Блэндфорду, которого он раз навсегда и совершенно незаслуженно объявил снобом.

Сейчас оба ждали, пока заговорит Чевииот.

— Мне звонили из министерства,— начал Чевииот, и брови его взлетели на фантастическую высоту.— Я им сказал насчёт задержки деталей у Стенборо и Финчема и объяснил, как это тормозит нашу работу. А они говорят, что с магнием сейчас сильная заминка... Впрочем, оставим это,— добавил он поспешно. Эта фраза вошла у него в привычку, но сейчас он сказал её ещё и потому, что Элрик явно собирался подать реплику.— Главное то, что в четверг приедут к нам на завод представители министерства.

— А кого именно они командируют?— спросил Блэндфорд. Благодаря своим семейным связям он лучше других знал всех сотрудников министерства.

— Во-первых, какого-то мистера Сэдли,— ответил Чевииот с оттенком иронии, как обычно люди дела говорят о чиновниках.

— А, знаю. Он раньше служил в министерстве авиации. Безобидный человек. И, конечно, ничего в нашем деле не смыслит.

— Ну, а второй — можете себе представить! — наш старый сослуживец, Монтегю, — продолжал Чевииот на этот раз уже с подчёркнутой иронией.

Теперь наступила очередь Элрика вмешаться, что он и сделал достаточно шумно.

— Неужели наш старый втируша Монтегю, мистер Чевиот? Не может быть, чтобы он попал в министерство! Кто угодно, только не Монтегю!

— Он там служит вот уже с полгода,—отозвался Блэндфорд сухо, с таким видом, словно хотел сказать, что только Элрик может не знать столь общеизвестного факта.

— Я тоже от кого-то слышал, что он там, да не поверил, признаться,—заметил Чевиот, посмеиваясь. — Оказывается, он действительно подвизается в министерстве и в четверг утром прибудет к нам, чтобы поучить нас уму-разуму... И, конечно, припомнит мне то, что в тысяча девятьсот тридцать девятом году я его уволил за непригодность к работе,—добавил он беспечно.

— Господи помилуй, вот так номер! — воскликнул Элрик, которого до того распирало от возбуждения, что, казалось, на нём сейчас лопнет тесный синий костюм. — Ещё бы мне не помнить. Его иначе не звали, как втируша Монтегю! И он в министерстве!

Чевиот повернулся к Блэндфорду.

— Ну, как там дела с турелями?

— Я звонил к Стенборо,—ответил Блэндфорд с обычной невозмутимостью. — От них, как всегда, трудно добиться толку. Но сегодня к концу дня я вам представляю обстоятельный рапорт. Утром мне нужно уделить часок бюро рационализации. Кстати о бюро,—молодой Энглби работает отлично.

Чевиот кивнул головой.

— Вы и ему это сказали?

— Нет, пока не стоит. Он и так уж очень доволен собой...

— Это ничего,—возразил Чевиот. — Раз у него дело идёт на лад, пускай будет доволен собой! Порт возьми, всем нам следовало бы больше це-

нить себя! Это было бы нам только полезно. Но оставим это...

Коротким дружеским кивком он отпустил Блэндфорда, и тот, правильно поняв этот кивок, вышел.

Элрик не уходил и беспокойно ёрзал на месте, устремив тёмные, горячие, немного воспалённые глаза на широкое и доброе лицо начальника.

— Ну, что, Боб? — спросил Чевитот. Некоторая натянутость, созданная враждой между Блэндфордом и Элриком, теперь не ощущалась больше. В комнате дышалось как-то легче. — Что скажете?

— Проскота надо подвинтить, мистер Чевитот, — начал Элрик своим хриплым голосом, в котором было что-то общее с его налитыми кровью глазами. — Не знаю, до чего у нас дойдёт, если он не заставит инспектора национальной повинности притянуть к ответу некоторых злостных прогульщиков. Все они врут безбожно. Прогульщики врут инспектору, инспектор повторяет их басни Проскоте, и никакие меры не принимаются, а у меня в табелях сплошные чёрные квадратики: прогулы. И всё одни и те же люди.

— Нет, Боб, вы преувеличиваете, таких немного, — с расстановкой возразил Чевитот. Он был расположен к Проскоте, которого недавно назначил заведующим отделом кадров и бытового обслуживания рабочих. Про себя он отметил, что Боб Элрик, видимо, опять сильно пьёт и сейчас, наверное, зол с похмелья. И хриплый голос, и воспалённые глаза свидетельствовали о том, что виски выпито много, и притом скверного виски.

— Я и не говорю, что их много, мистер Чевитот. Но я хочу, чтобы у меня в табелях не было чёрных квадратиков. Будь моя воля, я бы отправил их под суд так быстро, что они бы у меня опомниться не успели. Нагнали мы сюда толпу красномордых пастухов и цырюльников и бог

знает кого,— ни опыта, ни квалификации, чего... Поставили их к машинам, у которых может работать малый ребёнок, учат их, платят им основную ставку плюс ещё премию, так что денег они зарабатывают больше, чем когда-либо видели некоторые наши старые мастера и подручные. И что же? Они работают только тогда, когда им вздумается! К середине недели они уже успевают заработать столько, сколько им никогда и не снилось, и смываются с работы: отправляются в гости к старой тёте Кэти, или в парикмахерскую прихорашиваться, или валяются в постели да почёсываются. И это называется борьбой за жизнь страны!

— Вы не правы, Боб. Большинство знает, как важна наша работа. Они только не говорят об этом.

— Хотел бы и я верить этому, мистер Чевинот, очень хотел бы. Но, по-моему, большинство из них пришли на завод ради того только, чтобы получить для себя всё, что можно. Добрая половина вообще не знает, из-за чего и где идёт война. Они даже радио не слушают. Понять не могу, что у них в голове! — Элрик крепко потёр ладонью собственную голову. — Ну, да это уж куда ни шло, только бы они на завод аккуратнo являлись каждый день и делали своё дело. А эти систематические прогульщики хоть кого из себя выведут! Мне обещали их подтянуть, но никто их не подтягивает. Я этого так не оставлю!

— Я поговорю с Проскотом. Быть может, тут есть какие-нибудь обстоятельства, которых вы не учли, Боб. Что ещё?

— Больше ничего, мистер Чевинот. Сегодня у меня совещание со старостами, но я не ожидаю от него никаких неприятностей. Надо отдать справедливость старостам: они прогульщиков не одо-

бряют, так же как и мы. У нас может выйти спор разве только из-за расценок работы на тех шести американских машинах. А серьёзных разногласий не будет.

Чевииот кивнул головой и посмотрел на Элрика внимательнее.

— А что, Боб, хлебнули вчера маленько?

Элрик криво усмехнулся.

— Совсем капельку. Я встретил в „Каунти“ двух старых товарищей. Один сейчас с фронта в отпуск приехал. Нельзя было не выпить с ними. Но я в полном порядке.

— Смотрите, Боб, только не перехватывайте меру,— заметил Чевииот отеческим тоном. Затем, помолчав, спросил с лёгкой нерешительностью:

— Ну, как жена?

Не только улыбка, но вся живость и напористая энергия Элрика сразу испарились; теперь он казался печальным, растерянным и как-то неуверенным в себе. Десять лет назад Элрик страстно влюбился в золотоволосую красавицу, продавщицу одного большого лондонского магазина, и женился на ней. А пять лет спустя она в сильных мучениях родила мёртвого ребёнка и долго болела. Теперь она казалась физически вполне здоровой, но умом не отличалась от шестилетнего ребёнка. И на исцеление её, очевидно, уже не было никакой надежды. Её старшая сестра переселилась к ним, чтобы смотреть за больной и вести хозяйство. Вне завода Элрик был потерянный человек, метавшийся в тупике.

— Она здорова,— ответил он неохотно.— Всё такая же. На-днях она виделась с миссис Чевииот и сама мне об этом рассказала. Но, конечно, не могла припомнить, о чём они говорили. Вы ведь знаете, в каком она состоянии...

Да, Чевииот знал. И оба понимали, что продол-

жать разговор не к чему. Глаза их встретили и сказали это за них. Чевииот посмотрел на письменный стол. И Элрик, увидев в этом намёк, пробормотал, что ему нужно ещё потолковать с одним из мастеров, повернулся и быстро вышел.

В комнате как будто осталась какая-то тень. Невидимые голоса шептались о тайнах и трагическом бремени жизни. Чевииот слышал их, но торопливо сказал себе, что если бы люди знали о бедном Бобе Элрике всё то, что знает он, Чевииот, они бы не спешили осуждать его. С чувством облегчения вернулся он к работе. Итак, что же на очереди? Опять больной вопрос относительно шасси?

3

Элрик ринулся к себе в кабинет и, как всегда, своим шумным вторжением испугал секретаршу, юную Мюриэль Ллойд. Мюриэль всё никак не могла решить, какую роль — героя или злодея — отвести мистеру Элрику в той захватывающей драме, героиней которой, маленькой и большеглазой, была она сама. Элрик — у него бывали моменты прозорливости — угадал её тайну и, когда вспоминал о ней, не упускал случая сыграть на этом. Сегодня он избрал роль злодея.

— Мюриэль, Мюриэль, — прикрикнул он на неё оскорбительным и прямо-таки зловецким тоном, — нечего вам сидеть сложа руки и мечтать об этом прыщавом мальчишке из чертёжной! Ничего в нём нет хорошего...

— Мистер Элрик! — ахнула Мюриэль, широко раскрыв глаза и заливаясь багровым румянцем. — Никогда в жизни...

— Не спорьте со мной. Ступайте лучше скажи-

те мистеру Проскоту, что я зайду к нему сегодня перед собранием старост. А если меня кто спросит, так я внизу, в номере четвёртом, мне там надо потолковать с Клитсоном. Побольше жизни, Мюриэль! Встряхнитесь и займитесь делом!

Он сгрёб со стола пачку папирос и вышел в коридор. Но здесь остановился, чтобы закурить, и опять ощутил и головную боль, и противный вкус во рту: в нём поднялось отвращение к самому себе. Слишком много выпито вчера...И потом он, кажется, вёл себя в „Каунти“ неподобающим образом, и хозяйке, миссис Филиппс, с которой он всегда был в самых приятельских отношениях, это не очень-то понравилось. Пожалуй, лучше не ходить в „Каунти“ неделю-другую. Но куда же? Опять ездить в „Фоули“? Нет, „Лев“ всегда набит армейскими офицерами, купающими в пиве свои комичные, словно приклеенные усы. В „Корону“? Это ещё дальше, и к тому же там он может опять напороться на ту тощую истеричку, с которой ему с самого начала не следовало связываться. Оставаться вечерами дома и не принимать близко к сердцу того, что там делается? Но это значит все время иметь перед глазами свояченицу Филлис, которая сделала доброе дело, переехав к ним, чтобы заботиться об Элен, но с тех пор всегда ходит с такой негодующей миной, как будто во всём виноват он. Сидеть и смотреть на бедную Элен, как она играет в куклы или вырезывает что-нибудь из бумаги, слушать её болтовню и хихикание? Элрик был с нею нежен и терпелив, это признавала даже Филлис. Но, видит бог, если он будет сидеть дома, долго ему не выдержать.

Усилием воли он переключился на другие мысли и пошел в цех искать Клитона. То тут, то там он останавливался, чтобы перекинуться словом

с кем-нибудь из мастеров или их помощников. В третьем цеху работала новая партия женщин и девушек, только что переведённая сюда из учебного цеха. Элрик шёл вдоль ряда станков. Какой-то поверхностный участок его мозга был занят мыслями о работе, но в то же время другой Элрик в нём, изголодавшийся мужчина, видел перед собою у станков не работниц, а женщин.

Об этих вещах не принято говорить прямо. Вот здесь, в заводском цеху, такие неуместные в этой обстановке, теснятся молодые женщины. А он, Элрик, мужчина, а не автомат. Конечно, он не хуже всякого другого способен сосредоточить всё внимание на работе, — не будь этого, страна получила бы на несколько сот самолётов меньше. Но... как остаться равнодушным к тому, что в цеху, где он в течение двадцати лет привык видеть только мужчин, пожилых и молодых, теперь появились женщины! Большинство, правда, таково, что смотреть не на что, но есть и такие, которых мужчина не может не заметить. Невольно притягивает взгляд тут изгиб тела под рабочим халатом, там влажные от пота кудряшки над белым затылком, пара блестящих глаз, а иной раз только узкая кисть, девичьи пальцы. И эти волнующие мелочи, вбираемые жадным взглядом, давали такую же отраду, как глоток воды, когда сильно хочется пить.

Проходя мимо ряда новых женщин и девушек и примечая некоторые такие подробности, Элрик испытывал какое-то раздражение, почти злобу. И козлом отпущения на этот раз явился мастер четвёртого цеха Клитон. Но Клитон отнёсся к этому довольно спокойно. Это был человек средних лет, весьма степенный и положительный, с виду совершенно такой, каким рисуют ремесленника в детских книжках с картинками: очки в серебря-

ной оправе, сдвинутые на кончик носа, растрёпанные усы, пустая, потемневшая от времени коротенькая трубка в зубах и засаленный коричневый комбинезон. Клитон был тугодум (хотя не в такой мере, как это казалось людям), но человек надёжный и преданный делу. Эрлик был, в сущности, очень, к нему расположен, но сегодня его сердила даже столь знакомая медлительность Клитона.

— Ну, давайте живее, Клитон,— сказал он ворчливо после того, как они обменялись несколькими замечаниями,— мне некогда стоять тут с вами целый день. Раскачивайтесь! Послушаем, что вы имеете сказать.

Клитон вынул изо рта свою трубку-коротышку и пытливо посмотрел на неё, как будто она могла объяснить ему, отчего люди, подобные Эрлику, ведут себя так глупо.

— Я поставлю этот вопрос на ближайшем заседании объединённой производственной комиссии,— начал он с расстановкой.

— Вечно вы со своей производственной комиссией! — рассердился Эрлик. — Ну, да, знаю, это замечательная идея, это демократизм в промышленности, это новый порядок. Это в своём роде так же важно, как Атлантическая хартия.

Лицо Клитона приняло глубоко укоризненное выражение.

— Те из нас, кто кое-чему учился, крепко верят в эти вещи, мистер Эрлик. А насмешками дела не двинешь, от них проку никакого.

— Не больше проку и от того, что компания болванов заседает и выносит резолюции — это в такое-то время! — насчёт чаю и пудинга в столовой! Впрочем, обсуждайте это, если хотите, в производственной комиссии. А мне скажите, да поскорее, почему вы установили такие нормы

для новой работы? Мне это надо знать. Потому что, имейте в виду, я не вижу в этом ровно никакого смысла.

— Смысла не видите?— Клитон с внезапной решительностью сунул трубку обратно в угол рта.— А вот пойдёмте со мной да взгляните сами на те шесть станков с их ногами подсобными. Всё имеет свои причины,— добавил он сентенциозно.

Они осмотрели станки. Элрик вникал во всё и всё учитывал, в том числе и убедительные аргументы Клитона. А в это время второе его „я“, человек во мраке, мучимый голодом, словно в бреду, видел за машинами и нечто другое. В ближайшем ряду стояла дезушка,— должно быть, из последней партии, потому что он раньше не замечал её,— в новеньком рабочем халате из яркого ситца в цветах. У этой высокой девушки была стройная шея, каштановые с медным отливом волосы, густые и на вид мягкие, тонкое, задумчивое лицо. Она была так же не на месте здесь за станком, как он, Боб Элрик, был бы не на месте в ателье дамских шляп.

Он испытывал непонятное чувство досады. О, господи, и откуда такие берутся? Он всё время поглядывал на её опущенную голову, на эти длинные тонкие пальцы, которые иногда медлили, словно не зная, что им полагается делать.

— Фреду на этой неделе дали несколько новых,— заметил Клитон, поймав взгляд Элрика

— А? Что?— сердито посмотрел на него Элрик. Ему показалось, что Клитон угадал его чувства. И, чтобы показать, что он всецело занят вопросами производства, Элрик пошёл обратно вдоль ряда и сыпал словами, в которых было не слишком много смысла. Остановившись в конце зала и обернувшись, он как будто уловил в глазах

Клитона лукавые искорки, но благоразумно решил, что это его фантазия. Он закончил разговор с мастером деловым и подчёркнуто важным тоном, который, как он знал, не мог не показаться нелепым Клитону. И в заключение объявил, что ему нужно поговорить ещё с Фредом Сколби.

— Фред стоит вон там,— сухо ответил Клитон.— На этот раз всё, мистер Элрик?

Элрик, пытливо посмотрев на него, утвердительно кивнул головой и направился к Фреду Сколби, одному из лучших работников в цеху, которого уже выдвигали мастером. Фред был кругленький, рыхлый, благодушный человек, неизменно весёлый, краснобай. Он очень недурно исполнял комические номера в дивертисментах, но дальше этого его честолюбие не шло. Он был даже чересчур непритязателен и беспечен. Если бы не эти свойства, то, при его опытности и ловкости в работе, он давно бы выдвинулся.

— Некоторые из них только впервые начинают работать, мистер Элрик,— сказал Фред, обводя рукой ряд новичков.— Так что дайте им время освоиться...

— Ладно, Фред, я ведь никого пока не ругаю. А что они за люди?— И он с видом беззаботного фланёра зашагал по проходу.

— Ничего, ничего, подходящие,— ответил Фред, пыхтя у его локтя.— Конечно, среди них есть всякие. Одни стараются для того, чтобы нам выиграть войну, другие гонятся за лёгким заработком, а есть и такие, что просто не знают, чего хотят.

— Вот как эта, например?— И Элрик, словно под влиянием внезапного импульса, остановился подле хрупкой медноволосой девушки с опущенными плечами. Она метнула на него испуганный взгляд и ещё ниже наклонилась к машине. Эл-

рик мгновенно почувствовал, что он ей не нравится, и стал ещё заносчивее.

— Фамилия? — спросил он сердито.

— Это мистер Элрик, наш главный инженер, — поспешил объяснить Фред.

Девушка на миг подняла глаза. Они у неё были карие, но где-то в глубине отливали зелёным.

— Джойс Дирхерст, — ответила она так тихо, что Элрик с трудом расслышал.

— Так. И вы только начинаете работать?

— Точно так, — вмещался Фред, как будто девушка не могла ответить сама.

Элрик сделал вид, что не слышит. Напротив, через проход работал юный Браймбер, игравший в заводском оркестре. Он смотрел на них, широко и глупо ухмыляясь, как будто ему больше делать было нечего, как стоять и пялить глаза. Элрик немедленно нахмурился и, грозным взглядом призвал Браймбера к порядку, сразу же стёр улыбку с его лица. Потом опять посмотрел на девушку.

— Ну-ка, объясните, как это делается? — Тон его был всё так же резок.

Девушка прикусила губу и, глядя не на него, а на Фреда, забормотала что-то невнятное. Работа её состояла в простом сверлении. Не работа, а детская игра!

— Говорите громче, — приказал он грубо. В выражении лица Фреда ему почудился упрёк, и это не улучшило его настроения. Что же Фред воображает, что он будет нянчиться с ними?

— Да вы не волнуйтесь, мисс Дирхерст, — сказал Фред елейным тоном. — Мистер Элрик хочет только убедиться, что вы понимаете, в чём тут суть. И вы, конечно, понимаете, потому что очень хорошо это проделывали сегодня всё время, с восьми часов утра.

Девушка выпрямилась на своём стуле и, откашлявшись, начала несколько высокомерным тоном, не отводя глаз от машины, объяснять, в чём состоит её работа. Элрик, чтобы скрыть свои чувства, стал обсуждать с Фредом какую-то незначительную подробность, говорил отрывистым деловым тоном, цеголяя техническими выражениями и не обращая больше внимания на девушку. К счастью, он услышал, что громкоговоритель выкликает его имя, и одновременно заметил, как на указателе зажглись три цветных лампочки — условный сигнал, означавший, что его требуют наверх, в заводоуправление. Он сразу замолчал и торопливо ушёл, сохраняя озабоченный и важный вид.

А тот, другой Элрик, скрывавшийся в нём, голодный и неопределённо тоскующий, не мог забыть Джойс Дирхерст, которая явно отличалась от большинства остальных работниц и не только внешностью, но всем своим обликом явно была из другой среды. Этому, второму, Элрику, слишком чувствительному к женским чарам, она представлялась существом хрупким, обворожительным, таинственным, из далёкого и бесконечно желанного мира, в который он может попасть лишь через тесную близость с ней. И, неотступно глядя сквозь мрак своей души на её расплывавшийся образ, Элрик чувствовал себя человеком безнадёжно погибшим, ограбленным, лишённым всего.

4

В это утро на Элмдаунском заводе не было человека, переживания которого были бы менее необычайны и таинственны, чем переживания Джойс Дирхерст. Сегодня она в первый раз в

жизни работала по-настоящему в большом цеху. До этого она три недели под наблюдением мастера училась в небольшом учебном цеху вместе с десятком других женщин и двумя-тремя юношами. А сейчас началась настоящая работа. И Джойс каждую минуту спрашивала себя, справится ли она с нею.

Джойс приехала сюда из северного предместья Лондона, где жила с отцом, пожилым вдовцом, который служил кассиром в какой-то экспортной конторе Сити. Окончив местную женскую школу, она два года просидела дома, потом поступила ученицей в модное ателье дамских шляп на Брунтон-стрит, в Мэйфер. Ей там очень нравилось. Она обожала и эту работу и всю атмосферу ателье — утончённую роскошь, смесь „шика“ с изысканностью, дамскую болтовню, громкие имена заказчиц, большие мурлыкающие автомобили у входа. Её совершенно удовлетворяла роль золушки, восхищённой и ослеплённой всем этим великолепием. Но вот наступила осень 1940 года, ателье разбомбили немцы, а в маленькой мастерской, которую „мадам“ открыла где-то в другом месте, для Джойс не нашлось работы. Она стала неопределённо подумывать о какой-нибудь оборонной работе, потому что была очень сердита на фашистов. Но отец настаивал, чтобы она оставалась дома. Через год отец умер — у него было большое сердце. Да, это случилось ровно год тому назад, в октябре 1941 года. Она продала домик и мебель и, покончив со всеми делами, поселилась у своей тётки Хильды, в одном из южных графств, по ту сторону Фоули, милях в двенадцати от завода. Пробовала заняться тем, то другим и, наконец, приехала сюда, потому что это был ближайший большой военный завод, и Джойс знала, что здесь всегда требуются ра-

бочие и что их каждый день возят из Фоули и в Фоули на заводских автобусах. Джойс некоторое время колебалась. Легко ли такой разборчивой девушке, как она, для которой главное в жизни — уют, изящество, красота, идти работать на завод? Но пора было чем-нибудь заняться, нужны были деньги, к тому же в ней ещё не остыло возмущение после тех страшных бомбёжек. И вот она на военном заводе.

Сейчас она с беспокойством спрашивала себя, справится ли, выдержит ли. Пока работа сама по себе не трудная. Например, сегодня ей поручили сверлить отверстия в тщательно намеченных местах в этих металлических пластинках. Она была уверена, что сумеет выполнять и гораздо более трудную работу, и очень хотела испытать себя.

А все кругом так терпеливы и добры к ней, вот хотя бы тот шотландец в учебном цеху, а здесь — всегда улыбающийся мистер Сколби. Впрочем, это и неудивительно: ведь некоторые из новых работниц ужасно бестолковые, совсем необразованные и такие косолапые.

Да, на людей она не может пожаловаться, но всё остальное мучительно!

Вот хотя бы шум. Говорят, к нему скоро привыкаешь. Но Джойс не была уверена, что и она привыкнет: ведь она не совсем такая, как остальные. Ох, этот грохот и скрежет железа! На другом конце цеха, далеко от неё (но ведь в любой день её могут переместить ближе к ним), работали какие-то страшные машины, которые визжали, как большие раненые животные. Разве может человек утончённый работать подле них? И потом этот нестерпимо резкий свет. Он придавал людям такой вид, как будто они больны какой-то странной болезнью. Здесь уверяют, что

он похож на дневной свет. Ну, нет, во всяком случае не на обыкновенный, нормальный дневной свет! Может быть, таков дневной свет на луне или в другом подобном месте... А каким долгим теперь кажется день! Умываешься и одеваешься в темноте, покрываясь гусиной кожей, бежишь просёлком к автобусу, потом в автобусе дрожишь от холода, а вокруг все зевают, ворчат (кроме завзятых оптимистов, отпускающих всё время глупые острооты; эти несноснее всех). Путешествие длится целую вечность, а день начинается собственно только тогда, когда приезжаешь на завод, и день этот такой долгий, такой долгий, что вот сейчас кажется, будто с раннего утра прошла уже целая неделя, и каждый час — в особенности после обеда — тянется медленнее предыдущего, так что лучше совсем не думать о времени! Да и не говоря уже о шуме и свете, и этом бесконечно долгом дне, здесь всё какое-то не совсем обыкновенное. Вот в мастерской на Брутон-стрит и в других местах, где она работала, там всё было просто и понятно, а здесь нет. Здесь всё — как бесконечный, оглушающий, нестерпимо яркий сон. Чутьочку похоже на то, что ощущаешь, когда у тебя высокая температура.

Но вот уж в этом главном инженере Элрике, или как его там, в нём нет ровно ничего необычайного и таинственного! Ни в его красной опухшей физиономии, ни в налитых кровью глазах, ни в противном глумливом голосе. Видно было, что он презирает её, Джойс, за то, что она не похожа на остальных. И это первый человек здесь, на заводе, при котором ей было не по себе. Сразу видно, что он человек не из приятных. И мистер Сколби (он хоть и смешной, всегда потный, но добрый малый и сразу заметил, что она огорчена) так прямо и сказал о нём.

— Видите ли, мисс Дирхерст,— сказал он очень мягко и вежливо,— у мистера Элрика, как я слышал, свои заботы не только на заводе, но и дома. Ну, и ответственность на нём большая. Вы не можете себе представить, сколько у него дела! Значит, не стоит обращать внимания... Это уж у него привычка такая — каждого отбреет так, что моё почтение. Не то что я,— я парень золото, никого не обижу.

— Вы очень любезный человек, мистер Сколби,— подтвердила Джойс.

— Это все говорят, все как есть,— сказал Фред, широко ослабившись.— Вот оттого-то вас, молодых леди, всех отправляют прямо ко мне. „Фред, говорят, знает, как с ними обходиться“. Да. А что касается мистера Элрика, так вы его, может, целый месяц и в глаза не увидите, поэтому не стоит расстраиваться... И вот что мисс Дирхерст, как окончите всю пачку, не забудьте сдать вашу розовую карточку вон тем девушкам за конторкой. Ну, ладно, не унывайте.

Вот всё и в порядке, если этот мистер Элрик редко будет приходить сюда и фыркать на неё. Джойс перестала думать о нём и старалась сосредоточить всё внимание на работе, но это ей не удавалось уж просто потому, что работа была такая несложная. Нет, надо будет попросить, чтобы ей как можно скорее дали другую, потрудней.

— Ну, как у вас, всё идёт гладко?

Она с удивлением подняла глаза. Это тот парень, что всё время посматривал на неё через проход и ухмылялся, теперь подошёл и заговорил с нею. Она ответила лаконично и сухо.

— Я всё время смотрю на вас,— продолжал он ничуть не обескураженный,— оттого, что вы мне кого-то очень напоминаете. Одну из кинозвезд.

Но кого? Лоретту Юнг, что ли? Не могу сообразить.

Джойс сказала „не знаю“ таким тоном, как говорят „какое мне дело?“ Этому малому не следовало бы улыбаться во весь рот, раз у него такие плохие зубы.

— Смотрите, завтра обязательно приходите в столовую, — сказал он убедительно. — Знаете для чего? Нет? Я так и думал. Завтра в столовой, ровно в четверть двенадцатого, выступает Элмдаунская шестёрка. И я — один из шести, Джек Браймбер. Играю на саксофоне. А позвольте спросить, как вас зовут?

— Мисс Дирхерст, — церемонно ответила Джойс.

— Так. — Он помолчал, видимо, ища темы для разговора, и, не найдя, сказал в заключение:

— Что ж, мисс Дирхерст, очень рад с вами познакомиться. И если я могу вам быть полезен... если захотите, например, узнать что-нибудь насчёт нашего цеха или чего другого, вам стоит только спросить.

„Нет, хватит с меня“, подумала Джойс. Она находила его слишком юным, слишком глупым и самодовольным. Теперь она вспомнила, что видела его и слышала его игру в заводском оркестре как-то во время обеденного перерыва на прошлой неделе. Этот малый с его саксофоном, несомненно, мог произвести впечатление на деревенских девчонок — дочерей фермеров или работниц, никогда раньше не выезжавших с фермы, но она, Джойс, жительница Лондона и совсем из другого теста.

Через некоторое время к ней подошла миссис Григсон, у которой остановилась машина. Миссис Григсон проходила обучение на заводе одновременно с Джойс и поэтому упорно обращалась с

ней, как с доброй знакомой. Это была худая, костлявая женщина с неподвижными глазами, чёрными и блестящими, как бусинки, и с раздражающе заунывным голосом. Муж её находился на фронте, в танковой части, но она говорила об этом без всякой гордости, напротив — тоном возмущения, словно отъезд на фронт был самой последней и самой безумной из его многочисленных причуд.

— Представьте себе, милочка, машина моя сломалась и окончательно не работает, — объявила миссис Григсон. — Я тут ни при чём, я делала всё точно так, как мне велели. И всё шло отлично, а она вдруг ни с того ни с сего возьми да и остановись... Понятия не имею, для чего служат эти куски железа. А вы? Мой муж, наверное, мог бы объяснить, да что толку, раз его здесь нет и нельзя у него спросить. К тому времени, как придёт от него ответ, я уже, наверное, буду на другой работе и успею забыть, о чём спрашивала... Интересно, который час? Я не прочь пообедать. А вы, милочка? Как приятно, когда не надо самой готовить и не знаешь, что сегодня к обеду.

Не отрывая глаз от машины, Джойс подтвердила — и уже не в первый раз — что это приятно.

— А у вас работа ладится, милочка? Да, наверное. И халатик у вас очень славный. А я своим недовольна. Как только я его надела, так и подумала: „Ну, Флори, опять ты поторопилась“. Подмышками режет, милочка. Мне бы надо припустить, а я скроила в обрез и всё испортила... Знаете, около меня всё утро работали сегодня две девушки, совсем молоденькие. Не такие, как мы с вами, милочка, нет, совсем другого сорта, настоящие фабричные. Они перекрикивались так громко, что я поневоле всё слышала. Что они рас-

аказывали! Ужас! Нет, я бы не хотела, чтобы вы слышали, потому что вы ещё не замужем. Но, честное слово, после того, что я сегодня слышала своим ушами, я верю всему, что говорят и пишут о нынешних девушках, всё это ни чуточки не преувеличено. Ну и штучки! Я вас спрашиваю: куда же дальше? Одно можно сказать,— добавила она мрачно, словно увидев предел человеческого падения:— дальше некуда! Ох!

Последним восклицанием, похожим на крик, миссис Григсон реагировала на гудок, возвещавший сорокапятиминутный обеденный перерыв. Она крепко уцепилась за Джойс, и толпа увлекла обеих из деха в нижний коридор, затем вверх по лестнице в огромную столовую. Посреди столовой огорожено было шнуром место для выступлений, и над ним горели четыре больших лампы.

— Интересно, что будет сегодня,— заметила миссис Григсон, когда они с Джойс стояли в очереди за талонами на обед.

— Ах, бокс! Вот ещё что выдумали! Кому это нужно,— смотреть во время обеда, как мужчины тузят друг друга?

— Я не стану смотреть,— сказала Джойс решительно.— По-моему, это идиотство.

К ней немедленно повернулось широкое, грязное, давно не бритое лицо.

— Это вы так думаете, Мэйбл,— промолвил его обладатель сурово, но тут же подмигнул ей, чтобы смягчить резкий отпор.— А хотите знать, что думаю я? „Валяйте, ребята, валяйте!“ — вот что я говорю. У вас есть свои фигли-мигли чуть не каждый день, так отчего же мне нельзя иной раз посмотреть несколько раундов?

— Какой грубиян! — шопотом сказала миссис Григсон. Затем громче, в высшей степени светским тоном: — Тушёное мясо по-ирландски. Пи-

рожки на патоке. Какой неинтересный обед! Возьмём ещё по чашке чаю к этим пирожкам, милочка?

Обед не доставил Джойс никакого удовольствия, хотя всё было вкусно. Она и миссис Григсон оказались втиснутыми среди целой компании мужчин вроде того, с грязным лицом, который назвал её „Мэйбл“. Все они, торопясь насладиться зрелищем бокса, наскоро проглотили обед и затем закурили вонючие трубки. Приятного в этом было мало. И Джойс, едва допив крепкий, перестоявшийся чай, под каким-то предлогом ускользнула от миссис Григсон, раньше чем та успела удержать её. Деваться как будто было некуда, да и, выглянув наружу в открытую дверь нижнего коридора, Джойс убедилась, что идёт дождь. Она вернулась в большой зал, где работала утром и где сейчас было до странности тихо.

На ящике сидел, привалившись спиной к машине, мистер Клитон, тот мастер, которого она сегодня уже видела мельком. Он жевал толстые сэндвичи и задумчиво смотрел перед собой в пространство поверх очков в серебряной оправе. Джойс невольно улыбнулась, и как раз в этот момент Клитон поднял глаза.

— Знаю, девушка, знаю, над чем вы смеётесь,— пробурчал он невнятно, так как рот у него был набит сэндвичем.

— Я вовсе не смеялась,— возразила Джойс.— Я только улыбнулась, сама не знаю почему.

— А я знаю. Вы подумали: „Зачем это он приносит с собой из дому сэндвичи, тратит на них свой мясной паёк, когда за девять пенсов он может получить здесь в столовой отличный горячий пирог с мясом, подарок лорда Вултона“¹. Верно? Думали так?

¹ Английский министр продовольствия.

— Нет, не думала,— сказала Джойс, которая перед мистером Клитоном не очень робела. — Но раз вы уже заговорили об этом, объясните мне, почему вы не ходите в столовую обедать?

— Ага! — У мистера Клитона был прямо-таки торжествующий вид. Раньше чем продолжать, он стряхнул крошки с усов. — Вы не первая спрашиваете об этом. Видите ли, девушка, я поступаю так отчасти по привычке, а отчасти из принципа. Я не сторонник этой затеи со столовыми и добавочными пайками для рабочих военных заводов. Солдатам и матросам — да. Шахтёрам и рабочим вредных цехов — да. А нам, рабочим авиазаводов, — нет. Да и вообще я не признаю всю эту заботу о рабочих. Платите мне то, что следует, а я уж сам о себе позабочусь, спасибо! Человек должен стоять на собственных ногах, — добавил он, строго посмотрев на Джойс. — Ну, что вам говорил сегодня мистер Элрик? Я видел, что он остановился подле вас. Впрочем, я заранее знал, что он остановится...

— Мне показалось... — Джойс запнулась. — Мне показалось, что он очень злой. Не понравился он мне.

— И отлично. И держитесь от него подалее, — сказал мистер Клитон. — Что касается работы, тут мистер Элрик молодец. Он своё дело знает так же, как все мы.

С минуту он задумчиво смотрел на неё, потом улыбнулся с неожиданной теплотой.

— У меня дома три таких, как ты... Да только дома-то они бывают редко. Мои как будто ростом пониже, и мяса на них побольше, но разница между вами не такая уж большая... И помни, девушка, не робей, тут тебя никто не съест.

Он кивнул головой и, вынув из кармана газету, начал читать её, хмурясь и как будто не замечая больше присутствия Джойс.

Но Джойс, уходя от него, чувствовала, что на душе, у неё стало веселее. Мистер Клитон, может быть, и суров, и чужак, но он славный старик.

5

Альфред Клитон опустил газету на колени, чтобы посмотреть вслед ушедшей Джойс. „Красивая девочка“, — подумал он. Но его это мало трогает, он ведь не Боб Элрик. Да, он давеча утром сразу понял, что Элрик исподтишка её разглядывает. Альфреду Клитону втереть очки не так-то легко.

Оставшиеся до гудка четверть часа он провёл очень приятно, наслаждаясь чтением газеты и мысленной критикой почти всего того, о чём читал. Он, в сущности, вовсе не был придирчивым брюзгой. Он просто дорожил своей независимостью и желал иметь на всё свою собственную точку зрения. В результате тори считали его „красным“, а левые объявили реакционером. А был он в действительности радикалом старого толка, какие полвека тому назад встречались гораздо чаще, чем в наше время. Он был большой охотник до чтения, медленно, но упорно размышлял о прочитанном и очень любил разбираться во всяких явлениях жизни. Он презирал все существующие формы религии, но ещё больше презирал неверие, пустоту и ветреность современной молодёжи. Где-то в глубине души он поклонялся созданному им для себя божеству, которое представлялось ему чем-то вроде мастера-гиганта, озирающего поверх громадных очков в

серебряной оправе безумные миры и их обитателей.

Клитон готов был работать на оборону, что называется, до упаду (и действительно чуть не свалился летом 1940 года) не из каких-либо надуманных патриотических чувств, а потому, что он искренно верил в свободу и демократию, чего нельзя сказать о большинстве людей, рукоплещущих этим словам. В производственной комиссии, в которую он был избран одним из первых, он работал весьма активно и подгонял остальных.

К концу перерыва он отложил газету и, готовясь приступить к работе, сунул в угол рта незажжённую трубку. Этим легом, после падения Тобрука, он в порыве возмущения объявил, что не будет больше курить до тех пор, пока Роммея не выгонят из Египта, и теперь только сосал пустую трубку.

Большинство рабочих уже вернулось к своим станкам. Клитон зорко оглядел всё. То, что для Джойс Дирхерст было шумной, слепящей неразберихой, для Клитона, прекрасно разбиравшегося во всей работе, было разумной организацией массового производства — настолько разумной, насколько этого можно добиться при беспрепятственном наборе новых рабочих вместо уходящих в армию старых. То, на что раньше опытный рабочий затрачивал целый день, теперь на новых станках могла сделать за полчаса любая из этих девушек. Так и должно быть сейчас, когда нацисты, и фашисты, и япошки свирепствуют повсюду. Но один бог знает, к чему это в конце концов приведёт.

Он поговорил с тем, с другим, отдал несколько распоряжений двум установщикам, которые, как ему показалось, не работали, а мечтали, опять

неодобрительно осмотрел три старые машины, которые ему навязали, и медленно повторил про себя то, что намеревался высказать на ближайшем совещании производственной комиссии, не считаясь с тем, нравится это Элрику или нет.

У толстухи Грин, которая всю жизнь до поступления на завод только доила коров да сбивала масло и, кажется, воображала, что она всё ещё у себя на ферме, опять со станком что-то не ладилось.

— Ну, что у вас тут такое, миссис Грин? — спросил он серьёзно. — Снова опрокинули подойник?

— Ах, мистер Клитон! — обиделась она, утирая потное лицо. — Опять вы со своими шутками насчёт подойника! Напрасно я рассказала вам... Вот взгляните сами. Сегодня утром он сказал, что, когда вон та штука — видите о какой я говорю? — отскребёт столько, сколько ей полагается, тогда появится красный огонь. Но утром он появлялся, а сейчас нет.

„Ну, и работнички пошли! — подумал Клитон. — Не завод, а школа для малолетних! „Штука отскребёт!“ „Появится красный огонь!“ Ох! Ничего не поделаешь, надо и с этим мириться, только бы выиграть войну“.

— Я пришлю Чарли проверить, в чём тут дело, — сказал он. — Лампа как будто в порядке, но, может быть, нет соединения. потерпите минутку. И вообще не расстраивайтесь. Вы что-то слишком быстро начали худеть.

— Да что вы, мистер Клитон! — воскликнула она, польщённая.

Клитон важно уставился на неё.

— Ну-ка скажите, кто сейчас командует армией в Египте?

— Нашли у кого спрашивать! Я не особенно, знаете ли, интересуюсь войной.

— Не особенно, миссис Грин? А может быть, совсем не интересуетесь? Признавайтесь.

— Что ж, признаюсь. Зачем мне врать, мистер Клитон? — сказала она, недоумевающая, шутит ли он, или говорит серьёзно.

Он погрозил ей пальцем.

— Вы не интересуетесь войной, да война интересует вас. Ведь это она привела вас сюда, не так ли? Она принесла и то, и другое, и третье вам и вашим родным и друзьям... и миллионам русских, и китайцев, и французов, и греков... и кому только она не принесла горя.. А вы мне заявляете, как ни в чём не бывало, что вы о ней ничего не знаете и знать не хотите! Миссис Грин, честное слово, ума не приложу, что мне с вами делать... Ага, вот и Чарли.

Громкоговорители передавали „закопсертированную музыку“, с граммофонных пластинок. Она заглушала шум самых назойливых машин. Под неё могли бы плясать обезумевшие гиганты. Клитон не одобрял музыки. То есть против музыки вообще, даже танцевальной, он не возражал, но считал её неуместной на таком заводе. Это всё новая политика... Нет, если люди работают лучше под такую музыку, значит они ненормальные. И кто включает радио в рабочие часы, тот как бы допускает, что работа, не требует всего внимания тех, кто ею занят. Это нелепость.

В конце зала работала молоденькая девушка, Роза — фамилии он не помнил. Она была представлена наблюдать за двумя автоматами. И Клитон увидел, как эта курносая дезчонка покачивала головой в такт музыке. Рот полуоткрыт, волосы прядями падают на щёки, и вообще у неё вид полоумной.

— Вы чем это заняты, а, Рози? — крикнул он ей. Он ничуть не сердился, нет, он просто хотел, чтобы голос его был слышен.

Не только голова, но даже халат Рози ритмично колебался, можно было подумать, что у неё пляска святого Витта. Ишь, как её разбирает! Но глаза глупой девочки так сияли, что Клитон не мог не улыбнуться. В сущности, приятно видеть всех их весёлыми! В нынешней жизни не слишком много радости.

— Ах, мистер Клитон! — жалобно прокричала в ответ Рози. — Это музыка виновата... Такой чудесный мотив. Слушаешь и думаешь... Ох, сама не знаю о чём.

— И я тоже не знаю, — в тон ей отозвался Клитон.

В эту минуту он заметил неподалеку двух парней, загрузивших токарный станок. Они вели себя не лучше Рози. Что ж, так оно есть... Не завод, а что-то среднее между дансингом, благотворительным базаром, модным кафе и клубом Христианского союза молодёжи! И здесь делаются самолёты с такой лёгкостью, как будто это мышеловки! Если бы кто из его старых товарищей, с которыми он работал в то время, когда механический цех был механическим цехом и ничем больше, — например, Джок Андерсон или старый Рейли, — очутились здесь опять да увидели, что тут творится, они бы, наверное, взвыли и помчались в трактир за виски.

С такими мыслями Клитон вернулся к своему месту на другом конце цеха и застал здесь инспектора по вопросам женского труда, мисс Шиптон. Она пришла переговорить с ним относительно миссис Купер, работницы его цеха (ничем решительно не замечательной), которая не явилась на работу, вероятно, потому, что её муж

приехал в отпуск с фронта. Мисс Шиптон была здесь новым человеком, но она уже несколько лет работала по охране труда на заводах. Клитон ничего не имел против мисс Шиптон (правда, она, на его взгляд, была немного слишком манерна и суетлива, и он не понимал, зачем ей понадобилось носить огромные очки в малиновой оправе), но он предпочёл бы, что бы она не держала себя, словно какой-нибудь миссионер в Индии. Мисс Шиптон была дама лет тридцати пяти, несколько суровая на вид, очень корректная и элегантная, говорила быстро, глотая слова, неуверенным тоном. Она была совершенно лишена чувства юмора, и Клитон любил подразнить её. Впрочем, относительно миссис Купер они сговорились в какие-нибудь полминуты.

— Да, знаете, мистер Клитон,— сказала она в заключение,— я хочу организовать здесь драматический кружок. У нас на одеяльной фабрике был такой и работал отлично. Это очень полезно для девушек и доставляет им массу удовольствия. Вы, я полагаю, не захотите вступить в него?— осведомилась она, скривив губы.

— И правильно полагаете, мисс Шиптон,— ответил он сухо.— Держу пари на яблоко, что вам не удастся здесь организовать никакого драматического кружка. Мы не одеяла шьём, а готовим военные самолёты. Не забывайте, что у нас работают по одиннадцати часов в смену. Люди каждое утро приезжают бог весть откуда и каждый вечер путешествуют обратно. У нас остаётся время только на сон, какие уж тут любительские кружки!

Выражение наигранной бодрости на лице мисс Шиптон несколько потускнело.

— Я знаю. Очень трудно что-нибудь организовать, когда люди живут все в разных местах.

Ну и времени, конечно, нехватает. Но ведь в субботу все свободны.

— Нет, не всякую субботу. И даже если бы так, у каждого в этот единственный день найдётся уйма дела, и он не станет торчать на заводе и разыгрывать пьесы. Мы хотим в субботу быть дома. Я говорю, конечно, только за себя, но, ручаюсь, что большинство скажет вам то же самое.

— Боюсь, что вы правы,—огорчённо согласилась мисс Шиптон, на этот раз вняв голосу благоразумия.—Это как раз то, с чем я постоянно борюсь.

— А я бы на вашем месте перестал с этим бороться,—с грубоватой прямоотой возразил Клитон.—И чего вы так стараетесь? У вас и без этих затей довольно дела, мисс Шиптон: выслушивать все их претензии да жалобы, постоянно хлопотать за кого-нибудь. У одной муж приехал с фронта, другая рожать собирается, у третьей уж не знаю что... У вас в свободный день найдётся и дома чем заняться, верно я говорю?

— Ну, ещё бы!—воскликнула мисс Шиптон, моргая глазами. Потом с „профессиональной“ весёлой улыбкой промолвила: „Благодарю вас, мистер Клитон!“,—и выплыла из цеха, мягко ступая в своих „гигиеничных“ туфлях на низких каблуках.

Клитон хмуро смотрел ей вслед. Он думал о том, что её восклицание „Ну, ещё бы!“ звучало совсем неубеждённо. В том-то и беда её, что вне завода, без своей „миссионерской“ деятельности, она чувствует себя лишней на свете. Старая дева, которой дома нечем заняться, кроме разве стирки чулок или утюжки плагья, которая знает жизнь только по книжкам, взятым в библи-

отеке, которая хандрит в меблированных комнатах и ложится спать рано, с грелкой, проглотив парочку облаток аспирина.

6

Уходя от мистера Клитона, Эдит Шиптон с досадой констатировала, что мысли её отвлеклись от дела и в душе опять поднимается тревога за Герберта. Целую неделю от него нет писем! Вот уж пять лет, как она любила Герберта, заведующего небольшой начальной школой в южном Ланкашире, человека семейного, у которого была больная жена и трое детей. Последние три года она тайно жила с ним. В первый год их связи они виделись довольно часто и проводили иногда вместе ночь, а то и две подряд. Тогда это было не особенно трудно, но в последние два года война создала множество всяких препятствий и ограничений, и для них начался кошмар: отчаянные попытки увидеться, наспех набросанные записки, постоянные разочарования, когда встретиться не удавалось. И даже когда удавалось провести вдвоём несколько часов, оба они порой бывали настолько измучены всей этой суетой, и свидания происходили в таком враждебном и убогом окружении, что всё выходило не так и прежней радости не было и следа. Эдит мужественно переносила это, постоянно твердя себе, что Герберту гораздо тяжелее, чем ей. И подчас неосторожная фраза в его письме или подмеченное во время свидания мимолётное выражение глаз подсказывало ей, что их любовь становится для него обузой, ещё новой обузой в жизни. У Герберта всегда был такой утомлённый вид. Что ж удивительного, как-никак ему пятьдесят лет и приходится теперь, помимо заведывания школой с сокращён-

ным штатом, выполнять в деревне ещё всякие новые, связанные с войной, обязанности, а дома много забот и мало радости.

Иногда Эдит хотелось сказать ему, что им пора расстаться. Но чаще всего он первый начал придумывать, как устроить следующее свидание, и она, конечно, не решалась его огорчить.

Беда в том, что бедняга Герберт не способен так храбро, как она, мириться с трудностями и опасностью этих свиданий. Эдит вспомнила ужасные дни, когда хозяйка маленькой гостиницы в Стокпорте так оскорбительно обращалась с ними обоими... Потом один унылый субботний вечер в Бирмингеме, когда им пришлось несколько часов бродить под проливным дождём. Их прежние весёлые товарищеские отношения, шутки между поцелуями, разговоры, в которых оба спешили излить душу, — для всего этого сейчас просто не было подходящих условий. Их любовь была, как разбитый бурями корабль, который уносится всё дальше и дальше от белых гаваней и золотых островов, где он некогда бывал, в туманы и лёд или под хлещущий ураган. Женщины на заводе, рассказывавшие мисс Шиптон о своих невзгодах, удивились бы, если бы знали, какой тяжкий груз забот носит в себе их внимательная слушательница.

Однако, когда Эдит Шиптон порою, в часы усталости, чувствуя, что работа её засасывает, жаловалась, что девушки и женщины, с которыми ей приходится иметь дело на фабриках и заводах, сами себе портят жизнь, она искренно это думала. Её собственная личная жизнь казалась ей явлением совершенно иного порядка, чем личная жизнь фабричных работниц, как будто они жили на другой планете. Та мисс Шиптон, которую все видели на Элмдаунском заводе, и Эдит Шиптон, возлюбленная Герберта, которая, сняв

очки, целовала его озабоченное, постаревшее лицо, были две разные женщины. И сейчас, уходя от мистера Клитона, „заводская“ мисс Шиптон уверещевала гербертову Эдит не подавать голоса, пока она не вернётся в свою комнату.

Она поднялась наверх, к мистеру Проскоту, заведующему отделом кадров и бытового обслуживания. Он, собственно, был её начальником, но целиком предоставил ей обслуживание женщин. У неё в этом деле было больше опыта, так как Проскот ещё полтора года тому назад состоял главным агентом одного из предприятий, влившихся в Элмдаунскую самолётостроительную компанию. Когда эта фабрика, производившая какие-то хозяйственные изделия, перешла на новую работу, Проскот остался без дела, и мистер Чевиот, стремившийся наладить снабжение и обслуживание рабочих, поручил это дело Проскоту, который, как опытный агент по продаже, отличался обходительностью и умением ладить со всякого рода людьми. Мисс Шиптон нравился Проскот, но она считала его не особенно дельным и энергичным и подозревала, что он не вкладывает души в работу.

Сегодня во всяком случае он не проявлял к ней ни малейшего интереса и вообще был далёк от обычного своего весёлого благодушия. Его круглое, красное лицо, всё в задорных, хитрых морщинках, сейчас являло собой сплошную гримасу недовольства. В нём не заметно было и следа привычной позы „души общества“, которая иной раз нестерпимо раздражала, но в общем помогала сразу установить с ним непринуждённые отношения. После первых же минут разговора мисс Шиптон осведомилась, чем он расстроен.

— Да всё эти прогулы, мисс Шиптон, — вдох-

нул он, тяжело шлёпнувшись в своё кресло.— Опять Эдрик поднял бучу. Должно быть, он сегодня злой с похмелья. А мне замечание от мистера Чевииота. Хоть бы вы меня выручили, мисс Шиптон.

— Вы хотите, чтобы инспектор национальной повинности не привлекал их к суду?

— Вот именно. Я им десять раз твердил, что некоторые из этих прогульщиц не являются на работу по уважительным причинам, но не хотят объяснять их нам и сообщают только вам по секрету. Вы можете подтвердить это? Тогда начальство успокоится.

— Конечно, могу, — с живостью отозвалась мисс Шиптон. — Вам нужно моё письменное заявление?

Она никогда не отказывалась писать всякого рода заявления и докладные записки, даже любила сочинять их, уже хотя бы потому, что это придавало её работе солидный и официальный характер.

— Пока нет. Только в том случае, если поднимут скандал, — сказал мистер Проскот, любивший говорить о скандалах, хотя он был человек вовсе не агрессивного типа. — Я просто скажу мистеру Чевииоту, что вы готовы меня поддержать. Надо же считаться с тем, что в этом деле у вас такой громадный опыт.

— Да, порядочный, — согласилась она, польщённая. Но, как честный человек, сочла нужным добавить: — Впрочем, до войны прогулам не придавали такого значения, как сейчас, не правда ли?

Мистер Проскот развёл пухлыми руками: — Да, но психология у рабочих была та же самая. В этом-то всё дело. А им как раз эта психология и непонятна. (Мистер Проскот любил рассуждать

о психологии.) Я уверен, что Элрику такие соображения и в голову никогда не приходили. А Блэндфорд ещё безнадёжнее Элрика. Этот думает только о машинах, а не о психологии. А я вам говорю: в такое время нельзя игнорировать психологию. Мы с вами это понимаем, не так ли, мисс Шиптон?

Она торжественно заверила его, что понимает, и охотно распространялась бы и дальше на эту тему, если бы Проскот не перебил её. Проскот любил в разговорах выдвигать „психологию“, но быстро „задзигал“ её обратно.

— Тут у нас работает одна девушка,— начал он, роясь в беспорядочной куче бумаг на столе, чтобы отыскать нужное ему заявление (ибо его стол был далеко не в таком идеальном порядке, в каком держала свой мисс Шиптон).— Эта девушка жалуется на наши автобусы. Пишет, что ей приходится идти пешком до автобуса несколько миль, когда в этом совершенно нет необходимости, и что мать хочет из-за этого взять её с завода. Да где же её заявление?... Ага, вот оно. Нелли Диттон. В цехе номер два. Деревенская девочка, но она у нас уже почти полтора года и работает отлично. Вы бы потолковали с нею, мисс Шиптон. Там помощник мастера — коммунист Огмор, и мы не хотим с ним связываться. Лучше всего сходите к ней сейчас же.

Мистер Проскот шумно вздохнул и ещё больше надулся.

Мисс Шиптон сказала, что пойдёт сейчас же, но задержалась, чтобы снова спросить у мистера Проскота, почему он сегодня так мрачен.

Он тряхнул головой.

— Жена беспокоится о мальчике. (Сын его недавно отправился на фронт, на Средний Восток.) Да и вообще знаете, как теперь: то одно, то дру-

гое... Мало радости... А такая жизнь не по мне, мисс Шиптон,— добавил он с чувством.— Я люблю быть в движении, жить весело, встречаться с людьми, выпить иной раз в компании, делать дела, бывать в театрах. Я не такой серьёзный человек, как вы, мисс Шиптон. Вы, наверное, не так скучаете, как я, по прежней беззаботной жизни.

Много он знает о ней! Ей в эту минуту невольно вспомнился один чудесный день в вересковой степи. Она увидела себя и Герберта на ярком солнце. Вокруг всё так сладко благоухало, пели жаворонки, и они были одни, счастливые любовники, вдали от всех, в скрытом от чужих глаз уголке золотого мира. „Ах, да перестань ты думать об этом, глупая женщина!“

— Да, наверное, не так, мистер Проскот,— сказала она вслух без улыбки.— Ну, пойду поговорю с Нелли Диттон.

Опять она шла среди машин. В глубине души она боялась и не любила их, но научилась щеголять в разговоре всякими „умными“ общими фразами о промышленности. В цехе номер два работали какие-то особенно свирепые небольшие машины. С грохотом и визгом они врезались в твёрдый металл, и во все стороны летели из них белые искры. Мисс Шиптон втайне находила, что не женское это дело — управлять такими машинами. Мужчине ещё куда ни шло, но девушкам это не годится. Если бы какая-нибудь из работниц работала плохо просто оттого, что и она тоже ненавидела машины, мисс Шиптон отнеслась бы к ней с большим сочувствием. Но их всех тревожили разные другие вопросы — расценки, автобус, отпуск, какое-нибудь недомогание. Некоторые, как, например, эта чудачка, миссис Оклей, даже любили свои станки. Мисс Шиптон это было непонятно, несмотря на то, что она несколько лет тому

назад добровольно бросила преподавание, чтобы заняться своей нынешней работой на заводах. Подходя к грохочущему и сверкающему цеху номер два, она, как всегда, внутренне дрогнула и сжалась.

Как только мистер Огмор указал ей Нелли Диттон, она припомнила эту полненькую белокурую девушку с немного скошенным на сторону лицом. Она не скандалистка, не спорщица, как некоторые другие. Обыкновенная деревенская девушка с застенчивым взглядом и бормочущим робким голосом.

Жалоба Нелли на автобус её района состояла в том, что он в последнее время изменил свой маршрут и теперь ей и ещё нескольким девушкам из той же деревни приходится идти пешком до остановки две мили. Летом это ещё ничего, ну а сейчас дни становятся всё короче, и скоро придётся утром и вечером идти в полной темноте.

— А мать этого не позволит, — добавила Нелли довольно вяло, как будто это дело должны были решать между собой её мать и Элмдаунская компания. — В особенности по вечерам, говорит, когда на дороге слоняются солдаты. Я ей сказала, что не боюсь солдат — и вправду не боюсь, а вот подруга моя боится, — но мать твердит своё, что они не имели права отменять нашу автобусную остановку и что, если её не восстановят, так она заберёт меня с завода.

— Этого она сделать не может, — возразила мисс Шиптон спокойно. — Вы работаете на оборону, Нелли.

— Вот это самое я ей говорю — про работу на оборону, — сказала Нелли не без гордости. — Но она и слушать не хочет. Она у нас не только отсталая. Не хочет, например, слушать сообщения по радио. Уверяет, что большая часть их вы-

думки. Всё, что передают про бомбёжки и про войну в России, будто бы всё это выдумки.

Мисс Шиптон даже брови нахмурила, услышав такую ересь.

— Что за чепуха! Чего ради стали бы выдумывать такие вещи?

Но у Нелли ответ был готов.

— Она говорит, что всё это — штуки правительства, которое хочет иметь ещё больше власти над народом. Знаете, моя тётя приехала к нам жить, потому что её квартиру в Лондоне разбомбило, и здорово разбомбило. Так она просто из себя выходит, когда мать уверяет, что про бомбёжки всё выдуманно. А у моей подруги жених — лётчик на фронте, и она тоже спорит с моей матерью. Но мать не убедишь.

Мисс Шиптон ощутила вдруг острый приступ тоски. Она вспомнила свои бесконечные разговоры с Гербертом, человеком передовым, со смелыми мыслями, сначала о грядущей войне, об Испании, о Мюнхене и всём прочем, позднее об уже начавшейся войне. Герберт хорошо разбирался во всём и говорил очень интересно о политической подкладке этой войны, о том, какая должна быть стратегия союзников, и о переустройстве мира после войны. Она слушала его часами (хотя по временам ей и хотелось, чтобы Герберт перестал говорить о войне и поговорил немножко о ней, Эдит) и, не смея равнять себя с ним, так тонко разбиравшимся в высоких материях, всё же считала себя хорошо осведомлённой. А тут эта мать Нелли чуть ли не утверждает, что никакой войны нет! Такие моменты, когда ей внезапно открывалась тёмная бездна человеческого невежества, очень волновали мисс Шиптон.

Нелли, видимо, кое-что заметила. — Не думайте,

мисс Шиптон, что и я тоже такая,— промолвила она серьёзно. Её большие голубые глаза утратили своё робкое выражение. — Но ведь она мне мать. Она уверена, что может, если захочет, взять меня отсюда. И я думаю, она это сделает.

— Нет, не сделает. В особенности если вы сами не захотите уйти с завода. А вы ведь этого не хотите? Вам здесь нравится?

— Да, ничего. Я не прочь работать здесь.

Так отвечали неизменно девяносто девять из ста. Они не высказывались решительно ни за, ни против, и это бесило мисс Шиптон. Каким приятным разнообразием было бы встретить женщину, которая объявила бы напрямик, что любит свою работу или что терпеть её не может. Но почти все они высказывались так же неопределённо и уклончиво, как Нелли. И не только о работе — обо всём. Некоторые из этих девушек забеременели и на вопросы мисс Шиптон признавались, что будущий отец ребёнка — какой-нибудь Джо или Чарли, который находится в соседних лагерях, а теперь куда-то исчез. Но и тут в их рассказах была та же неопределённость, безразличие и терпеливая безропотность. И та мисс Шиптон, которая старалась не думать о Герберте, испытывала к ним презрение за вялость и смутность их переживаний, а та Эдит Шиптон, что слишком много думала о Герберте и плакала бессонными ночами, вспоминая о нём, презирала их за то, что им незнакома страсть.

— Ну, вот что, Нелли,— сказала она деловым тоном,— вам следует помнить, что в последнее время движение наших автобусов сокращено, а к зиме его, может быть, ещё больше сократят. Но вы скажите матери, что я наведу справки относительно этого маршрута. Откуда идёт ваш автобус?

Она записала подробности, которые словоохотливо сообщила ей Нелли. Затем, опасаясь, что, может быть, слишком сухо разговаривала с девушкой, прибавила:

— Мы непременно хотим удержать вас здесь, Нелли. Мне говорили, что мистер Огмор очень высоко ценит вашу работу. Мне сказал об этом сам мистер Проскот — вот видите!

Следовало ожидать, что от этих слов лицо Нелли просияет, но оно только выразило замешательство, как будто она не с всем поняла сказанное. „Честное слово, — подумала, уходя, мисс Шиптон, — некоторые из этих девушек какие-то полуживые“. Как же создать жизнеспособное, подлинно демократическое общество (которого требовал Герберт) с этим народом? Взять хотя бы такую вот Нелли Дигтон. Её интересует только одно — чтобы не нужно было ходить далеко к остановке автобуса и чтобы утомилась её идиотка-мать.

7

Стоя у своего станка, Нелли думала:

„Эта мисс Шиптон выглядела бы много моложе и лучше, если бы причёсывалась не так гладко и сняла эти смешные очки. Хоть она и старая дева, но зачем же так стараться, чтобы все это заметили? А лицом она ведь недурна. Во всяком случае, оно у неё не скривлено, как у меня“.

Нелли всё больше приходила к мысли, что люди, у которых нормальные лица, должны чувствовать себя хозяевами жизни. Она постоянно остро помнила, что её собственное лицо, начиная от носа, скошено на правую сторону. Все говорили, что, если бы не это, она, Нелли,

была бы прехорошенькая. Особенность её лица нельзя была назвать настоящим уродством, но она придавала ей странный вид. А фигура у неё была прекрасная, особенно хороши были ноги, которые в последнее время вышагивали целые мили под одобрительный свист молодых армейцев и лётчиков. Нельзя сказать, чтобы мужчины, увидев её лицо, шарахались от неё, но она их не волновала, как другие девушки, и до сих пор все они были очень далеки от того, чтобы стать для неё „мистером Настоящим“, как выражалась её тётка. (Этот „Настоящий“ должен быть высокий брюнет с низким, волнующим голосом, готовый целовать землю, по которой она ступала. Нелли никогда не наблюдала в жизни такого „целования земли“, но читала о нём в романах.) Одно время она целыми часами пробовала выравнивать нижнюю часть своего лица. В течение многих месяцев, ложась спать, туго обвязывала лицо большим носовым платком, но ничто не помогало.

Это было великое горе её жизни. Меньшим горем было то, что она не умела играть на рояле. У них никогда не было рояля, но сейчас тётка привезла своё пианино из Лонда на красивое, блестящее пианино, причинившее Нелли танталовы муки. В этом ящике розового дерева заключены были чудесные мелодии, а она не умела выпустить их на волю. Иногда она одним пальцем правой руки подбирала какой-нибудь мотив, а левой рукой в то же время бодро барабанила по клавишам, нажимая ногами обе педали, но ничего из этого не выходило, и мать протестовала, потому что не любила шума. А тётка, любившая шум и сетовавшая на то, что теперь вокруг неё не так шумно, как бывало, тоже протестовала, говоря, что это не музыка и что Нелли испортит ей

пианино. Так что Нелли приходилось дожидаться, когда их обеих не будет дома. А так как и сама она почти не бывала дома, то ей не часто представлялась возможность поспрашивать на пианино. Иной раз она жалела, зачем тётка привезла его к ним.

К Нелли подошёл мистер Огмор и спросил, о чём с нею беседовала мисс Шиптон. Мистер Огмор был высокий брюнет с густым и, пожалуй, даже волнующим голосом, но он не целовал землю, по которой ступала Нелли. Предметом его поклонения была не Нелли, а Россия. Несколько месяцев тому назад, услышав, что мистер Огмор коммунист, Нелли не знала, как отнестись к нему, и каждую минуту ожидала от него чего-нибудь отчаянного. Она с интересом разглядывала его, словно ища на его лице красных знаков. Она часами разговаривала о нём с подругой, Моной Фокс, тоже работавшей на их заводе. Иногда они приходили к заключению, что мистер Огмор не настоящий коммунист, но все утверждали противное. У него было худое желтоватое лицо, тёмные усы и очень суровый вид, но эта суровость, как убедилась Нелли, не мешала ему быть всегда благожелательным и отзывчивым. Кто приходил на работу аккуратно и работал усердно, всегда мог рассчитывать на мистера Огмора. И не потому, что мистер Огмор любил таких работников, а потому, что он хотел, чтобы завод выпускал побольше самолётов в помощь России. Как-то прошлой зимой сюда приезжали трое русских осмотреть завод, и мистер Огмор тогда чуть с ума не сошёл от радости и волнения.

Не прерывая работы, в которой она была уже достаточно опытна, Нелли пересказала ему свой разговор с мисс Шиптон. Мистер Огмор выслушал её с серьёзным видом. Он всегда был очень

серьёзен, за исключением тех случаев, когда хотел пошутить. Для шуток у него было специальное выражение лица, и когда он делал такую мину, все уже знали, что сейчас последует какая-нибудь шутка.

— Мисс Шиптон, кажется, очень рассердилась,— добавила в заключение Нелли,— когда я сказала ей, что мама считает почти все сообщения с фронта выдумкой. Вы бы слышали, мистер Огмор, каким голосом она сказала: „Чепуха!“

— Мисс Шиптон пора бы знать,— с важностью промолвил мистер Огмор,— что наш народ весьма и весьма нуждается в политическом воспитании. У нас есть люди (даже и в рабочей среде, не говоря уже о правящих классах), которые ещё не понимают сами себя, не понимают того, что творится в мире, и даже того, что происходит у них перед носом. И,— уж извините, Нелли,— ваша мать, видно, тоже такова. Живи она в России, она бы всё понимала. Он бы знала, что это рабочие борются за своё право на существование. Она бы, может быть, и сама ушла в партизаны.

Нелли не знала, что такое партизаны. Поэтому она промолчала и только ещё ниже наклонилась к работе.

Мистер Огмор тоже посмотрел на станок.

— Возьмите хотя бы эту машину,— начал он снова.— Откуда она пришла к нам? Из Германии, за какой-нибудь год до войны.

— Неужели?— ахнула Нелли.

— Да, эта самая машина. Мистер Чевит ездил туда и купил их десять штук. Я это слышал от него самого. Мало того: знаете, откуда взяла Германия свои первые сверхмощные авиационные моторы? Отсюда, из Англии. Один мой товарищ проектировал их и ещё тогда рассказывал

мне об этом. Так-то, Нелли. Теперь соображайте сами.

Нелли не стала соображать. Но ей было очень приятно, что мистер Огмор стоит и беседует с нею, как с равной. Мистер Огмор был женат. Жена, по его словам, тоже была коммулистка, а двое детей станут коммунистами, как только подрастут и поймут, что происходит. Нелли видела раз мистер Огмор, — мы, наверное, попрежнему будем кая, кругленькая женщина с коротко остриженными волосами и ненакрашенными губами. Наверное, муж и жена говорили между собой только о России.

— После войны,— продолжал между тем мистер Огмор,— мы, наверное, попрежнему будем работать здесь, но будем производить уже не самолёты.

— Надеюсь, что нет,— вставила Нелли.

— За полгода, а то и скорее, если возьмёмся за это как следует, общими силами, мы сможем реорганизовать завод и выпускать холодильники, „титаны“, радиоприёмники — всё, что хотите. Их будут обменивать на сырьё, они улучшат условия жизни рабочих.— Мистер Огмор говорил с большим воодушевлением.— И нам будут нужны такие люди, как вы, Нелли. Вы способный и добросовестный работник. И вы охотно будете работать для такой цели, правда?

— Не знаю, прэво, мистер Огмор,— нерешительно сказала Нелли.— Я, конечно, люблю всё делать как следует, но я не так увлекаюсь работой на заводе, как некоторые. Даже м ей подруге Моне она больше нравится, чем мне. Знаете, Мона уже записана в группу „передовиков“.

— Да, знаю,— отмахнулся мистер Огмор от разговора о Моне.— Однако вы меня удивили,

Нелли Диттон. Это, должно быть, влияние вашей матери. Такая молодая работница, как вы...

Но Нелли осмелилась перебить его.

— Я взялась за это дело только из-за войны,— сказала она.— Я вовсе не хочу работать здесь вечно.

— Имейте в виду, рабочий день будет короче, чем сейчас,— поспешил он заверить её.— На этот счёт можете быть спокойны.

— Дело вовсе не в этом,— возразила Нелли.— Просто я думала, что... Мне хочется после войны заняться чем-нибудь другим. Работать не на таком большом заводе, как этот, а в каком-нибудь магазине, например, или...

— Магазины! — воскликнул мистер Огмор тоном человека, которому ненавистна всякая торговля.— Все вы, девушки, толкуете о магазинах...

— Что ж, магазины будут и после войны. Разве нет?

— Нет,— отрезал в негодовании мистер Огмор.

— Никаких лавок того сорта, который вы имеете в виду,— десятков тысяч грязных кроличьих нор, в которых орудуют кровопийцы-спекулянты! Нам нужны будут большие государственные магазины, где рабочий человек сможет покупать всё, что ему нужно, по твёрдым ценам. Магазины! Держу пари, что эти тоже только и ждут возможности опять вернуться в свои магазины!

Он указал на двух девушек, работавших вдвоём на одной машине. Они непрерывно тянули какую-нибудь заунывную песню. Вот сейчас они пели: „Я мечта-а-а-ю о весёлом ро-о-ждестве“. Они способны были продолжать так часами, без передышки, и странно: их тусклые, заунывные голоса всегда были слышны, несмотря на оглушительный шум машин.

— Ну и народ! — возмущённо начал мистер

Огмор, но не успел ничего больше сказать, так как в эту минуту кто-то крикнул ему, что его ждут, и он убежал.

Нелли не любила этих певуний, которых здесь называли „сёстрами“, и считала, что ей не повезло, так как вблизи неё теперь работало очень мало симпатичных ей людей. Каких только чудачков не приходилось наблюдать за три месяца работы здесь! Рядом, на такой же машине, как у неё, работала миссис Дэфф, раздражительная женщина с сильно выдвинутой нижней челюстью. Она жила вместе со своей невесткой и постоянно говорила о ней. Как только ей удавалось найти слушателя, она сразу же переходила к бесконечным жёлчным жалобам на эту невестку. „Теперь она пожирает весь мой паёк“, — начинала она, и её маленькие глазки злобно сверкали. По другую сторону работал мистер Тэйлор, бывший владелец кондитерской, который так осторожно отвечал всем заговаривавшим с ним, как будто боялся, что ему зададут какой-нибудь коварный вопрос. Это был уже пожилой и всегда хмурый человек, не любивший мистера Огмора. Ещё в соседстве с Нелли работали два юнца; они громогласно перебрасывались шутками, понятными только им одним, и весело хохотали. Дальше работала девушка по имени Эльси, крашеная блондинка с потрясающим перманентом, служившая прежде в баре. Её постоянно встречали с одним слесарем инструментального цеха, женатым человеком. Потом тут была ещё миссис Флинн, миниатюрная, похшая на цыганку, очень недоверчивая и озлобленная, — может быть, оттого, что муж причинял ей много горя.

Но самым любопытным из всех был мистер Стоньер, который не так давно начал работать на заводе. У него была седая голова и густые чёр-

ные брови, а его глаза, удивительно светлого оттенка, иногда ярко блестели, а иногда были совсем тусклые, какие-то мёртвые. Он всё что-то бормотал про себя, и хотя голоса его не было слышно, стоило только взглянуть на него, чтобы увидеть, что губы его шевелятся. Миссис Флинн уверяла, что он был религиозен и на этом помешался. Нелли заговаривала с ним только тогда, когда это было необходимо, потому что в мистере Стоньере было что-то пугающее. Подумав о нём сейчас, она посмотрела на него. Губы его шевелились, как будто он говорил сам с собой или молился. В эту минуту он тоже поднял голову и перехватил внимательный взгляд Нелли. Он не улыбнулся ей, не нахмурился, только смотрел на неё словно незрячими глазами. Да, решительно в этом человеке было что-то жуткое.

Самое страшное, что Нелли могла предположить, когда думала о нём, снова склонясь над работой, было убийство. Быть может, мистер Стоньер убийца или замышляет убийство. Ей мерещились трупы в мешках, трупы, затиснутые в чемоданы, спрятанные в погребах, вырытые полицией. Эти мысленные экскурсии в страшный мир кошмаров вызывали дрожь ужаса, но в то же время не лишены были приятности. Затем она вообразила себя в лесу, где мистер Стоньер гнался за нею. Она изнемогала и больше не в состоянии была быстро бежать, а потом от страха не могла уже и двинуться с места.

Воображение её работало, а глаза между тем ни на миг не отрывались от станка, и пальцы двигались с обычной быстротой, ловкостью и точностью.

Примчалась её подруга, Мона Фокс. Мона всегда куда-то спешит. Очень уж она беспокойная и неугомонная, не удивительно, что она так худая. Наверное, оттого, что она такая бойкая, её и

выдвинули в бригаду передовиков. Мона гораздо больше, чем Нелли, интересовалась работой завода. Она ещё обожала танцы.

— Слушай, Нелли,— начала она, как всегда, запыхавшись.— Я насчёт субботы. Вечер будет не возле аэродрома,— там танцулька закрылась. Он будет в Фоули, в Доме собраний. Начало в половине восьмого.

— А мне это ни к чему,— сказала Нелли, не грубо, но решительно.— Я не пойду.

— Да ведь ты же говорила, что пойдёшь!

— Нет. Я сказала „может быть“.

— Но почему бы тебе не пойти? — настаивала Мона.— Мне не хочется опять идти с Элис. Ты знаешь, как она себя ведёт в обществе мужчин. Сразу же распоясывается. В прошлый раз я не знала, куда деваться от стыда. И одному из кавалеров — знаешь, тому блондину, сержанту,— это тоже не понравилось. Он сам мне потом говорил. „Вот что, девочка,— сказал он мне,— ты лучше не водись с нею“. Ну, пойдём, Нелли, ведь ты же обещала! Билеты достану я, если хочешь.

— Не в том дело,— возразила Нелли упрямо.— Просто меня на эти танцульки больше не тянет.

— Ну, почему? Я позабочусь, чтобы у тебя была куча кавалеров,— сказала Мона и тут же сообразила, что созерщила тактическую ошибку.

Нелли побагровела и бросила на неё яростный взгляд.

— Спасибо, я не нуждаюсь в том, чтобы ты и вообще кто бы то ни было искал для меня кавалеров. И я в субботу не могу никуда пойти, я буду занята дома.

— Не хочешь, не надо! — крикнула Мона с сердцем.

— Я говорила с мисс Шиптон насчёт автобуса,— продолжала Нелли без всякого раздражения, но холодно.— Она устроит всё... Ты прямо тонешь в своём халате, Мона, я тебя предупредила, что он будет велик.

— У меня будет другой, можешь не беспокоиться,— отрезала Мона и убежала.

Нелли тотчас же перестала о ней думать. Она решила, что в субботу днём по дороге домой (можно будет доехать автобусом до Фоули, а оттуда дойти домой пешком или, может, кто подвезёт) купит себе какой-нибудь самоучитель игры на пианино, и вечером, если мать и тётка уйдут к миссис Кросли, начнёт по-настоящему учиться играть. Она уже видела и слышала, как извлекает из пианино чудесные мелодии. Скоро её будут просить: „Сыграй нам, Нелли“. Люди будут говорить друг другу: „Замечательная пианистка эта Нелли Диттон! А ведь самоучка. Вы только послушайте её игру“.

Впрочем, не это главное. Главное то, что можно будет в одиночестве садиться за пианино, заставляя его слушаться, заставляя его быть печальным или весёлым, смотря по тому, как ей захочется...

Случайно подняв глаза, она даже вздрогнула от неожиданности. У её станка безмолвно стояло трое мужчин, сосредоточенно глядя вниз. Это были мистер Огмор и мистер Блэндфорд, помощник мистера Чевюта, красивый, холодный, всегда так странно растягивавший слова. Третьего Нелли видела впервые. Он был помоложе, в очках, такой серьёзный, похож на учёного или на доктора. Нелли смотрела на трёх мужчин, но они не смотрели на неё, точно её здесь не было. Это вызывало в ней чувство какой-то обиды, потребность закричать, сделать что-то, пока-

зять им, что она такой же живой человек, как они.

— Ничего, ничего, Нелли,— промолвил мистер Огмор, должно быть подметивший кое-что.— Не обращайтесь на нас внимания. Продолжайте.

Затем, обратившись к двум другим, сказал что-то о машине и процессе работы. Она, Нелли, в счёт не шла.

Молодой в очках записал что-то в свой блокнот и, встретив вопрошающий взгляд Нелли, ответил на него застенчивой полуулыбкой.

— Вы, кажется, хорошо справляетесь с этим делом? Никаких затруднений?

— Нет. Работа лёгкая.

Он кивнул головой.— Моя фамилия Энглби. Я заведу бюро рационализации. Слышали что-нибудь о нём?

— Нет.

— Мы занимаемся тем,— пояснил мистер Энглби,— что придумываем, как побыстрее и проще делать то или другое. Это очень важно, не так ли? И мы всегда рады выслушать предложения каждого рабочего.

— Вот это правильно,— вставил мистер Огмор.

Мистер Блэндфорд, как всегда, сдержанный и высокомерный, не сказал ничего. Он пошёл дальше, и двое других вынуждены были пойти за ним. Этот эпизод вначале расстроил Нелли; ей не понравилось, что на неё смотрели как на придаток к машине, но, когда они ушли, настроение её улучшилось уже хотя бы потому, что мистер Энглби так любезно поговорил с нею.

Он похож на доктора и совсем не в её вкусе, но насколько он проще и человечнее мистера Блэндфорда!

Наступило время чаепития. Это чувствовалось по внезапно замедлившемуся темпу работы.

С другого конца ряда донёлся смех девушек, и Нелли сразу догадалась, что сегодня чай развозит Сэмми Хэмп. Ну, конечно, вот он идёт, широко ухмыляясь, рядом с тележкой, на которой стоят чашки. Славный старикан!

8

Сэмми Хэмп исполнял на заводе всякую немудреную работу — подметал, дезинфицировал, разносил чай и прочее. Это был инвалид, лет пятидесяти с лишним, не человек, а развалина: он хромотал, и одна рука у него не действовала. Он был тяжело ранен в прошлую войну, а позднее пострадал ещё и во время несчастного случая на том же заводе, где раньше служил мистер Чевит. Перейдя на Элмдаунский завод, мистер Чевит взял с собой Сэмми. Сэмми не получал никакой пенсии. Он с утра до вечера трудился и честно зарабатывал каждый грош. На его широком обветренном лице всегда сияла широкая улыбка, а глаза у него были ясные, голубые. Все на заводе знали и любили Сэмми.

Если бы вы вздумали записать на бумаге все обстоятельства жизни Сэмми и призвали на помощь парочку экспертов, вы, несомненно, пришли бы к заключению, что такая жизнь ничего не стоит. Искалеченная нога, почти бесполезная левая рука, никакой специальности, ни гроша сбережений, впереди одинокая старость и нищета, ибо жена умерла, а детей нет и своего угла тоже нет. При этом некоторая психическая неустойчивость и хронический бронхит. Таков был этот унылый перечень.

Но, оказывается, жизнь человеческая не исчерпывается такого рода деталями. Жизнь Сэмми была блестящим тому доказательством. Несмотря

на все эти печальные факты, он не только радовался ей, но и доставлял радость множеству других людей. В нём сохранился бо́льшой запас веселья и бодрости. Он являл собой превосходный пример того, как ценна древняя христианская добродетель — смирение: ибо, так как он ничего не требовал и не ждал для себя, то всё мало-мальски приятное в жизни рассматривал как чистейший дар судьбы. Каждое утро, в то время как большинство людей ещё досадовало на необходимость вставать, он чудесно проводил время, наслаждаясь своей кружкой горячего чая, кусочком ветчины с двумя-тремя ломтиками хлеба, трубкой после завтрака, путешествием в автобусе на завод, которое, в его глазах, было чем-то вроде увеселительной прогулки. Сэмми получал три фунта в неделю, а стоил, пожалуй, трёхсот. Впрочем, настоящую цену таким людям определить так же невозможно, как невозможно ни за какие деньги купить секрет их жизнерадостности.

Сейчас Сэмми разносил рабочим чай, что он всегда рассматривал, как приятную и общественно-полезную обязанность.

— А где товарищ Огмор? — спросил он, поравнявшись с Нелли.

— Обходит цех с мистером Блэндфордом и мистером Энглби, — ответила Нелли, гордясь своей осведомлённостью.

— Вас Нелли зовут, я помню, помню, — сказал Сэмми, улыбаясь. У него была замечательная память на лица и имена. Он запоминал тысячи людей. Для него завод не был ни просто предприятием авиационной промышленности, ни громадным и таинственным местом, где вам полагается следить за машиной и за это платят деньги. Нет, для Сэмми это был родной мирок, где каждый человек имел своё лицо и своё имя, раз навсегда яр-

ко запечатлевшиеся в его памяти. Кто бы ни были эти люди, стоило им поработать здесь месяц-другой, и Сэмми уже знал их, и, разумеется, они знали его, хотя бы как некую деталь окружающей обстановки, ежедневное явление заводской жизни.

— Помню вас, как же. Это ведь вы горевали, что не можете заняться чем-то, что вам нравится?— сказал он, передавая Нелли кружку чая.— Что же это? Нет, нет, не говорите, я сам вспомню. Танцы! Верно?

— Нет, не верно, Сэмми. Танцевать я не особенно люблю. Ага, вот и не вспомнили! Попробуйте ещё разок!

Сэмми прикрыл глаза рукой и сделал серьёзное лицо.

— Игра на фортепьяне, вот что!— объявил он через минуту.— На этот раз угадал?.. Слушайте-ка, Нелли, вы не знаете мисс Эрмитедж— ту, что работает наверху, в чертёжной? Она здорово играет на фортепьяне. И живёт она в ваших местах. Что если попросить мисс Эрмитедж подучить вас, а?

— Она ни за что не согласится,— возразила Нелли.— Да мы с нею и незнакомы. Я только слышала её игру на концерте. Я ведь совсем играть не умею. Не знаю, с чего надо начинать.

— Вот она бы вам и объяснила, с чего начать!— воскликнул Сэмми.— Нет, я вам советую серьёзно об этом подумать, Нелли... Здравствуй-те, миссис Дэфф. Ну, как поживает ваша невестка?

— Ох, не спрашивайте!— отозвалась миссис Дэфф, принимая от него чай.— Такая стала злющая, что житья от неё нет. Вот только вчера вечером говорю ей: „Целый паёк масла, говорю, сам себя скушать не мог, ты мне зубы не заговари-

вай". Так вам надо было слышать, как она расходилась! Можно подумать, что не я её, а она меня кормит!

— Да, бывают такие женщины,— сказал Сэмми.— Счастье ещё, что вы такая терпеливая, миссис Дэфф... Здорово, мистер Тэйлор! Чайку хотите?

Мистер Тэйлор, тот немолодой рабочий с меланхолическим лицом, что раньше был кондитером, кивнул головой и невнятно поблагодарил. Сегодня он даже решился подать реплику.

— А вести-то с фронта неважные, мистер Хэмп,— сказал он осторожно.

— Ничего, мистер Тэйлор, дайте срок,— ответил Сэмми.— Через недельку-другую мы заставим немцев призадуматься. Вот увидите!

Мистер Тэйлор сильно сомневался в этом. Он возразил, что пока незаметно никаких признаков близких перемен. В ту неделю октября 1942 года так говорили и думали многие.

— Как раз, когда меньше всего ожидаешь чего-нибудь, тогда оно и приходит,— сказал Сэмми, подмигивая.— Каково ваше мнение, Элси?

Элси, крашенная блондинка с перманентом, объявила, что ей до смерти надоела проклятая война и пусть все так и знают, ей всё равно.

— Это вы оттого так рассуждаете, что вы молоды и красивы, Элси,— сказал Сэмми.— Я сам говорил так в прошлую войну, когда и я был молодой красавчик.

Элси хихикнула, потом шумно отхлебнула из своей кружки. Сэмми задумчиво и внимательно наблюдал за ней. Многие недолюбливали эту девушку за то, что она, по их мнению, слишком весело жила и шлялась с Билли Пирсоном, женатым и беспутным слесарем-инструментальщиком. „А между тем этой Элси, наверное, вовсе не так

уж хорошо живётся“, думал Сэмми. — „Видно, что у бедняжки на душе кошки скребут“.

— Не надо унывать, Элси, — сказал он тихо.

Она, вздрогнув, с недоумением посмотрела на него.

— О чём это вы, папаша?

— Ваша жизнь ещё впереди, Элси. У вас больше времени, чем вы думаете. А сейчас, конечно, всё не так, как бывало. Что ж сделаешь, надо потерпеть.

— Ладно, потерпим, папаша, — улыбнулась Элси.

Да, она уже улыбалась, а вот тот чудак — как его? Да, Стоньер — тот не улыбался. У него был такой вид, словно он забыл, зачем он здесь.

— Стаканчик чаю, мистер Стоньер? — крикнул ему Сэмми довольно громко.

— А? Что? — Стоньер, казалось, вернулся из какого-то далёкого мира, где не нашёл для себя ничего хорошего. — Да, да, разумеется, чай. Дайте, конечно, спасибо.

— Ну, как, нравится вам здесь? — спросил Сэмми весело.

— Здесь? Что ж, работа не трудная, работа ничего. Я... Гм. — На этом Стоньер застрял.

„С ним что-то неладное творится“, — мысленно решил Сэмми. Стоньер и раньше был какой-то странный, а теперь стал много хуже. Он как будто смотрел внутрь себя, в тёмную глубину. А что в этой глубине происходит — один бог знает.

— Ну, когда же мы выиграем войну, а? — спросил Сэмми таким тоном, словно Стоньер должен знать об этом больше, чем всякий другой.

— Не одна идёт война, — изрёк Стоньер, уставясь на Сэмми вдруг заблестевшими, дикими глазами.

— Не пойму я что-то...—сказал Сэмми, которому стало не по себе.

— Чем занят бог?

— Не знаю. Наверное, как всегда, печётся о нас,—ответил Сэмми, пытаясь сохранить весёлую непринуждённость.

— О нас? О нас печётся?—крикнул Стоньер с уничтожающим презрением. Потом, помолчав, спросил:

— Вы по ночам спите?

— Да, почти всегда. Сон у меня крепкий. А что?

— А я не сплю. Если бы я спал, я бы так же, как вы, ничего не знал и не понимал. Но я не сплю. Поэтому я узнаю кое-что. Вам этого не понять. Говорила с вами когда-нибудь женщина с лицом, похожим на маску?

— Женщина...

— Да, да, с лицом, как маска. Она напоминает кого-то, кого я раньше знал, но не могу вспомнить, кого. Она беседует со мною. Иногда я думаю, что она тоже работает здесь.

— Погодите минутку,—остановил его ошеломлённый Сэмми.—Я не разобрал, о чём это вы. Где она, та женщина, что разговаривает с вами?

— Не каждую ночь, но почти каждую,—продолжал Стоньер странным, беззвучным голосом.—И ещё старик тоже приходит. Но его я только вижу. Он молчит. Когда он заговорит, тогда я всё узнаю.

— Что узнаете?

— Насчёт войны и всего прочего.—Глаза Стоньера сверкнули.

— Послушайте...—начал Сэмми.

Но Стоньер тряхнул головой, поставил на поднос кружку и отошёл. Сэмми некоторое время смотрел ему вслед.

Свихнулся он, что ли?

Подошёл Огмор, взял свой стакан, закурил папиросу.

— Товарищ Огмор,— промолвил Сэмми серьёзно,— тут у вас один парень, Стоньер, по ночам видит и слышит разные странные вещи...

— Пока он не видит и не слышит их в рабочие часы, меня это не касается,— отозвался Огмор.— К тому же он неплохой работник. Немного туповат, но добросовестный и не имеет ни единого прогула.

— Когда с ним уже среди бела дня начнут твориться такие вещи, тогда берегитесь! По-моему, у него голова не в порядке, вы бы присмотрели за этим беднягой, товарищ Огмор.

— Я за всеми тут присматриваю, не беспокойтесь, Сэмми.

— На вас можно положиться, товарищ Огмор,— сказал Сэмми, уже снова улыбаясь.— Ну, как дела Красной Армии?

— Красная Армия попрежнему доказывает нам, что может сделать республика рабочих. Гитлер до сих пор не взял Сталинград, и моё мнение, что он его никогда не возьмёт.

А пока вы мне вот что скажите, Сэмми: известно вам, как дела у нас с выпуском продукции?

Улыбка исчезла с лица Сэмми.

— Мне говорили, что выпуск всё снижается.

— Вам сказали правду,— мрачно подтвердил Огмор.— Несмотря на все наши затеи,— и группы „передовиков“, и бюро рационализации, и всё прочее,— нам не удаётся поднять дело на должную высоту. А отчего? Да оттого, Сэмми, что рабочие не представляют себе ясно положение вещей. Они не могут с уверенностью сказать,

в чём правильный выход. Дело идёт не об их государстве.

— Может быть, вы и правы, товарищ,— сказал Сэмми задумчиво.— Но я объясняю это немножко иначе. Вот мне как думается. Наши люди не любят работать только ради работы, и я их за это не осуждаю. Невозможно из месяца в месяц, из года в год лезть из кожи и не сдать. Это противно человеческой природе. Если бы немец вторгся к нам, как в Россию, мы бы, конечно, жили из себя тянули, как это было после Дюнкерка. Или если бы наши ребята дрались сейчас где-нибудь во Франции, вы бы увидели, как производительность труда на заводе пошла бы скакать вверх!

— Значит, второй фронт,— произнёс Огмор с миной человека, козырнувшего тузом.

— Да, второй фронт поможет,— согласился Сэмми.— И запомните мои слова: он у нас скоро будет, товарищ Огмор. Но не оттого, что мы постоянно требуем его на митингах.

— Что худого в митингах?— спросил Огмор, сам организовавший несколько таких митингов по поводу второго фронта.

— А вот что. Во-первых, митинги не помогают воевать. Во-вторых, терпеть не могу, когда соберётся куча балбесов в штатском, которые сами палец о палец не ударят, а вопят—подавайте им второй фронт или какой-нибудь другой фронт. Поверьте мне, дружище, половина этих балбесов, которые вопили на ваших митингах, закричат караул, как только очутятся где-нибудь среди колючей проволоки под пулемётным огнём фрицев.

— Послушайте, Сэмми,— сказал Огмор вспыхнув.— Если бы я—или кто-нибудь другой—думал, что могу быть полезнее в хаки (я имею в

виду службу в действующей армии, потому что в местной обороне я уже состою), я бы завтра же пошёл и записался.

Сэмми ни на минуту в этом не усомнился. Он легко мог себе представить, что Огмор, чьё мужество было всем известно, сражался бы, как лев.

— Ну, конечно, конечно! — воскликнул он. — Я вовсе не вас имел в виду. Мне это и в голову не приходило. Я только хотел сказать, что...

— Тотальная война, — перебил его чей-то спокойный, уверенный голос, — означает, что каждый человек обязан служить родине на том посту, где он может быть наиболее полезен.

Это сказал мистер Блэндфорд, незаметно подошедший к ним вместе с молодым Энглби.

— Это верно, — протянул, немного смутившись, Сэмми. — Чаю не угодно ли, мистер Блэндфорд?

— Нет, благодарю. И лучше бы вы отвезли вашу тележку обратно в столовую. В это время дня у нас всегда начинают работать как-то вяло, и мы намерены с этим бороться.

— Правильно, сэр, — не совсем искренно согласился Сэмми и поспешно начал собирать кружки. Когда он вернулся к своей тележке, мистера Блэндфорда и мистера Энглби уже не было.

— Не пойму я этого Блэндфорда, — сказал он тихо Огмору. — Он почему-то меня недолюбливает, хотя я ему ничего худого не сделал. Бьюсь об заклад, что, если бы мистер Чевинот ушёл, этот барин в два счёта выставил бы меня с завода.

— Возможно, — ответил Огмор уклончиво. — Он способный инженер, но иной раз мне кажется, что у него фашистские убеждения.

— Я в таких вещах мало разбираюсь, — сказал Сэмми, опять повеселев. — Знаю одно, что подойти к рабочему по-человечески он не умеет. Не

то что мистер Чевиот, — тот душа-человек! А Блэндфорд всегда смотрит словно сквозь тебя, и что он там видит за тобой, — господь его знает!

9

Фрэнсис Блэндфорд привёл молодого Энглби к себе в кабинет, где их уже ожидал чай. И за чаем они продолжали работать. Они вместе проверили сделанные сегодня записи и затем включили их в отчёт бюро рационализации. Составлением отчёта Блэндфорд считал нужным руководить сам, пока недавно ещё назначенный Энглби, так сказать, не станет прочно на ноги. Бюро рационализации производства, подробнейшим образом исследывавшее и проверявшее каждую часть производственного процесса, для того чтобы его ускорить и до минимума сократить число человеко-часов, было любимым детищем Блэндфорда. Блэндфорд создал его, несмотря на шумную, насмешливую оппозицию Элрика и некоторых его приятелей. Он же пригласил Энглби, чтобы укрепить это начинание. В сущности, Энглби ему не особенно нравился, он находил его несколько вульгарным и самонадеянным. Но он сразу заметил, что этот молодой человек — дельный специалист-техник, очень умен и наблюдателен и исключительно трудолюбив.

Впрочем, Энглби пока держал себя прекрасно. Вероятно, кабинет Блэндфорда, типичный кабинет инженера, в то же время каким-то непонятным образом носивший на себе отпечаток личности Блэндфорда, помогал держать его в узде: сейчас в нём не чувствовалось никакой самонадеянности. Он вошёл в роль расторопного, усердного и скромного помощника, настороженно внимающего

ного к малейшему критическому замечанию старшего товарища.

— Ну-с,— промолвил Блэндфорд, делая передышку,— отчёт у нас получается не такой уж плохой. Отдам его переписать на машинке.

Он позвонил, вызывая своего секретаря.

Энглби выжидающе смотрел на дверь. Эта секретарша Блэндфорда, высокая брюнетка, была ослепительная женщина, королева всех секретарш. Звали её Фреда Пиннель, и Энглби от кого-то слышал, что она кузина жены Блэндфорда и поэтому очень важничает. До сих пор она удостаивала Энглби только холодного, рассеянного взгляда. „Наверное,— думал Энглби,— она страстно влюблена в какого-нибудь увешанного медалями великана-командира“.

— Фреда,— сказал Блэндфорд этому обворочительному созданию.— Мне нужны четыре копии отчёта. Можете приготовить их ещё сегодня?

— Могу,— ответила спокойно мисс Пиннель.— Но очень не хотела бы...

— А я бы очень хотел,— резко сказал Блэндфорд.

— Слушаю,— она посмотрела на отчёт.— Вы намерены ждать его?

— Я ещё пробуду здесь некоторое время. Может быть, секретарь мистера Энглби вам поможет?

— Разумеется,— поспешил подать реплику Энглби.— Вы мне разрешите...

Но она остановила на нём всё тот же равнодушный взгляд.

— Нет, спасибо, не трудитесь, мистер Энглби, я сама её попрошу.

И мисс Пиннель удалилась, лишив их зрелища своей красоты.

Вероятно, для того, чтобы дать понять Энглби,

что он ещё не склонен отпустить его, Блэндфорд открыл и протянул ему через стол свой очень красивый серебряный портсигар.

Оба некоторое время курили молча.

— Неудобство иметь эту девушку секретарём,— начал Блэндфорд небрежно,— заключается в том, что она пришла сюда, желая работать на оборону. Я полагал, что будет лучше взять девушку интеллигентную и с приличным образованием вместо кого-нибудь из наших канцелярских работников. Но я ошибся. Я прихожу к заключению, что работники гораздо лучше. Фреда считает, что делает мне одолжение. Это черт знает как раздражает.

— А вы можете обменяться с кем-нибудь секретарями,— посоветовал Энглби, стараясь говорить безразличным тоном.

— Могу. Но Фреда вряд ли согласится. Она пришла сюда, чтобы работать только со мной. Это двоюродная сестра моей жены. Они из очень хорошей норфолькской семьи. Впрочем, вы, должно быть, таким вещам не придаёте значения, а, Энглби?

— Нет... не очень...

— Я так и думал. Кстати, надо поговорить с Стенборо насчёт турелей.— Он снял телефонную трубку и вызвал Стенборо. Затем иронически посмотрел на молодого помощника.

— Честный инженер и демократ, а?

Энглби хотелось понравиться начальнику, но вовсе не любой ценой.

— Да, надеюсь, что так. Мне кажется, одно связано с другим.

Блэндфорд слабо усмехнулся.

— Вы так думаете? А я нет. Вот почему я и считаю, что у нас в последнее время болтают много всякой ерунды. Может быть, это

полезно как пропаганда, не знаю. Но это вздор, Энглби, уверяю вас, это просто сентиментальный вздор.

— Я этого не нахожу, мистер Блэндфорд,— возразил Энглби упрямо.

— В самом деле? Ну, давайте возьмём хотя бы следующие факты: мы проповедуем демократизм, а что у нас фактически происходит? Всё больше и больше людей втягивается в военную промышленность, так? Хорошо. А ведь это массовое производство отнюдь не демократично. Имеется меньшинство, к которому принадлежим и мы с вами, которое работает, так сказать, вне всего механизма,— проектирует, проверяет, улучшает, управляет им, и огромное большинство, которое действует внутри механизма, является просто его частью. В действительности между нами и ими — пропасть более глубокая, чем та, что отделяла когда-то моего отца от ломавших перед ним шапки арендаторов. Эта пропасть не бросается в глаза только потому, что все мы, чтобы „поддержать дух“ в массах, усердно её маскируем, делаем вид, что её не существует. Но погодите. Увидите, что будет.

— „Революция в управлении предприятием“, так, что ли?— спросил Энглби.

Блэндфорд усмехнулся.

— Мне следовало иметь в виду, что вы читали умные книги, Энглби. Но вы, конечно, заметили, что тот, кто написал эту книгу, американец Бэрнем, предусмотрительно исключил Англию из своей схемы. Да, да, знаю: ему следовало бы ознакомиться поближе с нашими военными заводами... Впрочем, его книга, вероятно, написана до того, как мы сделали огромный шаг вперёд. То, что он говорит, достаточно верно в отношении Америки и России, а, может быть, и Герма-

нии. Но Англия — дело другое. У нас всё протекает иначе, ибо у нас классовая система.

— Она уже изживает себя, — нахмурился Энглби.

— Вы наслушались ораторов, дорогой мой. Ничуть она себя не изживает. Она выросла в нас. Никто и не хочет вовсе её уничтожения, кроме разве кучки интеллигентов левого крыла. Но они либо психопаты, либо страдают комплексом социальной неполноценности.

— Пойдите, пойдите, мистер Блэндфорд! — воскликнул Энглби, задетый столько же смыслом всего сказанного, сколько тоном, которым оно было сказано. — Возьмите, к примеру, меня. Я не интеллигент левого толка и не психопат и, по-моему, не страдаю комплексом социальной неполноценности.

— Вы в этом уверены? — спросил Блэндфорд. — Способны вы, например, отнести к Фреде точно так же, как относитесь к любой из наших конторских служащих? Вы в этом крепко уверены? Ручаетесь за себя?

Энглби мысленно с досадой констатировал, что он смущён и не умеет скрыть этого. Сознание, что мисс Пиннель, вероятно, в двух шагах, за дверь, и всякий его мало-мальски энергичный протест может быть ею услышан, мешало ему ответить Блэндфорду.

— Нет, нет, — продолжал Блэндфорд убедительно. — Мы, англичане, дорожим нашей социальной иерархией. Мы не могли бы обойтись без неё.

— Если это так, — возразил Энглби довольно резко, — то откуда же все протесты, которые мы слышим, насмешки над кастовым духом привилегированных школ и всем прочим?

— Очень просто. Даже и наш народ не так глуп, чтобы спокойно смотреть, как представи-

тели высших классов забавляются лошадьми и собаками в такое время, когда спасти нас могут одни лишь машины. Другими словами, протестует он — и протестует справедливо — не столько против феодального строя, сколько против феодальных нравов. Спасти нас от нацистов могут только машины и высоко организованное производство. Только то и другое спасёт нас и от развала государства и вынужденной массовой эмиграции после войны.

— Вот в этом вы правы, — вставил Энглби, довольный, что можно хоть с чем-нибудь согласиться.

— Я знал, что вы со мной согласитесь. Прямо скажу, я бы в вас разочаровался, если бы вы не способны были понять меня. Все протесты и насмешки, о которых вы говорите, направлены не против высшего класса как такового (учтите популярность Уинстона и то, что почти всё наше военное руководство, за которым мы обязаны идти в огонь и в воду, безусловно принадлежит к этому высшему классу). Нет, они направлены против отсталых и бесполезных людей, которые имеются среди правящего класса. Они как бы говорят: „Оставьте свои поместья и идите на заводы и в государственные учреждения. Бросьте родословные своих лошадей и собак и познакомьтесь с чертежами“. У народа для этого достаточно здравого смысла...

— Я понимаю, что вы хотите сказать, — проворчал Энглби, до странности взволнованный и огорчённый.

Тут Блэндфорду позвонили с завода Стенборо, и в течение нескольких минут обсуждался вопрос о турелях. По окончании этого разговора Энглби встал, собираясь уйти, но Блэндфорд удержал его.

— У меня не часто является желание поговорить,— сказал Блэндфорд спокойно,— так что, если вы не возражаете, я хочу высказаться до конца. Вот вы говорили о высмеивании так называемых „традиций закрытых школ“. Опять-таки это только протест против бесполезности известной группы людей, и больше ничего. Я сам воспитанник привилегированной школы. Но никто никогда меня этим не корил, потому что я знаю своё дело, и знаю его гораздо лучше, чем ораторствующие левые. Даже Элрик (впрочем, он не оратор и не левый), и тот ни разу не попрекнул меня этим.

— Вы с ним, кажется, не ладите?— спросил Энглби.

— Не ладим. И, повидимому, одному из нас скоро придётся уйти,— ответил, понизив голос, Блэндфорд.— Полагаю, что не мне. Да, так вот я к чему клоню, Энглби: когда я избрал профессию инженера, это был жестокий удар для моей семьи, так как в нашем роду до меня были только лентяи, бездельничавшие в своих поместьях, дипломаты, военные, политические деятели и несколько крупных чиновников. Но я замечаю, что сейчас их уже не шокирует моя профессия. И скоро они с облегчением будут думать о ней. А почему? Да потому, что они начинают понимать, что умелое руководство промышленностью — новый и бесспорный вид власти. Люди моего класса, Энглби, может быть, и грешат кое в чём — например, их литературные вкусы убийственны! — но они удивительно быстро умеют присоседиться ко всякой новой власти. Вместо того чтобы бороться с нею, как пытались делать в других странах многие представители высших классов, они знакомятся с нею, обхаживают её, роднятся с нею! и в конце концов

забирают её в руки. И запомните, Энглби, что в основе своей наша новая промышленность, как я уже говорил, глубоко недемократична, ибо никакие объединённые производственные комиссии и административные советы не могут перекинуть мост через зияющую пропасть между меньшинством вне машины и бездумной толпой, работающей внутри машины, составляющей как бы часть её механизма. В нашей промышленности уже образовалась своя аристократия. Конечно, ещё не совсем настоящая. Но когда она объединится с более старыми, более резко определившимися группами и в том числе, конечно, с победителями, у нас будет такой правящий класс, какого мы не видывали со времён Ватерлоо. И тогда чернь с радостью признает его настоящим и прекратится эта дурацкая болтовня о демократии.

— Мистер Блэндфорд,— сказал Энглби, краснея и волнуясь,— мой отец — рабочий, заводской староста в Вулверхемптоне. Он жертвовал всем, чтобы я имел возможность получить солидное техническое образование...

— И я с удовольствием замечая, что его жертвы не напрасны!— воскликнул Блэндфорд со своей обычной полуусмешкой.— Однако вы, кажется, решили, что я самый обыкновенный сноб. Вот тут-то вы и ошибаетесь, мой милый. Я чистейший тори, случайно оказавшийся и хорошим инженером. А насчёт будущего не беспокойтесь. Способным и трезво мыслящим людям всегда найдётся место в этой „верхушке“. Таланту дорога попрежнему будет открыта. Только не затемняйте своего зрения сентиментами военного времени. Предоставьте всю эту ерунду пропагандистам, для которых она средство к существованию или военная обязан-

ность... Ну, до свиданья. Я прикажу послать вам один экземпляр отчёта, как только он будет переписан.

Оставшись один, Блэндфорд спросил себя, не слишком ли он сегодня разговорился. Энглби сообразителен, с ним легко работать, но, в сущности, этот человек с акцентом ученика начальной школы, кругозором рядового студента-техника и предрассудками мелкобуржуазной среды ему не компания. Да, скверно, что работа на Элмдаунском заводе разлучила его с людьми его круга. Но лучше сидеть здесь, чем изображать из себя шута в министерстве... Впрочем, в будущем, пожалуй, можно будет занять в министерстве какой-нибудь ответственный пост. Его, Блэндфорда, никогда не пугает ответственность, он презирает людей, которые бегут от неё. И всякая организационная работа, начиная от крупного проектирования и кончая самыми кропотливыми процессами производства, доставляет ему громадное удовольствие.

У Блэндфорда было несколько очень близких ему людей, к которым он питал эгоистическую, но крепкую привязанность. Вообще же он людей не любил. Его идеалом был такой завод, где не было бы массы рабочих, всегда чем-нибудь недовольных, неопрятных, бестолковых, и работало бы только несколько специалистов и технических помощников да длинный ряд безропотных машин. И он с наслаждением занимался проблемой замены рабочих усовершенствованными машинами. Война вынудила заводоуправление принять на работу массу женщин и девушек, но человеческое в них меньше выпирало, они казались Блэндфорду менее требовательными, чем старые квалифицированные рабочие. В его глазах все эти женщины были чем-то

роде деталей тех станков, на которых они работали.

При всей своей глубокой недемократичности Блэндфорд был не из тех, кто легко становится квислингами. Он терпеть не мог нацистов, успев присмотреться к ним ещё до войны. Их вождей он считал шайкой низких жуликов и кровавых шутов, а окружающая их атмосфера театрального пафоса, половой извращённости и запыгающего лживого мистицизма вызывала в нём омерзение. Он не встречал ни единого видного члена нацистской партии, мысли которого были бы не затасканы и чувства не фальшивы. С другой стороны, он был знаком с несколькими прусскими штабными офицерами, к которым с первой встречи почувствовал симпатию, так как они на многое смотрели так же, как и он. Но он осуждал их за то, что они позволяют командовать собой полуграмотным хамам нацистам, которые, опьянев от сознания своего совершенно незаслуженного могущества, неизбежно погубят и самих себя и всех, кто с ними связался. „Но из всего этого ещё не следует,— говорил себе мысленно Блэндфорд,— что я сочувствую массам, с которыми носится демократия, и новоиспечённым политикам, которые заискивают перед ними“.

Покончив с отчётом, Фреда Пиннель снова пришла в кабинет, села и закурила папиросу.

Блэндфорд поднял на неё глаза.— Располагайтесь, как дома, Фреда,— пробурчал он.— Извините, что не могу предложить вам коктейль.

— Не смотрите на меня так уничтожающе, Фрэнсис, на меня эти грозные взгляды не действуют,— сказала она спокойно.— Как поживает Элисон?

Упоминание о его жене, кузине Фреды, ясно указывало на то, что в данную минуту Фре-

да здесь не в качестве секретарши, а на правах родственницы. Вынужденный таким образом уделить ей больше внимания, Блэндфорд пожал плечам и отложил в сторону работу.

— Спасибо, она молодцом. Не так занята, как ей это кажется, но, пожалуй, больше, чем вы думаете. Но неужели вы пришли сюда только затем, чтобы справиться о здоровье Элисон?

— Пришла я, собственно говоря, не за этим. Но кстати решила справиться и о ней. Потом мне ещё хотелось знать, можно ли приехать к вам в субботу, с тем, чтобы заночевать?

— Я спрошу сегодня у Элисон,— сказал Блэндфорд, уверенный, что жена будет рада случаю поболтать с Фредой.— А что, с жильём у вас всё так же плохо?

— Гнусно. Теперь в соседней комнате поселился какой-то толстяк, который будет работать на бирже труда. Он жутко храпит во сне, а сквозь стену слышно всё так, как будто она картонная... Можете себе представить, какие приятные ночи я провожу... Так смотрите же, не забудьте спросить Элисон... Я бы ей позволила, да сейчас это так сложно...

— Ладно. Это всё?— Вопрос был задан весьма выразительным тоном. Блэндфорд явно хотел подчеркнуть, что у него есть дела поважнее, чем слушать жалобы Фреды.

Она посмотрела на него в упор своими умными глазами.

— Нет, не всё, Фрэнсис. Не спешите так, черт возьми! Мой рабочий день окончен, да и ваш вы могли бы тоже считать оконченным, если бы не воображали себя чем-то вроде верховного жреца авиационной промышленности. Дело вот в чём: мне надоела бессмысленная секретарская работа.

Это заявление нимало не тронуло Блэндфорда. Взять Фреду к себе в секретари уговорила его жена, ему самому эта идея вовсе не улыбалась.

— Вот как! Что же вы намерены делать? Вступить в какой-нибудь женский вспомогательный отряд?

— О, господи, конечно, нет! — воскликнула Фреда. — Вы можете себе вообразить меня стоящей навывтяжку перед какой-нибудь из этих противных мужеподобных старух, изображающих командиров? Ну, нет, Френсис, я намерена остаться здесь. Ага, я так и думала, что вы всполошитесь!

Фреда была очень красивая девушка, это признавали все, но сейчас Блэндфорд смотрел на неё с заметным неодобрением. Он подумал, что ему никогда не нравилась семья Пиннель, члены которой все находили какое-то извращённое удовольствие в том, чтобы заставлять других людей испытывать то же ощущение неустойчивости и неустроенности, какое постоянно испытывали они сами. Весь их род как будто попал на землю по ошибке с другой планеты и никак не мог здесь обосноваться и не прощал этого людям, чувствовавшим себя на земле отлично.

— Хорошо, допустим, что я „всполошился“. Чем же вы хотите заняться? Перейти здесь на другую работу?

— Вот именно. Надеть халат и стать у станка, или у машины, или как это у вас там называется... Насколько я могу судить — а я всё разузнала подробнейшим образом — работать придётся не больше, чем я работала здесь у вас, притом работа в цеху интереснее, а заработок почти вдвое больше. Мне до смерти надоело с утра до вечера

барабанить для вас на машинке, Фрэнсис. И вы даже не цените моей верной службы.

— Пожалуй, что и так,— отозвался он сухо.— Но не могу же я остаться без секретаря...

— Это легко уладить. В общей канцелярии есть одна девушка, Уитли (я встречаюсь с нею иногда в столовой), которая умирает от желания быть вашим секретарём. Она говорит, что вы такой интеллигентный и такой воспитанный. Эта белая мышка очень мила, она будет работать для вас, сколько хотите, и обожать вас. Чего же вам больше? Это можно устроить в два счёта.

— Хорошо, подумаю. Но не забывайте: вам придётся сперва пробыть недели две-три в учебном цеху.

— А нельзя ли без этого?

— Нет, нельзя, моя милая. Вы должны наравне со всеми новичками пройти подготовку.

— Ну, хорошо. Но с условием, что мне сократят срок.

— Это будет зависеть от вас.— Блэндфорд записал себе что-то в блокнот.— И не приходите ко мне плакаться, Фреда, если вам не понравятся люди, с которыми вам придётся общаться там внизу.

— Почему же не понравятся? Вряд ли они хуже тех, кто работает здесь наверху, в конторе. Некоторых я знаю, и они гораздо приятнее ваших служащих.

— Вы ещё не пробовали работать с ними рядом одиннадцать часов в день,— возразил Блэндфорд.— Среди них есть порядочные грубияны. А большинство — в особенности женщины — всегда производят на меня впечатление полоумных. Но, может быть, это как раз то, что вам нужно.

— Мне нужно уйти подальше от честной компании здесь наверху!— воскликнула Фреда, глядя на него с ненавистью.— От этих ограниченных и самодовольных обывателей, прилизанных, в высшей степени респектабельных. А если рабочие вам кажутся полоумными, так это всё — от вашего противного холодного самомнения, Фрэнсис Блэндфорд. Я уверена, что все они в своей сфере так же хороши, как вы в своей, а, может быть, и лучше.

— Нет,— возразил Блэндфорд, сдерживаясь, потому что ему хотелось высказаться.— Вы сами не знаете, что говорите. Меня ничуть не трогает ваша антипатия ко мне. Это оттого, что вы работали под моим началом. Да, это у вас такая семейная черта—я давно её заметил—озлобляться против всех, с кем вы приходите в тесное соприкосновение. И не воображайте, что публика там, в цехах, вам больше понравится. Нам достаточно вздора твердят и радио и политические деятели о „наших замечательных рабочих“. Я вовсе не намерен выслушивать подобный вздор ещё и у себя в кабинете. Большинство этих людей по своему умственному развитию не выше двенадцатилетнего ребёнка. Всем им платят вдвое больше, чем они того стоят. Среди них очень мало таких, которые хоть сколько-нибудь интересуются войной. С ними приходится нянчиться, как с малыми детьми. Они не способны мыслить. Любой южноевропейский крестьянин или хотя бы негр из Восточной Африки постиг технику жизни лучше, чем наш народ. Он утратил средневековые добродетели и не приобрёл ещё современных. Эти люди ничего не знают и не хотят знать. Вы сказали, что они хороши в своей сфере, как я в своей. Неправда, у них и „сферы“—то своей нет. Они слепы и идут туда, куда их гонят.

— Господи помилуй! — ахнула Фреда, пристально глядя на него. — Знаете что, Фрэнсис: за вами не мешало бы последить. Слава богу, что это не моя обязанность.

— Да, слава богу. Ну-с, о вашем перемещении поговорим окончательно завтра утром. А сейчас я занят, Фреда. До свиданья.

10

Кончалась дневная смена. Темп работы, несколько замедлявшийся обычно перед чаепитием и после него, вдруг опять оживился, как будто все разом делали последнее отчаянное усилие, от которого темнело в глазах. Как будто и люди и машины последним решительным натиском хотели одержать победу, выиграть сегодняшнее сражение.

Обычные звуки стали как-то резче и громче, в них чувствовалась истерическая нота. Шум строгальных, фрезерных, сверлильных станков, грохот молотов — всё сливалось в оглушающую симфонию. Визг металла звучал как последний протест, и белые искры сыпались бешеным дождем. Ряд освещенных пещер, где колебался мерцающий зеленоватый туман, казался бесконечным, словно здесь внезапно выросли новые громадные цеха. Падавший сверху бесплощадный свет превращал тысячи лиц внизу в какие-то карикатуры на нормальных людей, пришедших сюда сегодня утром. Глубоко сидящие глаза казались просто пугающими впадинами. Небольшие носы превращались в пуговку, а большие — в жуткие клювы, на которых туго натянутая кожа грозила каждую минуту лопнуть; запавшие старческие рты исчезали совершенно, а сочные и молодые, на

которых остатки малиновой губной помады принимали тёмнопурпуровый оттенок, выпячивались и раскрывались с какой-то жадной чувственностью. Лица напоминали лица трупов или гальванизированных кукол. Казалось, накопившаяся здесь энергия сейчас вырвалась на волю и, если не прозвучит сигнальный звонок, металл вот-вот врежется в металл, не считаясь ни с каким манометром или микрометром, и машины целиком исчезнут в пылающих фонтанах искр, и даже ртутные лампы начнут извергать зелёный жидкий огонь, а дрожащий воздух — с треском взрываться.

Мистер Чевитот опять стоял на галлерее и задумчиво обозревал развернувшуюся перед ним широкую картину, как режиссёр смотрит генеральную репетицию своего величайшего спектакля. И у него тоже позади был долгий рабочий день, слегка похожий на одиннадцатичасовую скачку с препятствиями. Его тревожило то, что производительность труда у них на заводе опять понизилась. На то были веские причины. Чевитот мысленно перебрал их все, но ему было ясно, что не в них одних дело. В конечном счёте, всё зависит от настроения рабочих. Конечно, их можно немного подтянуть. Поощрением сделаешь больше. Но в конце концов их личные усилия, в сумме своей дававшие заводу продукцию, зависят от того, какие мысли и чувства вызывает в них война. Если они относятся к ней безразлично, если она им надоела, если они в унынии (а это замечается сейчас у очень многих), тогда они не в состоянии делать чудеса. Это вполне естественно. Мистер Чевитот, как человек справедливый и не лишённый мудрости, не винил их за это даже мысленно. Он только говорил себе, что их так или иначе необходимо „подвинтить“.

Человек в небрежно напяленном пальто и с шляпой на затылке,—из чего явствовало, что ему всё равно, оставаться здесь или уходить,—появился на галлерее, закурил папиросу и стал угрюмо смотреть вниз, в кишевший людьми грохочущий зал.

Чевиот обернулся.

— Что, Боб? Захотелось бросить последний взгляд, а?

Элрик не поднял головы.

— А знаете, когда смотришь на них вот сейчас, можно подумать, что они работают до седьмого пота, себя не жалея. Правда, мистер Чевиот?

Мистер Чевиот утвердительно кивнул головой.

— Я всё думаю о наших показателях. Они никуда не годятся, не так ли, Боб? Никуда не годятся!

— О, господи, мне этого говорить не надо!—воскликнул Элрик с горечью.

— Знаю, что не надо,—сказал мистер Чевиот мягко, повернувшись теперь совсем к своему главному инженеру и внимательно глядя на него. В лице и манерах Элрика сквозила какая-то бесшабашность и спосбность каждую минуту взорваться.

— Не огорчайтесь так, Боб. Надо легче относиться ко всему,—сказал мистер Чевиот, дружески тронув его за плечо.

— Вот в том-то и беда, что они чорт знает как легко ко всему относятся!—воскликнул Элрик, затягиваясь папиросой с такой элбно-презрительной миной, как будто это она вызывала его неодобрение.

— Зато вы этим никогда не грешили, я знаю,—ни на работе, ни вне завода.—Мистер Чевиот сделал паузу, потом круто опустил свои

устрашающие брови.— Что вы делаете сегодня вечером, Боб?

— Что делаю? Я?— Элрик словно отшвырнул от себя этот вопрос.— Домой пойду, я полагаю. В трактир не смоюсь под каким-нибудь предлогом. Ведь вы этого опасаетесь?..

— Нет, нет, не в том дело. Мне просто пришло в голову... Если вас дома не ждут...

— Обо мне там вспоминают только, когда увидят,— бросил Элрик резко.— И вообще мне на это решительно наплевать.

— В таком случае приходите сегодня к нам обедать, Боб,— сказал мистер Чевииот.— Я могу позвонить моей жене, и она, конечно, будет очень рада вас видеть. А у нас с вами найдётся о чём потолковать, не так ли, Боб?

Хмурое, несколько опухшее лицо Элрика вдруг сразу утратило следы лет, с него словно сорвали маску, и оно выражало мальчишескую застенчивость.

— Большое спасибо, мистер Чевииот. Если я не помешаю... Как раз сегодня часок в вашем обществе...— Голос его дрогнул и оборвался.

Резкий гудок прозвучал по всему громадному залу, и вмиг грохот и визг машин перешёл в приглушённое жужжание, сквозь которое скоро стали слышны весёлые голоса. Тысячи фигурок в белых, зелёных и лиловых халатах хлынули в оба конца цеха. Угасали один за другим ряды ламп, и там и сям уже вторгались полумрак и тишина. Отошла ещё одна дневная смена. И два человека на балконе, усталые, удручённые, но согретые теплом взаимного понимания и товарищеского чувства, направились к выходу.

Перси Проскот пришёл к себе в кабинет несколько позже обычного и не в лучшем настроении, чем вчера, когда он просил мисс Шиптон поговорить с Нелли Диттон. Он с глубоким отвращением посмотрел на кучу бумаг у себя на письменном столе. Вступая в свою нынешнюю должность, Проскот рисовал себе, как будет устраивать спортивные игры и развлечения, играть роль распорядителя на заводских танцевальных вечерах, вообще делать для всех жизнь праздничной. Он ведь это умеет. Всегда был мастер на такие дела. А оказалось, что почти всё время и энергия уходят на то, чтобы разбирать жалобы или заниматься бумагомаранием, как простой конторщик. Уж один этот злосчастный подоходный налог, которым чуть ли не все рабочие яростно возмущаются, не желая слушать никаких доводов, отнимал у него добрую половину дня. Да, нечего сказать, развлечений хоть отбавляй!

Его секретарша сегодня отсутствовала по случаю сильного насморка. Он сам настоял на том, чтобы она ушла домой, потому что один вид её воспалённого лица и покрасневшего носа вызывал в нём такое ощущение, словно и у него самого с минуты на минуту начнётся насморк. Но, разумеется, работать без секретаря было очень неудобно.

Из общей канцелярии позвонили по телефону, что Ассоциация культурного обслуживания напоминает о концерте, который она сегодня устраивает в заводской столовой. — Да, да, разумеется, — сказал Проскот в трубку, — я помню. А они не говорили, кого из артистов пришлют на этот раз?

Общая канцелярия ответила, что АКО называло имена артистов, но имена эти никому в конторе неизвестны, что их, наверное, и запоминать не стоит, и концерт, без сомнения, будет убийственный.

Услышав о предстоящем сегодня концерте, Проскот сначала повеселел, так как обожал всякие развлечения. Он уже предвкушал удовольствие выступить у микрофона с короткой речью, затем в качестве хозяина угощать двух-трёх известных артистов, среди которых, может быть, будет какое-нибудь обворожительное создание. Но когда он услышал, что не приедет никто из популярных артистов, а только какие-то старые, давно сошедшие со сцены, весёлость его немедленно улетучилась. Он отметил у себя в блокноте, что надо сходить попозже в столовую и подготовить к спектаклю заводской оркестр, ту самую Элмдаунскую шестёрку, в которой Джек Браймбер играл на саксофоне. Затем неохотно стал рыться в бумагах на столе.

Через полчаса в кабинет заглянул Элрик.

— Доброе утро, Перси! — крикнул он с усмешкой. — Подберите-ка вы свою нижнюю губу, не то она у вас сейчас шлёпнется об стол. И дайте папироску.

Довольный тем, что его оторвали от скучного занятия, Проскот протянул свой портсигар лишь настолько, что Элрику, чтобы взять его, пришлось войти в комнату.

— Есть что-нибудь новенькое, Боб?

— Есть. Чевиот сейчас звонил, что должен ехать в Лондон, а оттуда к Стенборо, значит, вернётся не раньше четверга. В четверг к нам придут представители министерства, так что к этому времени ему вернуться необходимо.

Элрик зажѐг папиросу и продолжал, всё с той же улыбкой глядя на собеседника:

— Это значит, что несколько дней всеми нами будет командовать Блэндфорд.

— Что ж, я могу это пережить,— заметил Проскот.— Да и вы тоже. Ведь вам не впервые.

— Да. Но с каждым разом мне это всё труднее, Перси. Он меня терпеть не может и сейчас уже даже не скрывает этого. По-моему, он решил выжить меня с завода, и теперь ему представляется удобный случай, потому что как раз в эти дни сюда нагрянут люди из министерства.

— Что это вы вбили себе в голову, Боб! воскликнул Проскот. У него часто бывали перепалки с Элриком, но это не мешало ему очень хорошо относиться к нему уже хотя бы оттого, что Элрик был свой брат — гуляка. — Чевииот вас ни за что не отпустит. Я сам слышал, как он это говорил. Что может сделать Блэндфорд?

— Очень многое. Правда, два-три дня — срок небольшой, но... — Лицо Элрика стало серьёзно. Он заговорил тише и выразительнее. — Производительность труда падает, Перси. Это не наша вина. Это всё из-за унылых вестей с фронта.

— И из-за подоходного налога, — подхватил Проскот. — Сколько у меня из-за него хлопот и неприятностей, если бы вы знали!

— Знаю. Но главное, конечно, вести с фронта. Людям это надоело. Им кажется, что ничего не делается... Вы сами знаете... Но представители министерства, — да, забыл вам сказать, что один из них — бездельник, которого Чевииот уволил три года тому назад, — не захотят считаться с такими доводами. Всё свалят на нас. Вернее сказать — на меня, если я не буду на-чеку. Легко себе представить, как будет говорить Блэндфорд с чиновниками, которых командируют сюда. Будьте уве-

рены, Перси, они найдут общий язык. И, как на- зло, я сейчас повздорил с некоторыми старо- стами. Пожалуй, в этом я сам виноват. Вчера был не в своей тарелке и обошёлся с ними не- много грубо. Знаете, иной раз уж от одного вида их постных и серьёзных физиономий у меня печёнка пухнет. Как начнут бубнить,—Клитон, например, так...

— Знаю. Ну, а мне приходится свою печёнку унимать и со всеми ладить,—сказал Проскот.—Господи, если бы мне кто-нибудь сказал два-три года тому назад, когда я был главным агентом по продаже всей продукции Модформов, что скоро мне придётся умасливать заводских старост да учить уму-разуму ребятишек, теря- ющих штанишки, так я бы...

— Да, да, Перси, вы бы тогда хохотали до колик. Но вы теперь только начинаете узна- вать жизнь. Вы воображали, что так и будете себе до конца дней только ставить выпивку поку- пателям, не жалея хозяйских денег, да расска- зывать свеженькие похабные анекдоты. Нет, это было слишком прекрасно, а всё прекрасное не- долговечно. Кстати,—добавил он вдруг преувел- личенно-небрежным тоном,—у Фреда Сколби ра- ботает новенькая, Джойс Дирхерст. Вам изве- стны о ней какие-нибудь подробности?

— Эге, Боб! — погрозил ему пальцем Проскот.

У Элрика потемнело лицо, глаза сверкнули гневом.

— Не будьте идиотом, Перси. Я не какой-ни- будь бабник. Я вам задал деловой вопрос.

— Ну, ну, извините,—сказал Проскот, обес- покоенный такой внезапной переменой в собесед- нике и смутно пристыжённый.

— Как её зовут, вы сказали? Джойс...

В эту минуту вошла мисс Шиптон и, увидев

Элрика, хотела ретироваться, но тот удержал её, сказав, что сейчас уходит. Мисс Шиптон в это утро была на себя не похожа. Лицо у неё вытянулось, и она явно нервничала, хотя это можно было отчасти объяснить присутствием Элрика. Проскот знал, что она побаивается Элрика и считает его неотёсанным грубияном.

— Вот мистер Элрик справляется насчёт одной нашей новой работницы по имени Джойс... Как ее?

— Дирхерст, — подсказал Элрик уже совершенно спокойно.

— А, знаю, — отозвалась мисс Шиптон. — Я разговаривала с нею, ещё когда она была в учебном цеху. Разрешите, я посмотрю у себя в записях... — И она торопливо вышла.

— У нас сегодня концерт бригады АКО, — промолвил Проскот, чтобы нарушить молчание, которое почему-то обоим казалось неловким.

— Если он будет вроде последнего, так спасибо, лучше не надо, — отозвался Элрик. — В прежние времена, когда я имел возможность ходить в театр, я считал, что на меня легко угодить, — почти всё нравилось и веселило. А теперь то ли я к старости становлюсь привередлив, то ли эти концерты, что они для нас устраивают, просто дрянь... Впрочем, если рабочих они развлекают, так это всё, что нам нужно. Оповестите же поскорее всех через громкоговорители, Перси, что сегодня концерт, и, может быть, работа у них пойдёт веселее.

Он обернулся к мисс Шиптон, которая вошла со своей тетрадкой в руках.

— Должен вам сказать, мисс Шиптон, что вы сегодня очень плохо выглядите.

— Нет, я совершенно здорова, благодарю вас, мистер Элрик, — ответила она сухо.

— Рад это слышать.—Голос Элрика звучал вполне искренно.—Значит, дело во мне. Я всё вижу в таком мрачном свете. Ну, что же у вас записано?

— Джойс Дирхерст, — объявила мисс Шиптон официальным тоном, — поступила к нам только несколько недель тому назад. Она из Лондона. Отец её служил в Сити и внезапно умер... Это девушка довольно интеллигентная... Окончила среднюю школу... работала некоторое время в Вест-Энде в ателье, которое разбомбили. Вы, вероятно, хотите направить её на специальное обучение, мистер Элрик?

— Нет, во всяком случае, не сейчас, — возразил Элрик несколько угрюмо.—Что ещё вы знаете о ней?

— Я спросила только потому, — чопорно объяснила мисс Шиптон, — что, хотя благодаря образованию и среде, в которой она выросла, эта девушка принадлежит к не совсем заурядному типу, но у меня здесь записано, что она, повидимому, своей работой мало интересуется. Она, вероятно, пошла на завод только для того, чтобы избежать национальной повинности. По правде говоря, она меня определённо разочаровала. Очень мила и говорит приятно, но живости и ума в ней не заметно.

— Так. Благодарю вас, мисс Шиптон, — сказал Элрик, и голос его звучал сердито и как-то подавленно. Собираясь уходить, он пытливо посмотрел на Проскота и сказал тихо:

— Смотрите же, Перси, не забывайте того, что я вам говорил. Я знаю, что меня ожидают неприятности. Так, если увидите, что они начинаются за моей спиной, предупредите меня. Хорошо?

Когда Элрик вышел, Проскот лукаво посмотрел на мисс Шиптон.

— А что, эта Дирхерст—хорошенькая девочка?

— О, да, безусловно, хотя не из тех, которые бросаются в глаза и за которыми здесь бегают все мужчины. Её красота гораздо скромнее и тоньше. Она совсем не во вкусе мистера Элрика, если вы это предполагаете. — Мисс Шиптон с улыбкой посмотрела на Проскота.

Проскот в ответ едва заметно подмигнул ей.

— Я ничего не предполагаю. А если и предполагал, то, значит, ошибся, так? — Он весело захохотал, но тут ему снова бросился в глаза странный вид мисс Шиптон, и он с некоторым беспокойством взгляделся в неё.

— Вы действительно здоровы, мисс Шиптон? Вид у вас сегодня не особенно хороший.

Она прикусила губу и быстро замигала глазами.

— Я плохо спала ночь, вот и всё. Я получила... тревожную весть... Но это ничего. У вас здесь работает человек по фамилии Болтон,— продолжала она поспешно. — Он, должно быть, в родстве с моими хорошими знакомыми, а между тем я его не знаю. Можно посмотреть его карточку в вашей картотеке?

— Разумеется. У нас есть один новый рабочий... Да, кажется, его фамилия именно Болтон... у которого жена и дети погибли во время воздушного налёта где-то на севере. Я потому и запомнил его фамилию. Бедняга! Это тот?

— Да, тот самый, — ответила она, стоя к нему спиной и роясь в картотеке.

Он с любопытством посмотрел на неё, так как голос её звучал как-то странно и глухо, словно что-то сдавило ей горло, а плечи — он это видел ясно — вздрагивали.

— Мисс Шиптон...

Она не обернулась, только головой мотнула. Но у неё вырвалось что-то вроде рыдания.

Проскот подошёл ближе.— Что с вами? Случилось какое-нибудь несчастье?

Мисс Шиптон, наконец, обернулась. Очки её запотели, щёки были мокры: она горько плакала.

— Ах, мистер Проскот, извините меня... Это так глупо... Я...

Проскот, как большинство людей его сорта, непосредственно столкнувшись с человеческим горем, проявлял искреннюю доброту и участие, но участие это далеко не шло.

— Ну, ну, полноте,— приговаривал он, неуклюже похлопывая плачущую по плечу.— Расскажите мне своё горе. Теперь у каждого какое-нибудь горе. Ну, мисс Шиптон, что же вас расстроило?

— Я сама не знаю... всё...— пробормотала она, прижимая ладони к щекам.— Я сейчас перестану, извините, мистер Проскот... Мне так совестно...

Было явно, что её надо оставить в покое, пока она не оправится. Проскот медленно отошёл к своему столу и несколько минут делал вид, что разбирает бумаги.

— Теперь всё в порядке, спасибо,— пролепетала она, пытаясь улыбнуться, когда он посмотрел на неё.— Это совсем на меня не похоже. Должно быть, бессонная ночь сказалась... Я сегодня очень утомлена, и знаете, как это бывает, мистер Проскот, вдруг на тебя что-то находит... Как ни старайся, с этим не можешь справиться. Всё кажется таким ужасным... И когда вы рассказали ещё про этого Болтона...

— Да, да, понятно,— сказал Проскот успокаивающе.— А нашли вы его карточку, кстати?

И вот что, мисс Шиптон, если вы хотите уйти домой...

— Нет, нет, мистер Проскот, и не подумаю!— возразила она твёрдо.— Спасибо, вы так добры...— Она заставила себя улыбнуться и вышла из комнаты.

„Если плакать всякий раз, как услышишь о человеке, у которого во время бомбёжки погибла семья,— рассуждал про себя Проскот,— так носовой платок никогда не высохнет...“ Нет, у мисс Шиптон, несомненно, что-то случилось, оттого она так убита. Но что? Ему было трудно угадать, потому что он до сих пор никогда не думал о ней и ничего о ней не знал. Чего только не случается у людей, особенно в такое время!.. Все они — в том числе и он, Проскот,— ничем не защищены от беды, каждую минуту что-нибудь может свалиться на голову. Разве и у него родной сын не пропадает на Среднем Востоке?

Где-то в мозгу Проскота опустилась сплошная чёрная завеса, сама по себе безрадостная, но по крайней мере отгораживавшая его от всяких грозных и жутких видений. И сейчас он уже искал немедленного утешения. Артисты АКО... Их следовало бы угостить спиртным... У него нет ничего, а Чевиот в отъезде. Ладно, надо будет сообразить... А сейчас пора идти объявлять через громкоговорители о предстоящем концерте.

12

— Итак, не забудьте: сегодня в столовой специальный концерт бригады артистов АКО.

Голос Проскота едва можно было узнать. Громкоговоритель — плохой способ обращения к

массам. Когда говорили некоторые девушки из конторы завода, стоявшие слишком близко к микрофону и слишком громко кричавшие, ни одного слова нельзя было разобрать. Но Проскот очень старался говорить внятно. — Да и вообще, — подумал Огмор, — Проскот отлично умеет подойти к массе, знает, что сказать перед каждым очередным развлечением. Впрочем, он, Берт Огмор, делал бы это не хуже, будь он на месте Проскота.

Когда Проскот кончил говорить, Огмор медленно пошёл по проходу между машинами, перехватывая взгляды тех, кто случайно поднимал глаза от работы, и широко улыбаясь им. Этим он хотел показать, что слышал сообщение Проскота и что предстоит нечто заманчивое. Он, Огмор, конечно, человек серьёзный, всеми на заводе уважаемый, но он тоже не против развлечений, в особенности когда они подносятся рабочим в такой форме. Если вникнуть, в этих выступлениях в столовой есть что-то заимствованное у России. Это первый шаг вперёд.

Вопреки своей несколько мрачной наружности, Берт Огмор отнюдь не был яростным фанатиком. Это измождённое жёлтое лицо, густые чёрные брови и усы вводили в заблуждение. Берт не питал зависти к богатым и власть имущим, не страдал и страстью к разрушению. Его грёзы о Советской Британии, смутные, но радужные, возникали в большой степени под влиянием русских фильмов и превосходных фотоснимков из СССР. В этих мечтах фигурировали толпы здоровых, весёлых рабочих в трусиках и рубашках с открытым воротом. Смутно рисовались Берту народные театры, высились белые стены таинственных и манящих новых городов, за-

литых солнцем. Огмор и жена его, Роза, к которой он был очень привязан, проводили сотни счастливых часов, рисуя себе жизнь в будущей Советской Англии. Иногда им казалось, что она близёхонько, а иногда они вынуждены бывали признать, что это счастье ещё довольно далеко впереди и, чтобы его достигнуть, нужно будет сначала вести большую политическую работу среди масс. И в такие часы Берта и Розу тревожило не столько наличие и сопротивление класса хозяев, сколько непонятная пассивность и слепота рабочего люда. Столь многие из тех, с кем Роза беседовала, стоя в очередях, а Берт здесь, на заводе, желали для себя только какой-нибудь жалкой безделицы. Оказывалось, что одна мечтала только о том, чтобы вернуться опять в какую-нибудь идиотскую лавку, другая — отдохнуть десять дней на берегу моря, третий — чтобы можно было снова раз в неделю ходить смотреть состязания борзых, и всё в таком роде. А к идее создания великой рабочей республики здесь, в Англии, они относились в лучшем случае как-то вяло. Партии придётся ещё воспитывать массы.

Пока же все должны готовить самолёты и танки, чтобы разгромить гитлеровскую Германию. Эта высокая задача, которой он посвятил себя, держала Берта Огмора в постоянном напряжении, и он всеми силами старался, чтобы те, кто работал под его руководством, так же лезли из кожи, как он. Поэтому заводское начальство одобряло Берта Огмора.

У миссис Флинн, той обидчивой маленькой брюнетки, которой изменял муж, опять что-то не ладилось с машиной. Берт ещё издали увидел, что она сию минуту что-нибудь сломает.

— Я делала всё как следует, — запротестовала

она, когда он указал ей, что машина работает неправильно.— Вы не можете сказать, что я плохо за нею смотрела, мистер Огмор.

— Вы, может быть, слишком мало ей доверяли, миссис Флинн,— сказал Берт с улыбкой.— Некоторые машины имеют свои странности. За ними надо, конечно, следить, но надо им немножко и доверять. Точно так же, как мужьям.

Сказав это, он тут же сообразил, что сделал промах.

Женщина сразу вспыхнула.

— При чём тут мужья?!— закричала она.— Какое право вы имеете говорить мне подобные вещи?

— Ну, ну, успокойтесь, миссис Флинн,— всё так же широко улыбаясь, сказал Берт.— Я во все не хотел вас задеть. Если у вас какие-то нелады с мужем,— извините, я не знал, для меня это новость. (Это, разумеется, не было для него новостью, как и для всех окружающих.) Ваша семейная жизнь меня ничуть не касается. Мне от вас одно нужно: чтобы вы хорошо обращались с этой машиной.

— О, господи, твоя воля!— воскликнула миссис Флинн в бурном порыве возмущения.— Ведь это только машина, верно? А вы толкуете о ней так, что всякий может подумать, будто это живой человек. „Хорошо обращаться“, скажите, пожалуйста! Что же я должна делать? Гладить её, целовать? Твердить ей, что она чудо?

Влюблённый в своё дело механик готов был застонать от бессильного отчаяния. Ну как учить людей, у которых нет этой настоящей любви к делу, у которых оно в руках не спорится?

— Понимаете, тут надо... э... э... и давать, и брать,— объяснил он неубедительно.

Колючие глазки миссис Флинн смотрели на него с острым женским презрением.

— Давать и брать! Ладно, в таком случае возьмите от меня эту работу и дайте другую. Если от меня требуется, чтобы я няньчилась с машиной...

Когда он, наконец, утихомирил её, подошли два юнца, Уолли и Лесли, с жалобой, что их работу задерживает отсутствие материала. Эти два парня были переведены к нему с аттестацией, что от них больше хлопот, чем пользы, ибо научились они очень немногому, а озорничали изрядно, понимая, что уволить их нелегко. Однако Огмор умел с ними обращаться, и теперь они работали очень хорошо. Его метод заключался в том, что он говорил с ними строго и резко, но не как высший с низшими, избегая покровительственного тона. Иногда он рассказывал им о России.

— Ладно, ребята,— сказал он в ответ на их жалобы.— Пойдёмте, вместе посмотрим, что можно сделать.

На другом конце цеха произошла неприятная задержка. Пальмер, которому было поручено здесь наблюдение за работой, рвал и метал. Уолли и Лесли глазели на него в упоении, как будто это был специально для них поставленный увеселительный номер.

— Ему поручено одно из самых трудных дел в цеху,— объяснил им Огмор, чтобы они перестали хмыляться.— Все к нему пристают, а он ни в чём не виноват. Одна задержка вызывает другую. Он ничего не может сделать.

— Эй, Джордж, послушай! — крикнул он бесновавшемуся Пальмеру.

— Ну вот, теперь ты начнёшь, Берт! — отозвался Пальмер.

— Вовсе нет! Мне нужно только устроить этих парней,— поспешил сказать Огмор и принялся объяснять ему, какого материала им нехватает.

— Сегодня уж такой проклятый день, когда каждая отливка или выходит не туда, куда надо, или получается чорт знает какая!— закричал Пальмер, яростно потирая свой жирный затылок.— Не будь мы всё время на-чеку, к вечеру бы оказалось, что мы готовили не самолёты, а швейные машины или пианолы. Этот новый шунтовой аппарат только всё дело портит!

Огмор оставил Уолли и Лесли здесь, так как Пальмер явно начинал приходить в равновесие. На обратном пути его остановил Рэнкин, работавший на сборке. Рэнкин только несколько месяцев тому назад приехал из Глазго. Голова у него всегда была наклонена набок, правое плечо много выше левого, и вообще он и внутренне был какой-то вывихнутый, озлобленный человек. Но Огмор даже себе не хотел признаваться в том, что не любит Рэнкина.

— Собрание будет завтра вечером,— сказал ему Рэнкин.— Прайс только-что велел передать это всем.

— Отлично, я приду. Есть что-нибудь экстренное на повестке? Прайс не говорил?

— Нет. Но у меня есть два-три вопроса. Сборка идёт всё хуже. Сегодня с утра по меньшей мере у пятидесяти человек нет работы. А к чаю ещё сто будут сидеть сложа руки.

— Вот до чего у нас дошло!

— Да, вот до чего дошло,— повторил Рэнкин с каким-то злобным удовольствием.— И ещё хуже будет! Чего же вы хотите, Огмор, раз руководство никчёмное? Говорят, Блэндфорд с Элриком почти не здороваются. Можно поручиться, что вместо того, чтобы как следует

вести работу, они заняты только тем, что сводят между собой счёты. Я сейчас говорил Прайсу, что один из них двоих должен уйти, и по-моему — Элрик. Его очень многие старосты не любят.

— А чем он им не угодил? — Огмора расстроила скорее нота злорадства в тоне Рэнкина, чем то, что он сказал, так как Рэнкин любил подхватывать и передавать всякие разговоры в цеху. — Элрик — хороший парень. Любит пошуметь, но зла никому не делает.

— Да? Вы так думаете? А я вам скажу, что он, во-первых, чересчур зарвался. Один из наших ребят видел его в „Каунти“ как-то вечером, он вливал в себя двойные порции виски одну за другой и, конечно, болтал за шестерых. Какой он руководитель, когда у него не работа на уме! Спросите у старост, услышите. Я не люблю этого важного барина, Блэндфорда, он без пяти минут фашист, можете в этом не сомневаться. Но Блэндфорд знает своё дело и справляется с ним отлично, а нам теперь только это и нужно. Ну, значит, до завтра, товарищ.

Огмору всё это очень не понравилось. Рэнкин, вероятно, по своей неприятной привычке, сильно раздул какие-то подхваченные им слухи, но нельзя допускать, чтобы среди рабочих ходили такие разговоры. Все должны работать единым, дружным и хорошо обученным коллективом, работать с подъёмом, как работают в России. А здесь, в Англии, всё так усложнено. Слишком много различных и враждебных друг другу групп. Ни Блэндфорд, ни Элрик не на высоте. Но, разумеется, он, Огмор, предпочитает Элрика, хотя Элрик не всегда разделяет точку зрения рабочих, слишком много кричит на собраниях производственной комиссии и де-

даёт громогласно глупейшие замечания насчёт коммунизма. В Блэндфорде чувствовался какой-то холод души, что-то глубоко чуждое и враждебное, и Огмору всегда в его обществе было не по себе.

Однако, преувеличивает Рэнкин или нет, факт остаётся фактом: производительность труда падает, определённо падает, и это как раз в такой момент, когда Англия отказалась открыть второй фронт и нацисты прокладывают себе дорогу к предместьям Сталинграда!

Продолжая думать о Сталинграде, он подошёл к юной Нелли Диттон (которая была его любимицей потому, что хорошо работала) и с ужасом констатировал, что работы ей нехватит даже до обеда.

— Что вы думаете о Сталинграде, Нелли?— спросил он.

— А что же тут думать? Русские — молодцы, что не пускают туда немцев,— ответила Нелли скороговоркой, как школьница, отвечающая урок.

„Что ж, и то хорошо. Среди новичков есть такие, что не слышали ничего о Сталинграде“,— подумал Огмор.

— А скажите, мистер Огмор,— продолжала Нелли уже посмелее.— Как вы думаете, в Сталинграде есть магазины?

— Магазины? В Сталинграде?— удивился её вопросу Огмор.— Ну, конечно, есть. И очень большие, ручаюсь вам. А вы что думали, что Сталинград — это просто куча глиняных мазанок?

— Да ведь вы вчера — помните?— говорили о магазинах так, что можно было подумать, будто их там не должно быть. А мне не нравится город без магазинов.

Огмор вспомнил теперь вчерашний разговор и немедленно стал объяснять Нелли, что он

тогда имел в виду. Он был доволен, что де-вушка проявила хотя бы такой смутный ин-терес к его словам. Да, политическое воспи-тание — вот что им всем необходимо!

Всем, только не старому Тэйлору, который прислушивался к их разговору. Этот безна-дёжен, ему следовало бы снова родиться.

— Да, да, слышали мы... — пробурчал он, пре-рывая работу, чтобы вмешаться. — Ничего в нём нет хорошего.

— В чём?

— Да в этом вашем социализме, которым вы ей голову набиваете. Я всё слышал. Хотя тут и очень шумно, но я уже начинаю привыкать к шуму, так что будьте осторожны. Мы при-шли сюда, чтобы работать для короля и родины, а не за тем, чтобы слушать речи социалистов. Не забывайте, что кое-кто из нас имел собствен-ные предприятия...

„Где сияют горные ве-ер-ши-ины!“ — раздава-лось оттуда, где работали две вечно распевав-шие подруги.

— И я в течение пятнадцати лет был чле-ном клуба консерваторов, — заключил с него-дованием Тэйлор. — Я подумываю о том, чтобы подать на вас жалобу правлению. Пропаганда — вот что это такое, не более не менее как про-паганда. Вы пользуетесь своим положением...

— Слушайте, вы! — начал Огмор резко. Тэй-лор был ему антипатичен не менее, чем он Тэйлору. — Я просто объяснил ей кое-что, пото-му что её это интересует, точно так же, как объяснил бы вам то, что вам хотелось бы узнать. Но вас ничто не интересует... А поль-зуюсь я своим положением, как вы заявляете, только для того, чтобы приказывать всем ра-ботать. И это я приказываю вам сейчас. Он

ещё будет мне хвастать тут клубом консерваторов, этот...

Пройдя дальше по проходу, Огмор заметил, что на него внимательно смотрит тот чудак, Стоньер. Седая голова, густые чёрные брови и запавшие щёки делали Стоньера похожим на какой-то фантастический персонаж старинной пьесы. Что у него опять случилось?

— В чём тут у вас дело?— осведомился Огмор, видя, что машина Стоньера не работает.— Из-за чего задержка?

Стоньер похож был на человека, который медленно просыпается.— Задержка? Где?

— Вы остановили машину, так? А я вижу, что у вас ещё не готовы штук пятьдесят пластин. В чём же дело?

Огмор сказал это не резко, но твёрдо, без обычного благодушия.

Стоньер посмотрел на свой станок, как будто видел его в первый раз и пытался понять, что это такое. Затем пробормотал что-то о своей голове.

— Может быть, вы сходите в амбулаторию к сестре Файли?

Стоньер медленно покачал головой и испытующе посмотрел на Огмора.

— Когда я был молод,— сказал он осторожно,— я не понимал по-настоящему этой идеи...

— Какой идеи?

— Бога,— пояснил Стоньер.— Я, в сущности, не понимал, о чём люди говорят. Думаю, что и вы не понимаете. И никто из этих людей...

— Не спорю. Но оставим это, мистер Стоньер...

— Я в последнее время много думал о нём,— продолжал Стоньер тем же тоном.— И минут пять тому назад меня вдруг осенило. Теперь я хочу запомнить это... Если вникать всё боль-

ше и больше, то приходишь к мраку и пустоте. Но как раз по ту сторону этого мрака и пустоты обитает он — бог. И, если подождать, появится свет и начнёт разгораться. Да будет свет! Понимаете, для того, кто уверовал, всё начнётся сначала.

— Может быть, и так, а может быть, всё это просто ваша фантазия, — сказал Огмор поспешно.

— Фантазия! — глаза Стоньера сверкнули гневом. — Фантазия! Вы забываете, что каждый шаг назад перестрадать, переболеть надо. Вы рассуждаете, как ребёнок. — И, к великому облегчению Огмора, он, не говоря больше ни слова, пустил опять машину и принялся за работу, словно вдруг забыв о присутствии Огмора.

Да, каких только людей не встретишь теперь на заводе! Но Огмор уговаривал себя, что это неважно, только бы подогнать работу. Только удастся ли её подогнать! Он критически вслушивался в оглушающее биение пульса завода. Не ослабевает ли он? Как ни часто он, Огмор, говорил об этом, ему приходится постоянно напоминать самому себе о существовании прямой зависимости между ритмом работы в цехах и успехами гитлеровских армий, серо-зелёной орды, сжигающей, грабящей, насилующей, пытающей, истребляющей наших братьев и сестёр. Как далеко, за какими высокими барьерами скрывались те часто срывшиеся ему массы здоровых, весёлых рабочих на отдыхе, бегающих наперегонки со своими детьми в лугах, наполняющих народные театры, драматические и оперные!

— Эй, Берт, очнись!

— Что? А, это ты, Гвен! — и он улыбнулся, не смущаясь тем, что его застали без дела, по-

гружённым в свои мысли: они с Гвен Оклей были большие приятели. Гвен была единственная женщина-установщица в их цеху. Такая, как Гвен, чувствовала бы себя в России, как рыба в воде. Даже внешностью она немного напоминала русских женщин: низко остриженные тёмные волосы, квадратное лицо, энергичное и умное, запачканная белая куртка поверх тёмно-синего комбинезона. Гвен была именно такая, какой казалась,— настоящий, дельный механик и хороший товарищ. Она работала на этом заводе ещё до войны.

— Не часто увидишь тебя таким, Берт.

— Я задумался на минутку... О войне и всём прочем. Но оставим это, как говорит мистер Чевитот. Ты ко мне, Гвен?

— Да. Чарли сказал, что ты можешь дать мне указания насчёт двухходовых свёрл. Пит Форбс сегодня не вышел на работу, и Чарли посоветовал мне обратиться к тебе.

— Правильно. У нас тут есть одно такое. Что тебе непонятно, Гвен? Я их изучил вдоль и поперёк.

Несколько минут разговор был сугубо технический. Когда Берт дал все нужные указания и Гвен вознаградила его папиросой, она спросила:

— Что новенького, Берт?

— Да ничего хорошего, Гвен.

— Это-то я знаю. А плохого что?

— Кое-какие неприятные слухи. Я говорил сейчас с Рэнкином.

— Ну, Рэнкин!— Она сделала гримасу.— Что же он тебе рассказал?

Огмор повторил ей то, что сказал ему Рэнкин о вражде между Блэндфордом и Элриком и об утверждении некоторых делегатов, что Элрику придётся уйти.

Гвен пришла в ярость. Тут только Огмор вспомнил—слишком поздно,— что она всегда была самого высокого мнения об Элрике и всегда защищала его.

— Рэнкин — мерзкая крыса! — воскликнула она.— Он и четверти часа не может думать и говорить честно. Такие, как Рэнкин и его компания, будут выживать Боба Элрика! Это мне нравится. Да они мизинца его не стоят!

— Не горячись, Гвен. Пожалуй, напрасно я сказал тебе...

— Почему же? Я хочу знать обо всём, что у нас делается.

— Понятно. Но не следует распространять вредные слухи. Чтобы увеличить выпуск продукции, нам тут приходится работать до седьмого пота, даже и тогда, когда наверху всё благополучно, а если станет известно, что руководители ссорятся и мы начнём брать сторону одного или другого,— не знаю, куда это нас приведёт. Ручаюсь, что в России ничего подобного не бывает.

— Откуда ты знаешь, Берт? — Гвен была скептиком.

— Мы ни о чём подобном не слышали...

— Так что же? Мы о наших неурядицах тоже не объявляем по радио... Нет, хорошо, что ты сказал мне насчёт Элрика, Берт. И можешь быть спокоен, я болтать не стану. Не стала бы даже, если бы и могла, а кроме того, я для этого слишком занята. Мне дали в обучение двух красоток, которые, как они рассказывают, служили в хоре в Бирмингеме. Не знаю, разбивали они сердца или нет, но, видит бог, свёрла они здорово ломают! Ну, пока, Берт. Спасибо за совет.

Огмор смотрел, как она, ловко лавируя, пробиралась через зал обратно в своё отделение. Сзади её халат был сильно запачкан машинным ма-

слово. В её осанке была благородная смелость и вместе с тем что-то вызывающее жалость, в особенности в том, как она решительно выпрямляла плечи. Глядя ей вслед, Огмор вдруг подумал, что, в сущности, мало знает о жизни Гвен Оклей. При всей своей видимой простоте и непринуждённости (в цеху на неё привыкли смотреть не как на женщину, а как на любого рабочего-мужчину) она, собственно, не слишком откровенничает с товарищами. Славная она, Гвен, она стоит десятка этих смазливых, вертлявых финтифлюшек. Как жаль, что ему никак не удаётся убедить её вступить в партию.

Его вдруг в первый раз осенила догадка (быть может, что-то в осанке Гвен навело его на эту мысль?), что сейчас, когда её семейная жизнь разрушена и Джордж Оклей уехал куда-то в Ньюкасл или в другое место, Гвен, должно быть, очень несчастна, одинока и растеряна...

13

Гвен Оклей спрашивала себя, не пойти ли ей прямо к Бобу Элрику и не рассказать ему, что о нём говорят рабочие. Но она знала, что не сделает этого,— не может сделать именно потому, что это Боб Элрик... Это тянется вот уже три года, а он ни о чём не догадывается. Ни разу он не взглянул на неё так, чтобы можно было предположить, что он когда-нибудь догадается. За это время появился на сцене Джордж, и она вышла за него замуж, в надежде, что это её излечит и образумит. Но их брак, как и следовало ожидать, был неудачен, и Джордж уехал. И даже тогда Боб Элрик, несмотря на то, что они не раз беседовали и на заводе и

за стаканом вина после работы, оставался очень далёк от всяких подозрений. Издёрганной своей разбитой семейной жизнью и идиотской погоней за женщинами, он благоволил к ней, Гвен, главным образом потому, что в ней не было, по его определению, „женской дури“, она была для него просто добрым товарищем, умела слушать лучше, чем мужчины, и в то же время понимала то, что он говорил. Таков был тон их отношений, и этого тона ей приходилось стойко держаться. А если она сейчас прибежит к Элрику, возмущённая и встревоженная за него, она может легко выдать себя. Так что лучше всего ей остыть и приняться за работу.

— Эй, Гвен!

Это кричал Фред Сколби, другой член той старой бригады, к которой принадлежали она и Берт Огмор. Фред — славный малый и очень занятен, когда хватит стаканчик-другой. Гвен на мгновение остановилась.

— Здорово, Фред! Что, сегодня тебе в столовой предстоит соревнование, а?

— Куда там! — отозвался Фред, и его круглое красное лицо расплылось в улыбке. — Мне не подобает дурачиться среди бела дня. Я комик только по вечерам. Не люблю выступать перед зрителями в то время, как они уплетают пирог с рыбой и морковную кашу. А что, Гвен, правду я слышал, будто Пит Форбс заболел?

— Правда, Фред. По-моему, у него опять начинается старая история с желудком. Он вчера был похож на мертвеца. Я ему давно говорю, что надо сходить к врачу.

Она ещё минуты две говорила о Пите, мастере её отделения, но говорила рассеянно, так как её внимание привлекла девушка, работавшая неподалеку. Высокая, стройная, в краси-

вом новеньком халате. Девушка, которую она видела впервые, но которую могла бы сразу узнать при новой встрече. Наверно, эти тонкие белые руки ничего не умеют делать как следует, и скорее всего она дура, но нельзя отрицать, что хороша собой. Словно забытый здесь кем-то большой цветок покачивается над машиной.

— Иду! — крикнул Фред в ответ на чей-то зов. — Извини, Гвен. Видишь, ни' минуты без меня обойтись не могут.

Когда он убежал, Гвен, уступая внезапному побуждению, подошла к девушке.

— Вы новенькая, да? Извините за любопытство. Я Гвен Оклей, работаю здесь много лет.

Девушка, немного нахмурившись, подняла на неё глаза. Они у неё были зеленовато-карие и очень красивые. Она пробормотала какую-то вежливую фразу.

— Как вас зовут? — осведомилась Гвен, немного стыдясь своей назойливости.

— Джойс Дирхерст, — ответила девушка, на этот раз громче, но всё ещё без улыбки.

Не находя больше, что сказать, Гвен смутно чувствовала, что глупо стоять тут, как праздный посетитель, осматривающий завод.

— Ну, надеюсь, вам тут понравится. Начальство у нас хорошее, с ним работать можно. И вы скоро привыкнете...

Джойс Дирхерст кивнула головой, но ничего не сказала. Гвен вдруг стало неловко за свою грязную куртку, растрёпанные волосы, за грязное пятно, наверное, красовавшееся на щеке. Но она тут же себя одёрнула. Ну, хорошо, пусть она выглядит замарашкой, что же из того? Здесь завод, а не выставка манекенов!

— Если вы здесь испачкаетесь, — услышала она

свой голос,—это ничего, вы не огорчайтесь: всё отмоется.

Да, это вышло у неё не очень-то удачно,—и поделом ей, чтобы не совалась к новым с распросами да советами, на то есть отдел обслуживания и мисс Шиптсн. Так говорила себе Гвен. Она готова была поручиться чем угодно, что эта девчонка именно потому, что так красива и кажется такой хрупкой, уже безнадежно испорчена. Впрочем, какое дело до всего этого ей, Гвен Оклей?

Возвратясь на свою территорию, Гвен сунула руки в карманы куртки, подняла плечи — и получилась недурная имитация весёлой дерзости и развязности, настоящий вид *à la* „чорт меня побери“.

— Честное слово, можно подумать, что она здесь хозяйка! — сказала миссис Уэйкс своей соседке, мисс Трумэн. Миссис Уэйкс, поступившая на завод недавно, была старше Гвен и недовольна тем, что приходится работать под её началом. Не обидно ли — она, миссис Уэйкс, бросила дом для работы на заводе с единственной целью помочь родине во время войны, а ею командует какая то девчонка!

— Это верно, — ответила мисс Трумэн — Некоторые люди любят задаваться. Но я им спуска не даю, я ведь уж вам говорила об этом, миссис Уэйкс. Той женщине я так прямо и сказала: „Шесть талонов за этот отрез? — говорю. — Вот ещё! И не подумаю отдавать столько!“ — „Позвольте, — говорит она, — а я-то тут при чём? Разве я распоряжаюсь талонами?“ — „Вероятно, не вы, — отвечаю, — но уж кто-нибудь да выкраивает себе одежку за наш счёт“. Так прямо ей в лицо и сказала.

— И напрасно она мне вечно твердит о том,

что работает здесь бог знает сколько лет,— продолжала миссис Уэйкс, занятая своим и не проявившая никакого интереса к истории с талонами мисс Трумэн.— Может быть, на некоторых людей это и производит впечатление, но на меня никакого. У меня язык чесался сказать ей: „Жаль, что и до войны ты не нашла ничего лучше, как пойти на такую работу!“ В военное время, конечно, разбирать не приходится. Мы теперь делаем множество всяких вещей, которые нам и в голову не приходило делать в обыкновенное время.

— Это верно,— согласилась мисс Трумэн.

Чарли Кинг привёл старого Паттерсона посмотреть одну из машин, с которой что-то было неладно, и теперь оба стояли и в раздумьи смотрели на неё, словно пытаясь разгадать её тайные намерения. Старый Паттерсон был громадный мужчина с лунообразной физиономией, великий специалист по таким неторопливым и обстоятельным осмотрам.

— Не пойдёт она с такой нагрузкой, Чарли,— изрёк он наконец.

— Я тоже так полагаю, что не пойдёт,— заметил Чарли, не отводя глаз от частично разобранной машины.

— Нет, не пойдёт,— опять сказал Паттерсон. Он любил повторять свои замечания.— Я уже и раньше с нею немало намаялся.

— А сколько времени займёт ремонт?— спросила Гвен.

Оба поглядели на неё укоризненно,— её вопрос как будто внезапно вывел их из состояния блаженной мечтательности. Потом переглянулись, как переглядываются преисполненные чувства собственного достоинства учёные мужи, задетые бесцеремонным вмешательством какого-нибудь

профана из публики. Гвен не засмеялась, даже не улыбнулась — её эта комедия уже давно перестала забавлять.

— Может быть, я её установлю сегодня к вечеру, — с расстановкой промолвил старый Паттерсон. — А может быть, и нет. Трудно сказать вперёд... А что, Гвен, имеешь вести от Джорджа? Или спрашивать об этом не полагается?

— Спрашивать можно, Пат, а вестей от него я никаких не получала.

История её брака здесь, всем была известна, так как это началось и кончилось тут же на заводе. И Гвен понимала, что старик Паттерсон, спрашивая о Джордже, вовсе не хотел её задеть.

— На этой машине работал Болтси, — сказал Чарли. — И мне некогда было подыскать ему другую работу — сегодня у нас для таких, как он, подходящего дела не много. Сообразите, Гвен, может, у вас найдётся для него что-нибудь? Он, кажется, не из скандалистов?

— Слава богу, нет, — отозвалась Гвен. — Он славный, тихий парень. Будь на его месте кто-нибудь из тех...

— Ого! — Паттерсон потряс своей огромной головой. — А ведь некоторые из этих бывших маляров, да судомоек, да продавщиц зарабатывают больше меня. Верьте слову, больше! Как послушаешь их разговоры в столовой, так от стыда не знаешь, куда глаза девать. Три недели обучения — и за эти три недели им тоже платят! — а потом все они сразу же начинают загребать монету. Они прямо-таки купаются в деньгах. Иной никогда в жизни и в руках-то больше двух фунтов не держал, а теперь, если они в получку получают не больше шести фунтов, так кричат, что их обжулили. Я сказал одному такому...

„Послушай,—говорю,—Горейс, ты зарабатываешь больше меня, а я и срок выслужил и после этого уже тридцать лет работаю. Я старый специалист. А тебе ещё не отличить, пожалуй, детали самолёта от дождевого зонтика. Так что,—говорю,—имей стыд-совесть, помалкивай!“

— Вот то же самое и я им говорил много раз, Пат,—подхватил Чарли.— Не следовало нашему управляющему набирать кого попало. Я знал, чем это кончится. Давно говорил,—верно, Гвен?

Гвен подтвердила, что говорил, и отошла, потому что ей надоело слышать одно и то же. Она заметила, что Болтон стоит неподалеку, ожидая, чтобы ему дали другую работу, так как это его машина сломалась. Лицо его не выражало ни беспокойства, ни нетерпения,—он просто стоял и ждал. Это можно было предвидеть заранее, зная Болтона. Болтон был тот именно новый рабочий, у которого жена и двое детей погибли во время воздушного налёта. Ему было лет сорок. Несмотря на отсутствие бороды и бакенбард, в наружности этого высокого тощего мужчины было что-то до странности старомодное, он как будто выскочил из старинного семейного альбома. Говорил он с сильным ланкаширским акцентом, но в нём не замечалось и следа ланкаширского юмора, даже и до гибели его семьи. Это был человек серьёзный, выдержанный и до крайности молчаливый. Он никогда ни с кем не разговаривал, но, так как все работавшие у соседних станков слышали о его несчастье, то это никого не удивляло, и его оставляли в покое.

— С вашей машиной сейчас ничего не сделаешь, мистер Болтон,—сказала ему Гвен любезнее, чем говорила с другими,—но её починят к концу дня.

— Рад это слышать,—ответил Болтон без

улыбки, но дружелюбно.— А сейчас для меня найдётся какая-нибудь работа, миссис Оклей?

— Думаю, что найдёт я — Она осматривалась, очень желая отыскать для него какое-нибудь занятие.— Ага, вот для вас небольшая работа. Смотрите: вы берёте каждую из этих штук...— Она показала ему, в чём состоит лёгкая работа, которая обычно поручалась кому-нибудь из новичков в первые дни.— Здесь их сотни две, а после полудня вам доставят новую партию. Я сейчас принесу вам розовую карточку для записи. Согласны?

— Да, миссис Оклей, спасибо. Этим я заполню день,— сказал Болтон, сразу приступая к делу. Он был работник не быстрый, но добросовестный.

— Я посмотрю, как вы сделаете первую,— заметила она, словно извиняясь. Ей казалось немного неловким проверять работу таких рук. Это были громадные руки с вздутыми венами, распухшими суставами. Немного неуклюжие, пожалуй. Да, его никак нельзя будет перевести на работу, требующую большой ловкости.

— Знаете, о чём я сейчас подумала, мистер Болтон? Вам, в сущности, здесь не место.

— На этом заводе?— переспросил он хмурясь.

— Нет, нет, нам нужно побольше таких, как вы. Я хотела сказать, что не следовало направлять вас ко мне в отделение. Вы можете делать гораздо более трудные вещи, чем те, что делаются тут. И, наверное, предпочли бы работу по своим силам. А эту однообразную и пустяковую работу лучше всего поручить женщине. Вы ведь сильный?

— Да, как будто.

— Ну, вот видите!

— Так мне самому хлопотать о переводе, или вы это устроите?— спросил Болтон.

— Я устрою, предоставьте это мне, мистер Болтон. Вы знаете мистера Элрика, нашего главного инженера?

Ей всегда доставляло тайную радость признать это имя. Она тщетно корила себя за глупость.

— Нет, миссис Оклей, не знаю, но слышал о нём от двух-трёх человек.

— Ничего худого, надеюсь? — невольно вырвалось у Гвен.

Лёгкое удивление выразилось на серьёзном лице Болтона. Но он сохранял всё тот же отсутствующий вид. Чувствовалось, что большая часть его души витает где-то в другом месте.

— Нет, ничего худого. Вообще, насколько мне помнится, ничего особенного не говорили. Взгляните, я делаю это правильно?

— Да, кажется, правильно. Сейчас проверим. Нет, надо чуточку больше вдвигать, вот так, видите? Ну, ладно, пойду за вашей карточкой.

Она пошла за карточкой к Мэри Грю. Мэри сидела в своей клетушке, сияя от счастья и возбуждения.

— Спасибо, Мэри. Что с тобой сегодня? Новости какие-нибудь?

— Как ты догадалась, Гвен?

— Ну, стоит только посмотреть на тебя. Ты вся сияешь. Разве слепой этого не заметит. Что случилось?

— В субботу он приезжает в отпуск! — заливаясь румянцем, торжественно воскликнула Мэри. — И я тоже попросила недельный отпуск, и мне разрешили.

— Счастливая! Кто же тебя отпускает?

— Мистер Элрик. Я получила письмо вчера поздно вечером, а сегодня утром первым делом побежала к мистеру Элрику. Что бы там о нём ни говорили, а ко мне он был очень добр, чест-

ное слово, Гвен. Конечно, не обошлось без его любимых шуток, знаешь, как он всегда...

— Ещё бы мне не знать! — вставила Гвен.

— Так что я очень сегодня довольна, — заключила Мэри.

— Ну, если это у тебя называется только быть довольной, так хотела бы я видеть тебя, когда ты в полном восторге, Мэри! Тогда от тебя, наверно, летят искры, а голос звучит, как фисгармония в кино! Как приятно всё-таки увидеть счастливого человека.

Да, — размышляла Гвен, уходя. — Возвращается с фронта „он“, женщине дают возможность провести с ним несколько дней, и она сходит с ума от счастья. Я бы также с ума сходила, если бы... Нет, лучше не надо этих „если бы“... Посмотри на Мэри Грю. Весит без малого шестьдесят восемь килограммов, шеи нет, длинные зубы, а она вся светится, как маяк, оттого что к ней не надолго приедет какой-то неуклюжий парень с потными руками. А я... И со мною было бы то же самое, если бы... Нет, никаких „если бы“...

Но, раз начав, она уже не могла остановиться. И добрых десять минут, выполняя свои обычные обязанности, останавливаясь то у одной машины, то у другой, награждая одного похвалой, другого — пристальным взглядом и дельным советом, она всё размышляла на ту же тему и, главным образом, в применении к себе. За два-три года до войны Гвен сознательно избрала для себя профессию механика. Тогда ей было не легко, но помог дядя. Она хотела мужской работы среди мужчин, хотела жить разумной, самостоятельной, суровой жизнью, исключив из неё всякие „женские глупости“. Она достаточно насмотрелась на них дома и видела,

к чему они приводят. И вот она решила оставить далеко позади и дом и всю эту „дурь“. Гвен не была собственно женщиной мужского склада, но она так хорошо выдерживала свой тон суховатой деловитости, исключавшей „глупости“, что все мужчины относились к ней только как к товарищу.

И вот после всех этих достижений она вдруг взяла да и влюбилась — и в кого же? В Боба Элрика! Выбор во всех отношениях неудачный. Такая, как она, Элрику совсем не нужна. Кроме того, он много старше её, он упрям и груб, наружность у него неказистая, что не мешает ему, впрочем, быть бабником. У него тяжёлый характер, он часто и вне и внутри завода ведёт себя по-идиотски, он слишком любит виски и глупенькие, но красивые женские мордочки. Да, он для неё человек во всех отношениях неподходящий. И всё-таки, как она ни старалась, ни брак с Джорджем, ни два-три увлечения до и после него не помогли ей исключить этого человека из своей жизни. Она не могла не думать о нём, забыть о его существовании. Ничего ей не давая, если не считать кивков и улыбок, которые иногда были хуже, чем ничего, Элрик в то же время мешал ей взять от других нечто настоящее.

— Что вы сказали, миссис Оклей? — спросила одна из бирмингемских девочек, бывших хористок.

— Я сказала: „Дура!“ — ответила Гвен угрюмо. — Но это я не вам, а себе говорю.

Артуру Болтону было сорок два года. Всю жизнь он прожил в унылом городишке южного Ланкашира. В четырнадцать лет, прямо со школь-

ной скамьи, поступил на химический завод и работал там до тридцати. Все эти шестнадцать лет, в то время когда другие мужчины, как водится у ланкаширцев, тратили свои деньги на пиво и разные пари и кутежи в Блэ KPUле, он урезывал себя во всём и копил деньги. Не пил, не курил, не ездил в свободные дни отдыхать к морю. Он не позволял себе даже ухаживать за женщинами, хотя был к ним далеко на равнодушен. Жизнь его была узка и оголена, как стальной клинок, но, как и он, устремлялась прямо к цели. Болтон хотел скопить денег на покупку собственного небольшого предприятия. Наконец наступил счастливый день. После того как Артур в течение почти двух лет в свободное время помогал одному пожилому лавочнику торговать канцелярскими принадлежностями, бумагой и всякими безделушками, он откупил у него его лавку. Пожилой хозяин лавки, как многие люди его профессии, был беспомощный лодырь, и торговля его год от году всё больше приходила в упадок. Артур Болтон, став, наконец, сам хозяином, начал её восстанавливать. Первые год-два это было трудной, почти безнадежной задачей; ему приходилось тратить на себя ещё меньше, чем прежде, дрожать над каждым пенни, который не возвращался „в дело“. Потом всё пошло хорошо. Торговля разрасталась — газеты, журналы, канцелярские принадлежности, галантерея, небольшая библиотека, где выдавались книги на дом, и постоянный запас табака и папирос. Жизнь Артура Болтона расцветала вместе с торговлей в его лавке.

Теперь можно было жениться. И после нескольких месяцев ухаживания за дочкой аптекаря, Элси, задорной, весёлой хохотушкой, которая, однако, сумела полюбить широкоплечего, всегда

серьёзного соседа, он обвенчался с нею и привёл её в уютную квартиру над лавкой. Элли родила ему двоих детей, девочку и мальчика. Торговля шла хорошо. У них завелись добрые друзья среди других торговцев. Жизнь казалась Артуру Болтону чудом, волшебной сказкой. Но он был не такой человек, чтобы принимать дары судьбы как должное, и в нём всегда жила какая-то насто-рожённость, тревога, неясное предчувствие. Вре-менами он поражался своей счастливой судьбе, и Элли, а потом и подраставшие дети любили дразнить его этим. Над миром сгущались тучи, и Артур это понимал, ибо он внимательно читал наиболее серьёзные из тех газет, которыми тор-говал. Но солнце всё так же сияло над лавкой, огонь в комнате наверху всё так же весело по-трескивал.

Началась война. Болтон стал инструктором ПВО. Зимой 1940 года они пережили несколько тревожных ночей. Элли с детьми часто ночевала в бомбоубежище, которое он устроил в полу-подвале за лавкой. Но большинство бомбарди-ровщиков, гудя, летели мимо, на Ливерпуль и Манчестер. Было не так уж страшно.

Наступил 1941 год. И вот, когда самые страш-ные налёты уже миновали и похоже было на то, что скоро налётов совсем не будет, немецкий „Хейнкель“, отогнанный от Солфорда двумя ноч-ными истребителями, спустился над их город-ком, решив освободиться от своего тяжёлого груза. Он не выбирал никакой цели. Ему надо было просто сбросить все бомбы.

В эту ночь Болтон дежурил и только на рас-свете вернулся к засыпанной мусором, дымя-щейся воронке, где ещё вчера у него была семья, свой дом, лавка, — жизнь. Начинался день, но вернее было бы сказать, что с того утра, год

назад, для него больше никогда не наступал день, ибо существование его было теперь, как долгий сон без видений, где бродила его пустая оболочка, напрасно ища двери, которая ведёт обратно в жизнь. Шли недели за неделями, а ему казалось, что это не Элси с детьми, не его семейное гнездо и лавка уничтожены, исчезли из мира, — что это он сам внезапно отнесён взрывом в какой-то другой, чуждый мир, где формы и краски напоминают прежний, настоящий, но где царит пустота и смерть. Казалось, стоит только сделать чудовищное усилие воли, нырнуть во мрак — и он очутится снова в лавке, и дети придут из школы, Элси будет ходить наверху в кухне, и всё будет, как прежде. Порой, в глухие бесконечные ночи, он чувствовал, что решимость отчаяния придаст ему силы задержать и повернуть вспять течение времени, остановить бомбу на полпути в воздухе и затем отправить её обратно на бомбардировщик, чтобы Элси и дети проснулись, ничего не зная о том, что могло случиться, а он, Артур, очутился в своей лавке утром какого-то нового дня. Он не был религиозен. Если можно говорить о каком-либо его мировоззрении, он скорее был рационалистом старого типа, и прежние его мысли о железной вселенной, о пустом небе не приносили сейчас ни искры утешения.

Перепробовав (машинально и безучастно, как он теперь делал всё) несколько занятий, он попал, в конце концов, на Элмдаунский завод. В этом огромном ошеломляющем месте давали работу, средства к жизни, а главное, давали возможность участвовать в изготовлении орудий, которые очистят небо от немецких бомбардировщиков. Он хотел помочь истреблять ма-

ньяков, уничтоживших его, Болтона. Завод представлялся ему не просто местом работы, каким была, например, его лавка. Он был слишком велик, слишком кишел людьми, и всё здесь было непонятно. А Болтон был, в сущности, человек, который по-настоящему жил только своим маленьким, но самостоятельным делом. Ему было всё равно, сколько он заработает, какую ему поручат работу. Он ни с кем не сближался и чувствовал, что ему не нужны друзья. Он предпочитал не встречать людей, которых знал некогда, когда жизнь была настоящей. Он снял комнату в тихой семье и в редкие часы досуга совершал одинокие прогулки или пытался читать серьёзные книги. Его сны бывали ярче и содержательнее целых недель жизни наяву, а эта жизнь наяву представлялась ему не жизнью, но длинным путём к могиле, которым он шёл, как лунатик во сне.

Таков был человек, большим узловатым рукам которого Гвен Оклей задавала работу. Он испытывал облегчение от того, что делал что-то, и, работая, думал о том, как хорошо будет, если миссис Оклей сдержит слово и похлопочет о переводе его в какой-нибудь цех, где работа потруднее. Он не был поклонником машин, не представлял себе, как эти куски металла превратятся в самолёты, он попросту не способен был охватить мыслью весь завод в целом и до сих пор даже ещё не видел здесь многого. Он воспринимал окружающее, как огромную и шумную сумятицу. Женщины и девушки, которых было очень много в этом отделении завода, болтливые создания с белыми, как мел, лицами, ничуть не привлекали Болтона и, к его удовольствию, видимо, понимали, что его следует оставить в покое.

Прошло с полчаса после ухода миссис Оклей. Случайно подняв глаза, Болтон заметил в нескольких шагах от себя женщину, которая, как ему показалось, неподвижно смотрела в его сторону. Он не знал, кто она такая, но припомнил, что уже где-то видел её. Должно быть, это одна из служащих конторы. Её большие очки в красной оправе производили неприятное впечатление. У женщины этой были гладко причёсанные тёмные волосы, бледное лицо. Она чем-то напоминала школьную учительницу. Болтон обратил на неё внимание только потому, что она так неотступно смотрела на него. Но он сразу же опять принялся за работу и забыл о ней.

Через пять — или, может быть, десять — минут, когда он уже думал о чём-то ином, робкий голос произнёс его фамилию. Та же женщина в очках стояла уже подле него. Глаза у неё были умные, в ней чувствовалось хорошее воспитание, но она казалась нервной и несчастной.

— Мистер Болтон, я мисс Шиптон. Мне здесь поручено обслуживание женщин.

— Мисс Шиптон? Мисс Эдит Шиптон? — спросил он и посмотрел на неё внимательнее. Значит, это она и есть!

— Да, — ответила она тихо и взволнованно. К счастью, работа у Болтона сейчас была бесшумная и вблизи тоже было сравнительно тихо, иначе он не расслышал бы её слов. — Вы знали, что я служу здесь?

— Нет, мисс Шиптон. Мне говорили, что вы работаете на каком-то заводе в этих местах, но я не знал, что именно на Элмдаунском. А говорила мне о вас моя родственница, миссис Моллэнд, жена Герберта Моллэнда. Она не

знала, где именно вы работаете. И не хотела спрашивать Герберта. Я, конечно, тоже у него ни о чём не спрашивал,—добавил он многозначительно.

— Я не совсем понимаю, мистер Болтон...— начала она. Но её голос и выражение лица опровергали эти слова.

— Разве?— бросил он сухо и спокойно принялся за работу.

Она с минуту нерешительно молчала, затем сказала робко:

— Мистер Болтон, если я могу быть вам чем-нибудь полезна... я с удовольствием...

— Нет, спасибо, мисс Шиптон. Я не нуждаюсь ни в каком обслуживании.

— Я слышала о вашем несчастье,—прсбормотала она.— Это так ужасно. Мне так вас жаль...

Он ничего не ответил и даже не взглянул на говорившую. Это не было умышленной грубостью, нет, просто он не знал, что сказать ей, и надеялся, что теперь она уйдёт. Дело было весьма щекотливое, и он предпочёл бы в него не ввязываться. Он не хотел причинять ей боль, но, если она непременно желает знать правду, что ж, она её услышит, и это послужит ей уроком.

Нет, мисс Шиптон не могла этого так оставить.

— Мистер Болтон,— начала она опять всё тем же неуверенным тоном,— мне неясно, почему миссис Моллэнд вздумалось говорить с вами обо мне. Видите ли, мы с ней собственно незнакомы. Я знаю Герберта Моллэнда, потому что несколько лет тому назад мы преподавали в одной и той же школе. Так что...— Она закончила нервным смешком.

Болтон в раздумьи смотрел на неё. Что ему

делать? Сказать ей или нет? Она оказалась совсем не такой, какой он её себе представлял и какой её себе представляла бедняжка Люси. Из-за дурацких очков смотрели честные и в эту минуту умоляющие глаза. Пожалуй, лучше сказать...

— Видите ли, мисс Шиптон,— начал он осторожно,— моя двоюродная сестра, Люси Моллэнд, знает о ваших отношениях с Гербертом. Вы, должно быть, думали, что она не знает. А Герберт так думает и сейчас. Но Люси всё известно. Она мне об этом сама рассказала. К ней в руки попало ваше письмо к Герберту... Нет, не теперь, давно уже.

Начав говорить, он отвёл глаза. Теперь он взглянул на мисс Шиптон. Она была бледна и вся дрожала. Работавшие неподалеку две женщины с любопытством посматривали на неё.

— Вы меня извините,— сказал он, подойдя к ней ближе и понизив голос.— Я думаю, лучше прекратить этот разговор. Здесь... неудобно...

Но она смотрела на него, как утопающая.

— Нет, я хочу услышать сейчас... Всё, что вы знаете... Пожалуйста!..

Он покачал головой.— Право, мне и сказать больше почти нечего.

— Нет, нет. И вы ещё не понимаете... вы не можете знать, что это для меня значит... Совсем не то, что вы думаете... совсем не то...

Трудно было понять, чего она хочет. Болтон никак не думал, что в таком месте, как здесь, ему придётся говорить о семейной драме бедной Люси. Нет, нельзя продолжать этот разговор. Надо быть твёрдым.

— Всё это не моё дело. Я не хотел бы вмешиваться.

— Нет, нет, я этому рада.— Но говорила

она, как человек, которого уже никогда в жизни ничто не будет радовать.

— Давайте прекратим этот разговор, мисс Шиптон,— сказал Болтон решительно.— Здесь не место. И, кроме того, мне и вам надо делать своё дело, а вам, кроме того, надо помнить о положении, которое вы занимаете. На нас уже поглядывают любопытные. Ну, пожалуйста, возьмите себя в руки.

Она сделала над собой громадное усилие и притворилась, будто рассматривает его работу.

— Это для меня страшно важно, мистер Болтон. Вы должны сказать мне, что именно она вам говорила. Всё сказать! И я хочу, чтобы вы поняли... Да, да, я знаю, что здесь вести разговор неудобно. Так, может быть, вы в свободное время зайдёте ко мне в кабинет... Или мы встретимся где-нибудь на улице.

„Не забывайте все,— загремел голос из громкоговорителя (казалось, в зал вошёл какой-то металлический гигант), что сегодня в столовой концерт бригады АКО. И артисты уже приехали. Среди них цыганка Вайолет, которая поёт и играет на аккордеоне, потом известные артисты варьете Долли и Дэн в своём комическом репертуаре. Помните, что это ваш концерт...“

Беседовать сквозь огневую завесу шума было немислимо. Мисс Шиптон, глядя в длинное серьёзное лицо Болтона, вдруг, совсем неожиданно, засмеялась. Это был странный смех, но, как-никак, смех. И Болтон, хотя чувство юмора было в нём не особенно развито, почувствовал, что с его длинным серьёзным лицом происходит что-то необычайное, результатом чего была слабая, застенчивая, дружелюбная усмешка. И, можно сказать, с этого момента Артур Болтон и Эдит Шиптон начали понимать друг друга.

В конце столовой была сооружена маленькая эстрада. Эстрада была очень маленькая, а столовая очень большая. И Долли, выступавшая в популярном номере дивертисмента „Долли и Дэн“, опять указала на это обстоятельство своему супругу, Дэну Кроли. Оба в этот момент гримировались в крохотной импроеизированной уборной, отделённой занавесом от сцены.

— И ещё одно, — продолжала Долли, тучная, раздражительная дама лет пятидесяти с лишним, которая сейчас в своём каштановом парике, ослепительном бело-малиновом гриме и изумрудно-зелёном наряде походила на очаровательницу эдуардовской эпохи, приснившуюся кому-то в бреду. — Ещё одно не забывай, Дэн Кроли: перед нашим выходом в этом зале на столы будет подано пять тысяч порций деревенского пирога и имбирного пудинга!

— Ну, и что же из этого? — спросил супруг, занятый раскраской своего носа, делавшей ещё безобразней его и без того неказистую, обрюзгшую физиономию.

— Что из этого? — презрительно передразнила его Долли. — Можно подумать, что ты новичок в нашем деле. Что из этого! Да ведь мы должны выступать перед ними, вот что! Ты с таким же успехом мог бы выступить на вокзале Ватерлоо!

— Разве я не сказал тебе, что здесь на каждом шагу громкоговорители? Нас будет хорошо слышно всем.

— Если даже и так, — а я в этом сомневаюсь, — нас не будет видно. Держу пари, половина слушателей не узнает, что мы здесь же, в столовой.

С усталой покорностью мужчины, вынужденного доказывать что-то женщине, Дэн ответил, примеряя ярко-зелёный котелок:

— Если бы наше выступление было бесполезно, нас бы сюда не послали. Тебе следовало послушать передачу „Досуг рабочего“, тогда ты сама бы убедилась. Эти концерты производят фурор, я тебе говорю.

— Знаю я этот фурор, не впервые выступаю,—возразила Долли мрачно.

— Ох, да перестань ты наконец!—рассердился Дэн, главным образом потому, что он и сам был вовсе не так уверен в себе, как желал показать.

— Нет, ты перестань! Если ты рассчитываешь, что сумеешь в первом часу дня забавлять два акра пирога и имбирного пудинга, так я могу сказать только одно: для этого тебе нужно быть во сто раз остроумнее, занятнее, чем вчера вечером. Дай папиросу.

— Не надо курить. Побереги голос.

— Моему голосу,—если он ещё у меня вообще есть,—повредить не может теперь даже глиняная трубка, набитая фунтсма махорки.

И Долли, довольная тем, что в этом обмене мнений последнее слово осталось за ней, закурила папиросу и некоторое время молча наслаждалась ею.

Долли и Дэн Кроли больше тридцати лет подвизались в театрах варьете. Они отнюдь не были звездами первой величины, и им не часто приходилось выступать в больших городах, тем не менее все годы у них не было недостатка в ангажементах, и они хорошо зарабатывали, в особенности тогда, когда выступали в пантомимах. Но уже за несколько лет до войны дела

их пошли хуже: начинали сказываться и возраст, и отсутствие нового хорошего репертуара, добывание которого стоило всё дороже и было им не по карману. Они кое-как перебивались, пока не началась война. Тогда Долли вдруг заявила о своих правах. Она устала кочевать и жить, где попало, ей хотелось иметь свой угол и постоянный заработок, и она настояла на том, чтобы они бросили сцену. У Долли была сестра, вдова, содержавшая гостиницу в Ридинге. Буфет при гостинице давал большие барыши, и, когда понадобилось увеличить штат, сестра предложила Долли и Дэну постоянную работу и жильё. Конечно, это не был „свой дом“, о котором мечтала Долли, но она подумывала о том, чтобы им самим открыть гостиницу, и предложение сестры казалось ей первым шагом к осуществлению её плана. Итак, они отправились в Ридинг и прожили там жизнью трудолюбивых пчёл полтора года. Долли была весьма склонна оставаться там до тех пор, пока у них не будет возможности открыть свою гостиницу. Ей нравилась такая жизнь. Но Дэн никак не мог привыкнуть к ней. Он твердил себе, что он артист, а не трактирщик. По вечерам он себе места не находил. Случайные встречи с старыми товарищами по профессии и беседы с ними ещё больше обостряли чувство неудовлетворённости. И потом все говорили, что сейчас получить ангажемент легче, чем когда бы то ни было. Некоторые даже утверждали, что сцена оскудела талантами. Дэну посоветовали обратиться в АКО. Он слышал по радио несколько концертов, организованных АКО и Радиокорпорацией в заводских столовых. Гром аплодисментов, которыми рабочие награждали выступавших, вызывал в нём за-

висть и тоску о прошлом. Ничего не сказав Долли, он написал в АКО, а затем съездил в Друрилэйн.

Понадобился целый месяц (в течение которого они часто ссорились и дулись друг на друга) на то, чтобы уговорить Долли попытаться осуществить план мужа. Теперь у них был контракт на три месяца, по которому они за выступления в таких заводских концертах должны были получать вдвоём четырнадцать фунтов в неделю. Это были порядочные деньги, больше, чем они зарабатывали последние несколько лет, что вынуждена была признать даже Долли. И сегодня было их первое выступление. А тут, за каких-нибудь двадцать минут до начала, она вдруг скисла и начала жесточайшим образом критиковать всё, вопреки традициям их профессии, не беспокоясь о том, что они могут сегодня провалиться, а может быть, даже втайне желая этого.— Никогда она не была такой в прежние времена,— размышлял Дэн.— Это её испортила гостиница. Он и так уж не очень уверен в себе, потому что всё это для него ново, и когда человек почти три года не работал на сцене, он не может чувствовать себя уверенно. И в такой момент Долли делает всё, чтобы лишить его последнего мужества!

Другая участница концерта, девица, игравшая на аккордеоне, известная под именем цыганки Вайолет, уже стояла, сильно накрашенная, в полной боевой готовности, по другую сторону эстрады, разговаривая с пианистом и мистером Проскотом. Долли с первого взгляда невзлюбила эту девушку за то, что она явно „много о себе воображает“, и Дэну пришла сейчас идея завести о ней разговор, чтобы дать выход

раздражению Долли. Из этих соображений он спросил саркастическим тоном:

— Как ты находишь цыганку Вайолет?

— Она похожа на цыганку не больше, чем ты,— немедленно отрезала Долли, которая никогда за словом в карман не лезла, когда ей нужно было выразить свою антипатию к кому-нибудь.— Цыганка из Уайтчепеля— вот она кто! И она ещё будет рассказывать, что всегда давала сольные концерты и что её приглашали участвовать в самых первоклассных программах, когда я собственными глазами читала её имя в афише, где объявлялось о выступлении в Девенпорте „Шестёрки весёлых-малюток“, лет двенадцать-пятнадцать тому назад. Ей, конечно, это не нравится. Она имела нахальство отрицать это, глядя мне прямо в глаза. Но я отлично помню...

— Мне кажется, ты права, Долли,— поддержал её супруг, обрадованный тем, что разговор принял желательный оборот...

— Разумеется, права. Их возила по городам старуха Фартинг, эту „Шестёрку весёлых малюток“, и они всегда выступали первым номером. Ты себе представляешь, что оставалось этим шести девчонкам после того, как миссис Фартинг забирала свою долю. „Первоклассные концерты“, как же! Почему бы не сказать уж сразу, что выступала в Букингемском дворце? Вот здешней публике она как раз под стать, им она угодит своим визгом под аккордеон. Это то, что им нужно.

Разговор опять грозил перейти на опасную почву, так что Дэн промолчал и сделал вид, что заканчивает гримировку. Но это не помогло.

— И чего ты сегодня так прихорашиваешься,

не понимаю!—воскликнула Долли.— Ты посмотри только где мы выступаем. Сарай в миллю длиной. А ты так возишься со своей старой физиономией, что можно подумать, будто мы работаем в Палладиуме!

— О господи, боже мой, да перестанешь ли ты сегодня?— вырвалось у Дэна, и он злобно посмотрел на жену.

Она ответила таким же взглядом.

— Ах, вот как! Теперь ты начинаешь ругаться, Дэн Кроли!

Он смотрел на неё уже спокойнее, но всё так же пристально, минуту-другую, затем сказал тихо:

— Послушай, Долли, я хочу сказать тебе два слова раньше, чем публика начнёт собираться.

— Она уже собирается,— заметила Долли.

Действительно, слышался быстро приближавшийся громкий говор и топот толпы. В этом шуме несущегося человеческого потока было что-то пугающее, и даже Долли это почувствовала. Она отступила в глубь сцены и придвинулась ближе к мужу.

— Ну, что же ты хотел сказать?

— Ты извини, Долли, что я вспылал. Это от нервов. Да, я нервничаю. И насчёт грима ты совершенно права... Но я хотел придать себе уверенности, понимаешь?

— Понимаю. Эх, ты, старый дурак!— Это было сказано скорее любовно, чем презрительно.

— Что я старый дурак, это верно. Долли,— продолжал Дэн, серьёзно глядя на неё.— Не забывай, что мне уже за шестьдесят. И я без малого три года не занимался своим делом. И обстановка здесь совершенно новая. Для меня — не знаю, как для тебя, Долли, я говорю

сейчас только о себе,— для меня очень многое зависит от того, будем ли мы сегодня иметь успех у публики.

Долли хотела что-то сказать,— судя по выражению её лица, что-то примирительное,— но он торопливо остановил её жестом.

— Нет, дорогая, дай мне договорить. Я редко спорил с тобой, но эта затея с гостиницей мне всё время была не понутру, в особенности жизнь в Ридинге, потому что твоя сестра меня никогда не жаловала и не скрывала этого, а я тоже невысокого мнения о ней и об её компании. Я профессиональный актёр. Всегда им был и ничем другим быть не могу. В этом моя жизнь. Если на сцене я больше не нужен, то для меня всё кончено. Лучше умереть.

— Ну, ну, не говори глупостей, Дэн,— возразила Долли, более взволнованная серьёзностью его тона, чем хотела показать.

— Это не глупости, а истинная правда. И вот ещё что. Мне всё время хотелось делать что-то для обороны страны, так же, как все эти люди здесь. Если я смогу хотя бы немного позабавить их, заставлю их хотя бы не надолго забыть свои несчастья и заботы, если помогу им скоротать долгий рабочий день, я буду и горд и счастлив. Да, да, я буду удовлетворён своей работой больше, чем был в течение многих лет. Ну, а если я им не пригожусь, тогда не знаю, что делать. Тогда конец. Видит бог, Долли, я не преувеличиваю. Ты всегда была мне доброй женой...

— И была и есть, старый дурачок!— воскликнула она, совсем растроганная.

— Да, да, знаю. Так вот, если даже тебе и не нравится здесь, если ты жалеешь, 'зачем мы взяли этот ангажемент, всё равно постарайся

ради меня, дорогая. Попробуй. Может быть, всё будет хорошо.

— Постарайся! Да за кого ты меня принимаешь? Разве я не работаю на сцене почти столько же времени, сколько ты? И разве про нас с тобой не говорили все, что мы никогда не сдаёмся? Право, Дэн, не следовало бы тебе говорить такие вещи только из-за того, что я немного поворчала. Да разве я способна подвести тебя и провалить спектакль? Придёт же этакое в голову! И, пожалуйста, не расстраивайся попусту. Ты своё дело знаешь лучше всякого другого, и я уверена, что они съедят всё, что ты им поднесёшь, с таким же удовольствием, как свои пироги и имбирный пудинг. Разве мы не выступали по субботам перед моряками и в Глазго, и в Саути, и в Девенпорте? А здесь ещё легче угодить. Положись на меня, Дэн.

И она тут же доказала, что сумеет постоять за него. В эту минуту к ним подошли пианист и мистер Проскот, чтобы предупредить, что сейчас последний сделает коротенькое вступление и затем программа начнётся их диалогом. Долли уловила испуг в глазах мужа и тотчас поняла причину, ибо в громадном помещении столовой стоял теперь ужасающий шум. Да и у неё самой заколотилось сердце.

— Нет, погодите минутку, мистер Проскот,— сказала она решительно.— Так не годится. Для нас такие концерты дело новое, а для мисс Вайолет нет. Кроме того, у неё номер музыкальный, а музыкальные номера всегда легче пропустить первыми. Мы ничего не хотим отнять у неё и не требуем предпочтения, несмотря на то, что мы давнишние любимцы публики. Пусть она выступит первая, исполнит

половину своей программы, а затем опять выступит после нас, так что большой прощальный взрыв аплодисментов достанется ей. Так будет лучше всего, верно, Дэн?

Дэн проглотил слюну и сказал, что верно.

Пианист, зная нрав цыганки Вайолет, был в нерешительности, но мистер Проскот, который произвёл на Долли и Дэна очень хорошее впечатление, согласился, что так будет лучше всего. Он и пианист отошли, и видно было, как они убеждали Вайолет. В конце концов она согласилась.

— Слава богу!— сказал Дэн.

— Меня благодари, а не бога,— поправила его Долли.

Он положил ей на плечо дрожавшую руку. А она, чувствуя, что никогда ещё за последние годы он не был ей так близок, как в эту минуту, прикрыла его руку своей.

— Да, спасибо тебе, дорогая. Что бы ни случилось, я никогда этого не забуду.

— Случится только то, что мы себя покажем и будем иметь успех. Вот увидишь.

Мистер Проскот уже стоял у микрофона и с обычной весёлой непринуждённостью, вызвав своими остротами несколько взрывов смеха, возвестил о начале концерта. Раздавшиеся в ответ хлопки были странно непохожи на те, которые Долли и Дэн привыкли слышать шесть вечеров в неделю в продолжение тридцати лет,— так же как непохожа эта громадная ярко освещённая столовая на уютные театрики, где они выступали. Но всё же это были аплодисменты. И они означали, что незнакомые, загадочные тысячи людей, сидевшие за столами, ждут развлечения. Чего ещё мог желать старый профессионал?

Пианист отбарабакил две-три популярные вещицы. После него выплыла цыганка Вайслет со своим аккордеоном, вертясь и стреляя глазами, как десять цыганских королев. Она спела душе-раздирающий любовный романс, спела весёлую, разудалую песенку, и в зале загремели аплодисменты, как страшный град по железной крыше. Где бы ни появлялась раньше цыганка Вайслет — в „Шестёрке весёлых малюток“ или же в „концертах высокого класса“, — нельзя было отрицать, что она умеет „глушить“ слушателей своим дрянным репертуаром. Она их, что называется, разогрела и подготовила Долли и Дэну хороший приём.

„Но так ли это? — спрашивала себя Долли. — Или, может быть, им нужны только цыганки с аккордеоном?“

— А сейчас, товарищи, — выкрикивал между тем у микрофона мистер Проскот, — выступают известные артисты варьете, Долли и Дэн в своём репертуаре. Долли и Дэн!

— Выходи, дружок! — крикнула Долли сквозь шум аплодисментов дрожавшему от волнения старому актёру, бледному под размалёванной маской клоуна. Дэн всегда первый выходил на сцену. — Выходи и не волнуйся, сойдёт!

Дэн много дней не расставался со своей записной книжкой, в которую он вносил, после зрелого размышления, различные остроты на злобу дня — о Гитлере и Муссолини, о лорде Вултоне и продовольственных карточках, оборонной работе и так далее. Эти остроты должны были доказать публике, что он артист передовой, откликающийся на все современные события. Но в ту минуту, как он, дрожа и спотыкаясь, как слепой, вышел на маленькую эстраду без рампы, ничем не отделённую от толпы зрите-

лей, и окунулся в этот яркий свет и шум, всё время настойчиво твердя себе, что надо подойти прямо к микрофону, иначе его не услышат,— в ту минуту он не мог вспомнить ни единого слова из всех приготовленных им остроумных шуток на злобу дня. Все они бесследно испарились из его памяти. Ему нечего сказать. Он пропал!

Он кое-как добрался до микрофона, лихорадочно сплетая и расплетая пальцы, но сохраняя на лице широкую глупую улыбку. Для зрителей этого оказалось достаточно. Они нашли, что у него забавный вид и встретили его смехом. Затем стали ждать, чтобы он заговорил. А он не мог. Он совершенно растерялся.

Его и на этот раз спасла Долли. Высунув голову из-за занавеса сбоку, она прокричала во весь свой могучий голос:

— Ну, как ты себя чувствуешь, милый?

— Ужасно,— ответил Дэн, не сознавая, что говорит в микрофон.— Я выдохся.

Репетируй он эту фразу целую неделю, и то он не добился бы такого забавно испуганного тона. Тон этот показался публике до того комичен, что зал так и грохнул смехом, дав Дэну время опомниться. Дэн счёл это хорошим знаком: он понравился. Ну, бог с ними, с новыми остроумными шутками, и старые сойдут. Эти старые без всякого усилия с его стороны воскресли в памяти, словно разбуженные знакомыми звуками смеха. Тридцать лет гастролей пришли к нему на помощь. Он отпускал одну шутку за другой. Потом каким-то чудом начал вспоминать некоторые из новых, и успех его всё рос. Так прошло пять минут, из которых каждая была лучше предыдущей, и на сцену вылетела Долли, уже завоевавшая симпатии публики своей неожиданной репликой вначале,— Долли, столь уверенная в се-

бе, как будто она много лет выступала в заводских столовых,— изумрудно-зелёный, бело-малиновый линейный крейсер, идущий в бой. И оба актёра, пустив в ход давно испытанные приёмы, с присущей им живостью и непринуждённостью начали свой номер. Они то весело переругивались, то пели хриплыми голосами, то опять принимались болтать,— и пожинали лавры. В зале всё время раздавались смех и хлопки.

Так в обеденный перерыв на военном заводе, в час передышки от тяжёлой работы, толстая и немолодая женщина, накрашенная и наряженная самым неподобающим образом, и пожилой размалёванный шут кривлялись и выкрикивали на грубом жаргоне пошлые, устаревшие шутки, проделывая это без всякого изящества и остроумия. А тысячи рабочих всех возрастов глазели на них, подзадоривая, гогоча и визжа от смеха, превратившись в массу бездумных глаз и ушей, разинутых ртов, орущих глоток, хлопающих рук. Странное и, без сомнения, жалкое зрелище!

Но здесь царила атмосфера блаженного отдыха и безобидного веселья. Люди становились добрее. Казалось, здесь витала какая-то таинственная надежда, о которой не говорилось, о которой не думали, в которой даже не отдавали себе отчёта, но которая жила постоянно где-то в глубине сознания,— вера в окончательное освобождение человека, возвращение его на родину, к звёздам. Никто в огромном зале не сознавал этого, но под той поверхностью мозга, из которой исходили шутки над нелепостями нашей жизни, где-то в глубоких тайниках души почти все чувствовали это — и оно подкрепляло, обновляло силы. „Веселее немножко становится“, — говорил один другому. И другой соглашался: „Да, всё-таки развлечение“.

„Приди, приди, мне нужен ты один“, — пела цыганка Вайолет в сесём заключительном, самом знаменитом номере, рассчитанном на бурные овации.

А за занавесом, где их никто не видел, сбни-мались Долли и Дэн, не зная, плакать им или смеяться, ещё глубоко взволнованные, измученные и опьянённые успехом.

— Это всё благодаря тебе, старушка, тебе одной, — говорил Дэн.

— Нет, мы сба играли одинаково, — возразила Долли. — И ведь ты был прав, Дэн: народ здесь славный. Отличный народ. Они заслуживают, чтобы мы для них старались изо всех сил. И этот ангажемент доставит нам много радости.

— Ну, конечно, конечно, — подтвердил Дэн. — А что, как ты думаешь, нас ещё будут вызывать в конце?

16

У Фрэнсиса Блэндфорда было одно несомненное достоинство: если он обещал что-нибудь сделать, он делал это. Он дал согласие на переход Фреды Пиннель из его канцелярии в цех после того, как она подучится вместе со всеми новичками. И вот Фреда в учебном цеху. Будучи тем удачливым челсвеком, которому сразу плывёт в руки всё, что ему захочется, она нашла очень эффектный халат в крупных тёмномалиновых цветах, который чрезвычайно шёл к ней и хорошо облегал её фигуру. Учебный цех давно не видел такой красавицы, но почему-то пока, видимо, не особенно ценил выпавшее ему на долю счастье. Так, по крайней мере, казалось мисс Пиннель, а она была наблюдательна.

„Учебная комната“, как её называли, была небольшой пристройкой к главному зданию, и в ней

помещалось с десяток станков и несколько верстаков. Работу здесь делали настоящую, поступавшую из других цехов, хотя главной целью было ознакомление новичков с машинами и процессами производства. Конечно, темп работы здесь был гораздо медленнее и вся обстановка спокойнее, чем в большом грохочущем соседнем цеху. Большинство новичков составляли девушки и женщины, но были тут и двое мужчин средних лет и несколько мальчиков-подростков, которых обучали основательнее, чем других. Заведывал учебным отделением рабочий, которого все звали не иначе, как Джек. Это был сухопарый меланхолический шотландец с безобразными зубами, но добрыми глазами, напоминавшими Фреде глаза её шотландской овчарки. Фреда была удивлена и втайне обижена тем, что её красота не производит на Джека ни малейшего впечатления.

Фреда вовсе не считала себя такой уж неотразимой. Но она думала, что здесь, среди этих угрюмых, серых людей, её красота, самоуверенность, изысканность и живость речи, её дерзкий и в то же время приветливый тон — всё то, чем она выделялась среди секретарей и конторщиц, как большой рубин среди гальки, сделает её ещё более заметной и будет действовать на всех.

Однако ничего подобного не было. Фреда говорила себе, что это собственно не имеет значения. Ей всё равно. Её ничего особенно не трогает — только бы не скучать. Быть может, оттого, что они выросли в мрачной старой усадьбе, которую тёмной стеной обступили плакучие деревья, все Пинели ужасно боялись скуки. И вышли они из своей крепости завоёвывать мир, вооружённые только страхом скуки, этим главным, а может быть, и единственным своим принципом. Впрочем,

так как бессмысленная, на взгляд Фреды, возня с машинами была для неё чем-то совершенно новым и нелепо-неожиданным, то Фреда ничуть не скучала.

Её теперешняя работа, с которой Джок знакомил её так необычайно серьёзно и торжественно, как будто поручал ей доставить на самолёте в Москву Уинстона Черчилля, состояла в подаче металлических пластинок на сверильный станок. В ней не было ничего трудного: можно было делать её, думая о другом. Но как раз сейчас Фреде не о чем было думать. Она была бы не прочь иметь предмет для размышлений. Но она только что покончила с одним неудачным романом, решительно изгнав его из своих мыслей, а нового пока ещё не предвиделось, так что мысли её были никем не заняты. В учебном цеху её поразило только одно,— что здесь все мужчины, от Джока до самого младшего ученика, удивительно некрасивы. Но стоит ли об этом думать?

— Ну, как у вас идёт работа?— спросил Джок.

— Хорошо,— ответила она лаконично.— А долго мне придётся делать это?

— Гм... Я думаю, дня два.

— Ох! А нельзя мне завтра попробовать что-нибудь другое?— спросила она.

Джок ответил не сразу. Он взял в руки одну из просверлённых ею пластин и внимательно осмотрел её как бы в надежде, что Фреда сделала что-нибудь не так, но всё было как следует. Фреда принадлежала к числу людей, в жизни легкомысленных и беспечных, но умеющих работать и быстро, и добросовестно.

— Что ж, ладно,— произнёс как-то уныло Джок.— Я, пожалуй, переведу вас сегодня после обеда на другую работу. Да, пожалуй, можно будет... Слушали концерт в столовой?

— Слушала,— живо ответила Фреда. Она рада была поболтать, хотя бы с Джоком.— Цыганка просто кошмарная, но старые комики ничего, они мне понравились. А вам?

— Тоже. Я всё время хохотал,— признался Джок. Затем неожиданно спросил:

— Вы замужем?

— Нет. А что?

— Некоторые шутки нравятся больше замужним женщинам. Слышали, как они верещали от смеха? Да, так вот,— заключил он, снова впадая в обычную меланхолию.— Вы не забудете того, что я вам говорил насчёт свёрл, а? Ну, ладно.

Джок удалился. Фреда продолжала работать, равнодушно и лениво размышляя о своих родных — семья Пиннелей состояла из восьми человек, и все разбрелись в разные стороны,— о друзьях. С большинством из них она не виделась целыми месяцами. Вряд ли это были настоящие друзья. Фреда любила заводить знакомых, и у неё их было множество, так как она легко и просто подходила к людям. Но мало кому удавалось прочно пустить корни в её жизнь.

Следующее развлечение доставила Фреде маленькая женщина у соседнего станка. Она вдруг перестала работать и стояла с растерянным видом. Это было трогательное, жалкое существо с волосами мочалкой, лоснящимся, похожим на пуговку носом и всегда вяло опущенными углами рта, выражавшего робость и беспомощность. Фамилия у неё была необычная и потому запомнилась Фреде: маленькую женщину звали миссис Фью¹. Ей, наверное, пришлось долго искать мужа с такой подходящей фамилией!

¹ Фью — по-английски означает „немножко“.

— Что у вас случилось? — окликнула её Фреда. И, закончив как раз пластинку, остановила свою машину и подошла к соседке.

— О-ох, мисс, — плачущим голосом сказала бледная и сразу как-то поникшая миссис Фью, — боюсь, уж не сломала ли я её. Как вы думаете?

— Нет, вряд ли, — возразила Фреда. Ей не верилось, что такая миссис Фью способна на что-либо большее, чем разбить чайную чашку. — Давайте посмотрим.

Но машина была не такая, как у неё, и, конечно, несмотря на то, что Фреда принялась её осматривать с видом знатока, она ничего не могла сказать. У машины был явно упрямый и неблагоприятный вид.

Облегчая душу, миссис Фью затараторила с бешеной быстротой, словно решила единым духом рассказать всю историю своей жизни.

— Видите ли, мисс, — начала она торопливо, извиняющимся тоном, — я к этой работе непривычна, врать не буду. Здесь всё для меня ново, всё непривычно. Девушкой я служила в большой кондитерской — и больше нигде, никогда, и ни за что не ушла бы оттуда, если бы не вышла замуж. Уж так ко мне там все хорошо относились!.. И все по имени называли... Но, когда мы поженились, муж не позволил мне там оставаться. Он работал по строительной части и далеко не постоянно... не то, что я, я ни одной недели не пропустила за всё время... Ну, а теперь он, конечно, в Добровольной пожарной охране, и там ему по нынешнему времени не плохо, — конечно, чего теперь можно ожидать... Ну и, кроме того, он начал учиться сапожному делу... Вот, — протянула она высоким певучим голосом, словно собираясь пропеть остальное, — вот я ему и говорю: „Отчего бы мне не попробовать? — говорю. — Раз там новичков учат,

как всё делать. А здесь сказано, что учат,— говорю. (Это в объявлении от завода было сказано, а я прочла. С объявления всё и началось.) Ну, мой муж и говорит: „Что ж,— говорит,— милуша, фронту, конечно, нужно как можно больше самолётов. Только смотри, как бы ты нам всё дело не изгадила.“— „Не понимаю, что ты хочешь сказать, Гарри?— спрашиваю. Мне и невдомёк, что это он пошутить захотел.— Как так изгажу?“— „Ну,— отвечает Гарри,— сама знаешь, какие у тебя руки. Прямо сказать, косолапая ты у меня“.— „Перестань, Гарри,— говорю я ему,— это несправедливо,— говорю.— Просто, я незадачливая, не везёт мне, вот и всё. И ведь я сама тебе об этом рассказала...“

Тут миссис Фью сделала паузу, отчасти ради драматического эффекта, отчасти, чтобы перевести дух.

— А почему это вы ему сказали, что вы незадачливая?— спросила Фреда.

Миссис Фью, видимо, уже забыв о своей машине, сделала таинственное лицо и прикрыла руку Фреды своей горячей маленькой ладонью.

— Ходили вы когда-нибудь к мадам Эльмире в Клиторпс?— спросила она, сощуриив глаза и вытянув вперёд голову, как линяющая змея.— Нет? Ну, а я ходила раз. Она и на картах гадаёт и на стекле. За всё пять шиллингов. И вот она мне в тот раз и говорит: „Вы встретите брюнета“ (и верно, это был Гарри, мой муж). „У вас,— говорит,— доброе сердце и широкая натура, у вас будет много друзей, но некоторые из них вас подведут, пользуясь вашей доверчивостью. Вы,— говорит,— будете счастливы в любви“ (и это верно потом оказалось). „Но,— говорит,— в делах своих вы будете несчастливы“.— „В каких это,— спрашиваю,— делах?“— „Во всяких делах и вещах. От

вещей вам будут большие неприятности,—говорит она.—Они будут ломаться или не слушаться вас“.—И ещё много чего мне наговорила. И всё верно, каждое слово. Конечно,—прибавила миссис Фью с некоторой меланхолической гордостью,—если бы они у меня спросили вчера, когда я в первый раз пришла сюда, я бы обязана была сказать им про это. Но никто не спрашивал.

— О чём это вас не спросили?—вмешался Джок, незаметно подошедший к ним.

Выразительное лицо миссис Фью сразу же сигнализировало тревогу и растерянность, и Фреда почувствовала, что следует отплатить за развлечение великодушным жестом.

— Вы ей не объяснили, что делать, когда машина вдруг останавливается,—сказала она, обращаясь к Джоку. И оставила их вдвоём.

Вскоре после этого в учебный цех пришёл посетитель. Это был Энглби, с которым Фреда несколько раз встречалась в кабинете Фрэнсиса Блэндфорда. Этот серьёзный молодой человек в очках казался ей скучным и чопорным. Но она с первой встречи заметила, что он поглядывает на неё с интересом и почтительным восхищением и, ощущая сейчас потребность в том и другом, помахала Энглби рукой. Тот подошёл к ней, как только закончил деловой разговор с Джоком. В глазах его за очками светился всё такой же, даже как будто ещё более горячий интерес и восхищение.

— Ну, как вам тут нравится, мисс Пиннель?

Она ответила, что нравится, но пока скучновато, и что она надеется убедить Джока сократить срок её обучения. Раз она уже бросила контору, то чем скорее она перейдёт на настоящую заводскую работу, тем лучше.

— Конечно, конечно,—сказал Энглби без улыбки.—Если такая девушка, как вы, захочет от-

несть к делу серьёзно, она, несомненно, быстро выдвинется. У нас уж не одна женщина выполняет очень ответственную работу, в особенности в сборочном цеху.

Его неизменная серьёзность даже чуточку отдавала напыщенностью, и Фреде ужасно захотелось сказать что-нибудь такое, что испугало и шокировало бы его, но в эту минуту она не могла ничего придумать. Она говорила себе, что этот юноша легко мог бы разбудить в ней самые худшие инстинкты,—разумеется, если бы она ему это позволила,—но он ей недостаточно нравится, чтобы стоило с ним возиться.

— Знаете, что меня поражает?— сказала она лёгким тоном.— Я уже и раньше ломала над этим голову. Отчего все здесь так ужасно некрасивы? Посмотрите хотя бы на ту небольшую компанию, что собралась у нас, в учебном. Посмотрите на всех других в столовой. Уроды! Уроды всех сортов. Гномы, тролли. Семь карликов. Почему это, а?

— Вы в самом деле хотите знать почему?— спросил Энглби, внимательно глядя на неё.

Ох, этот его торжественный вид!

— Да, хотелось бы. Конечно, не скажу, чтобы мне этот вопрос не давал спать по ночам, но он меня интересуется.

— А есть такие вещи, которые не дают вам спать по ночам, мисс Пиннель?

Фреде почудилось в его голосе резкая нота горечи.

— Нет, собственно таких мало. Правда, моя квартирная хозяйка в последнее время завела привычку жарить на ужин мешанину из перестоялого картофельного пюре и всяких оставшихся от обеда овощей, а эта стряпня очень плохо переваривается и беспокоит меня ночью... Но объ-

ясните же, почему большинство этих людей такие безобразные?

— Потому, что они с самого рождения живут в возмутительно скверных условиях, — сказал Энглби тоном обвинителя. — Плохое питание. Плохое жилище. Отвратительно живут!

— Понимаю. Пожалуй, вы правы.

— Разумеется, прав, — сказал он твёрдо.

— Вы смотрите на меня так грозно, как будто я в этом виновата. — Фреда подняла брови и широко открыла глаза. Для этого понадобилось на минуту оторваться от работы, но она могла себе это позволить, она и так уж сделала немало.

— Простите, я не знал, что так смотрю... А виноват, конечно, главным образом тот класс, к которому вы принадлежите.

— Ну, вот, начинается!.. Я не принадлежу ни к какому классу, — возразила Фреда всё тем же лёгким тоном. — С этим кончено. Да и вообще в нашей семье никто не придавал происхождению большого значения. У нас нет ни гроша, и все мы взбалмошные головы. Вы социалист?

— Да. Уже много лет.

Как он говорит это! Можно подумать, будто он с 1885 года ораторствует на всех перекрёстках. Вот идиот!

— Ладно, не вздумайте только меня агитировать, мне не до того. Да и слышала я уже всё это раньше. По-моему, это устарело.

— А по-моему, — сказал Энглби всё так же твёрдо, — вы сами не понимаете, что говорите.

„Ого! Как он осмелел!“ — сказала себе Фреда и, обратив на Энглби мощный прожектор своих красивых глаз, констатировала, что на нём неэлегантный коричневый костюм, рубашка и воротник в голубую полоску, а галстук тёмнозелёный! Какое безобразное сочетание!

— Ну, знаете, этот галстук совсем сюда не подходит! — объявила она. — Вы думаете, что если вы идёте на работу, так можно одеться как попало?

— Вовсе нет. Просто я никогда особенно не забочусь о своей внешности. Я не франт.

— Теперь франтов нет, — возразила Фреда с некоторым раздражением. — Вам бы следовало это знать. Но это ещё не значит, что все могут разгуливать одетые так безвкусно. Впрочем, это меня мало интересует.

— Ах, так? Я разочарован. Мне казалось, что вы начинаете мною интересоваться.

Должно быть в кругу инженеров это считается милой, игривой шуткой! О, господи!

— Знаете, это не ваш стиль, — сказала она ему. — Так что вы это бросьте. Как поживает Фрэнсис Блэндфорд?

— Можно подумать, что прошли месяцы с тех пор, как вы его покинули, — усмехнулся Энглби. — Он здоров, у него сейчас очень много дела, потому что мистер Чевинот в отъезде.

— Фрэнсис это любит. Его жена Элисон — она моя кузина, знаете? — боготворит его — за что, одному богу известно. Но даже она постоянно твердит, что Фрэнсис невероятно честолюбив.

— Меня это не удивляет.

Но он сказал это как-то смущённо, быть может, находя неблагоприятным участие в дамских пересудах за спиной у человека.

— Моё личное мнение, — продолжала Фреда развязно и громко, — что Фрэнсис — человек умный, но вредный.

— Мисс Пиннель!

— Если вы считаете, что мне не следует этого говорить, а вам слушать, так лучше уходите. Повторяю: в основном Фрэнсис человек вредный. И если вы рассчитываете что-нибудь выиграть

тем, что будете у него на побегушках, так я вам говорю, что вы сами напрашиваетесь на одни только унижения и разочарования. Я недостаточно знала Фрэнсиса, пока не поступила к нему секретарём. Встречалась с ним несколько раз, когда навещала Элисон, и только. Но за последние несколько месяцев я его хорошо рассмотрела. Ведь я работала с ним с утра до поздней ночи. И теперь чувствую к нему глубокую антипатию, так же как он ко мне. Он из тех, кто ничего не сделает, если у него нет на то тысячи оснований, но за этими мотивами кроются другие — понимаете, что я хочу сказать? — и главные свои мотивы он всегда хранит про себя. И ещё одно, — продолжала Фреда, к неудовольствию Энглби, ничуть не понижая голоса. — Все Блэндфорды — гордецы и в высшей степени самодовольны. Знаете, старая землевладельческая знать, аристократические традиции и всё такое. А Фрэнсис хуже всех, потому что у него двойная возможность выдвинуться. Он хороший инженер...

— Да, он очень способный инженер, — ввернул Энглби, обрадованный тем, что услышал, наконец, хоть что-нибудь одобрительное.

— Так что никто не может сказать, что он отсталый или бесполезный член общества. Но его позиция полезного и современного человека только прикрывает фамильную спесь и прочее в этом роде. А так как чувство юмора в нём развито слабо и не может служить противовесом, то он, должно быть, втайне чорт знает как много о себе воображает. Конечно, он умен и осторожен, он ни при каких обстоятельствах глупостей не делает... Ну, а я люблю таких, которые делают глупости...

— Рад это слышать, — сказал Энглби, заметно повеселев. — Я всегда делаю глупости.

— Да, но я не говорю, что люблю людей только за это. Вовсе нет. Пожалуй, вернее было бы сказать, что я не люблю таких, которые никогда не делают глупостей... Вас, кажется, зовут, мистер Энглби!..

Энглби обернулся и увидел, что Джек делает ему знаки. Цветные лампочки, вспыхнувшие в углу, показывали, что его вызывают к телефону.

— Сейчас иду! — крикнул он, но ушёл не сразу. Он ещё раз посмотрел на Фреду, которая готовилась продолжать работу.

— Не понимаю я вас, мисс Пиннель, — промолвил он как-то уныло, точь-в-точь полицейский инспектор, уговаривающий заподозренных сознаться в преступлении.

— И не трудитесь. Где вам меня понять, — отозвалась Фреда, стараясь не показать, что она довольна.

— Вы меня очаровали, — продолжал Энглби серьёзно и настойчиво. — Отчасти, конечно, вашей наружностью. Вряд ли нужно вам говорить, что она... гм... скажем прямо — губительна...

— Говорите, если хотите, но у вас это звучит ужасно фальшиво, как что-то подхваченное у других... и в первый раз пущенное в ход.

Но он не слушал её.

— Да, ваша наружность. И то, что вы новый для меня тип... Чуждая среда и всё такое. Просто удивительно, как много всё это иногда значит! Но в то же время я вас никак не пойму.

— И очень хорошо. Я вовсе не желаю быть понятой.

— Я вас совсем не понимаю. То вы рассуждаете очень здраво, то вдруг городите чепуху, как какая-нибудь дурочка.

— Что-о?

— Ни малейшего чувства ответственности, как

будто вы десятилетний ребёнок, которому нужно только, чтобы его забавляли...

Фреда рассердилась не на шутку.

— Какой вы грубиян!

— И если бы вдруг оказалось, что в моей власти выгнать вас отсюда, чтобы и духу вашего здесь не было, не знаю, что я решил бы... Ну, пока!

И он ушёл почти бегом, как человек, понявший, что теряет даром драгоценное время.

Фреда была в бешенстве. Нет, каково нахальство! Ей приходили на ум одна уничтожающая реплика за другой. Любая из них могла бы дать ему почувствовать, какой он самонадеянный осёл. И всё это только потому, что она от скуки позволила ему стоять и болтать с нею! В следующий раз, когда он явится сюда, она просто не будет его замечать... Но тогда она не сможет высказать ему всего того, что думает о нём! И он вообразит, что серьёзно задел её, а надо, чтобы он знал, что он просто смешон и она его презирает. Нет, лучше она скажет две-три пренебрежительных фразы и затем уже перестанет его замечать. Вот это мысль!

Выработав таким образом план кампании, Фреда пожалела, что Энглби уже не вернётся сегодня и нельзя будет сразу её начать. А что если он вообще больше не придёт, если она не увидит его долго? Нет, — решила Фреда, — это надо как-нибудь устроить.

Морис Энглби никак не подозревал, что Фреда Пиннель по его уходе будет думать о новой встрече. Его последние слова вовсе не были тактическим маневром. Он говорил то, что думал, гово-

рил не столько для неё, сколько для себя. Он кривил душой только тогда, когда пытался внушить Фреде, что её внешность играет лишь малую роль в том спокойном влечении, которое он испытывал к ней. На самом же деле, — как он признавался самому себе, уходя от Фреды, — её яркая красота, эти чёрные глаза, тонко очерченный профиль, сочные, вызывающе чувственные губы, великолепные линии её тела, — всё вызывало в нём изумлённое восхищение. А за этим, как он намекнул Фреде, крылось и таинственное обаяние, с которым он тщетно боролся, обаяние чуждой ему среды, неведомой жизни, её детства, семьи, странного, экзотического воспитания. Он досадовал на свою впечатлительность. Ведь он всегда сурово критиковал классовую систему Англии за то, что она, по его мнению, не обогащала жизнь, а наоборот, истощала её потенциальное богатство, ибо энергия, которая могла быть использована для повышения всеобщего жизненного уровня, тратилась на сооружение нелепых барьеров и удовлетворение низких appetитов. А эта девушка, что ни говори, работает на заводе не так, как он и большинство других, нет, она только играет в работу, устроила себе нечто вроде развлечения военного времени. И если он, Морис Энглби, сохранил хоть каплю здравого смысла, он должен решительно, раз навсегда выбросить её из головы.

Поднимаясь по лестнице вверх, где его, вероятно, уже ждали на совещании, Энглби напоминал себе о пройденном им долгом пути, о годах упорной работы, о всяких жертвах, принесённых не только им, но и его родителями, чтобы он мог достичь того, чего уже достиг сейчас, и пойти ещё дальше. Конечно, это большое счастье, что у него ответственная и нужная стране работа и ему не пришлось околачиваться без дела в ка-

кой-нибудь воинской части: ведь если бы его призывали, то, при его слабом зрении и сомнительном здоровье, быть бы ему где-нибудь писарем, или вестовым, или чем-нибудь в таком роде. Заработок, который, наконец, начинает уже представлять собой кое-что, не играет для него большой роли, к тому же — ирония судьбы! — теперь, когда он в состоянии помогать семье, она больше не нуждается в его помощи. Живёт он очень скромно и не может жить иначе, хотя бы потому, что у него сейчас нет ни времени, ни возможности тратить много денег. И по-настоящему радуется он только одно: он добился, наконец, того, что поставил себе целью много лет назад, когда он, сын рабочего, сидел, напрягая воспалённые глаза, над учебниками в убогом домишке одного вулверхемптонского переулочка, и руки, и ноги у него мучительно болели от холода.

Среди этих воспоминаний вдруг ярко мелькнула опять мысль о Фреде Пиннель, но он тотчас отогнал её. Ибо сейчас, на фоне его собственной жизни, эта девушка — и все такие девушки — казалась чем-то нереальным, невероятным, до смешного неуместным.

Он думал, что его вызывали для участия в совещании. И, поднявшись на верхнюю площадку, где находились кабинеты администрации, убедился, что догадка его верна. Из комнаты заседаний доносились сердитые голоса. Элрик ревел, как бык. Энглби всё ещё не мог решить, как ему относиться к Элрику. Пока ему редко приходилось иметь дело с главным инженером. Его крошечный отдел был создан Блэндфордом. Он, конечно, знал, что Блэндфорд и Элрик друг друга терпеть не могут. Он и сам это замечал, и об этом все говорили. Дойдя до дверей зала, он сказал себе, что ему ещё рано становиться в этой распря на

чью-либо сторону. Морис Энглби был человек независимого образа мыслей, гораздо более независимого, чем предполагали окружающие, так как его внешность и манера держать себя были обманчивы.

В комнате, где происходило совещание, он застал сцену, напоминавшую акт какой-нибудь драмы. Блэндфорд, бледный, с ледяным выражением лица, видимо, изо всех сил сдерживаясь, сидел во главе стола. Элрик, пылая малиновым румянцем, распираемый гневом, стоял у противоположного конца. А за столом между ними сидело пять-шесть человек, лица которых выражали все градации чувств, от сильнейшей досады до простого замешательства. Энглби почувствовал себя в положении человека, который, опоздав в театр, занял место у самой рампы, и перед ним разыгрывалась сильно драматическая сцена из какой-то неизвестной пьесы. Мысль эта вызвала у него невольную усмешку.

— Что вас так веселит?— спросил Элрик неприятно вызывающим тоном.

— Пока ничего, — отозвался Энглби. — Может быть, у вас здесь развеселюсь.

— Такое веселье не в моём вкусе, — пробурчал один из присутствующих.

— Я просил вас зайти, Энглби, — начал Блэндфорд, чуть-чуть усмехнувшись, — потому что у нас здесь резко расходятся мнения относительно работ по изготовлению шасси Д-5. Аргументы, которые я приводил, основаны на некоторых фактах из вашего доклада.

— Я этот доклад читал, — поспешно вмешался Элрик, обращаясь к Энглби, — так что не трудитесь его излагать. Кстати, должен вам сказать, у вас там попадаетесь очень интересный материал.

— Спасибо, — отозвался Энглби, зная, что Эл-

рик хвалит его вовсе не за тем, чтобы заручиться его поддержкой. Он обвёл взглядом Блэндфорда и остальных.— О чём же именно у вас спор?

— А очень просто...— начал Элрик запальчиво.

Но Блэндфорд постучал по столу. Кожа на его переносице так туго натянулась, что, казалось, она вот-вот лопнет, ноздри побелели. Видно было, что где-то за этой серой маской кипит страшный гнев.

— Это ещё что?— крикнул Элрик, презрительно уставившись на него.— Председательские штучки? Призыв к порядку? Или что?

— Ну, ну, Боб,— сказал один из присутствующих устало.— Бросьте вы!

— Бросить? Что бросить?— накинулся на него Элрик.

— Мы теряем драгоценное время,— сказал Блэндфорд резко.— Я должен вам напомнить, что это время принадлежит государству.

— Тогда зачем вы помешали мне объяснить Энглби, в чём мы здесь не согласны?— спросил Элрик.

— Затем, что вам не полагается делать, что вам угодно. Здесь начальник я.

На этот раз Блэндфорд повысил голос и не пытался скрыть раздражения.

Одно мгновение казалось, что Элрик, теперь уже багровый и тяжело дышавший, сейчас взорвётся, как бомба. Но он шумно глотнул воздух и, словно проглотив вместе с ним свою ярость, пробурчал:

— Сейчас вернусь,— и вышел из комнаты.

С минуту царило молчание. Затем мастер Гейстон заметил:

— То же самое было и в прошлый раз, когда мистер Чевинот уезжал. Боба Элрика не урезонишь.

Блэндфорд, видимо, сразу овладев собой, как

только ушёл Элрик, спокойно пояснил Энглби, что обсуждался вопрос о дальнейшем производстве шасси, марки Д-5. Вчера все сошлись на том, что обработка подсобными машинами освободит квалифицированных рабочих и даст возможность заменить их на этой работе женщинами. Нет необходимости напоминать, что заводоуправление обязано делать это, где только возможно. Но Элрик категорически против и даже не захотел толком обсудить вопрос.

Тут Боулс, старший инструментальщик, очень опытный специалист, спокойно перебил Блэндфорда:

— Нет, нет, мистер Блэндфорд, давайте будем справедливы. Конечно, Боб Элрик здорово шумит, но это оттого, что он немного горяч и не терпит, когда ему противоречат. Но то, что он говорил, вовсе уж не так неразумно. Он только говорил это не так, как надо.

Два-три других старых рабочих поддержали его одобрительным бормотаньем.

— Хорошо. Но не вижу, при чём тут я, — сказал Энглби со скромностью, немного неискренней. Он находил, что здесь напрасно тратится время и энергия на споры, и удивлялся про себя, как это Блэндфорд не сумел лучше организовать дело. Конечно, Чевинот с его размахом и гибкостью очень быстро наладил бы всё.

Вернулся Элрик, заметно остывший, и на этот раз сел за стол.

— Ну что, теперь вы знаете, в чём дело, Энглби?

— Более или менее. Но, как я уже только что говорил, я не вижу, чем могу здесь быть полезен. Разумеется, я буду защищать то, о чём писал в своём докладе. Эту работу можно реорганизовать, пустив в ход подходящие станки.

— Хорошо, допустим, что можно,— перебил Элрик очень спокойно и рассудительно.— Но для этого нет оснований...

— Строго говоря, это дело не моё,— сказал опять Энглби.— Но я хотел бы знать, почему вы считаете, что нет оснований...

— Это самое и все мы хотели бы знать,— вставил Блэндфорд.

— Господи помилуй! — воскликнул Элрик, ментально вскипая.

— Боб, Боб! — остановил его Боулс.

Элрик улыбнулся, и Энглби вдруг понял, почему этот человек, вспыльчивый и грубый, пользовался такой любовью у мастеров и старых рабочих. В его неожиданной улыбке была прелесть детского простодушия.

— Ладно, старый товарищ,— сказал Элрик.— Не буду горячиться. Так вот слушайте, Энглби. Мы можем снять с этой работы часть опытных рабочих. Хорошо. Но что нам в таком случае надо делать, согласно вашему собственному указанию? Переменить инструменты. Так? Поставить больше машин. Так? Значит, инструментальщикам работы прибавится. Ладно, с этим мы кое-как бы справились, хотя это большое неудобство. Затем понадобится больше места. Это нелёгкая задача. А пока мы будем искать место, работа задержится. Затем надо будет найти для этой работы женщин и подростков. Тоже не особенно легко. Когда мы, наконец, найдём их, одни будут подходящие, другие нет. И начнутся прогулы, без этого не бывает. А министерство всё время вопит, чтобы ему подавали Д-пять. И, если мы не сможем доставить их в срок только потому, что вздумали сэкономить каплю квалифицированной рабочей силы, там завопят ещё громче и скажут, что мы своего дела не знаем. Всем нам известно,

что шасси до сих пор всегда было для нашего завода камнем преткновения. Так что сейчас, когда мы только что наладили, наконец, это дело, я говорю: ради бога не трогайте вы его!

— Та-ак,— протянул Энглби, сознавая, что Элрик привёл веские доводы, гораздо более веские, чем он ожидал.

— Теперь и я с ним согласен,— объявил Гейстон.

— Что ж, и на том спасибо,— сказал Элрик сухо.

Раздались смешки.

— Дело не моё, конечно,— продолжал Энглби,— и я здесь по той единственной причине, что...

— Всё это уже известно, Энглби,— сказал Блэндфорд, вмешиваясь в разговор, к большому неудовольствию Энглби, чувствовавшего, что реплика Блэндфорда представляет его, Энглби, в виде юного болвана. Уж не досадил ли он чем-нибудь своему начальнику?

— Я хочу сказать ещё вот что,— начал опять Элрик, перебивая Блэндфорда:— Мне надоело слушать постоянно о замене старых рабочих новичками. Знаю, что это приходилось делать и раньше, и я делал всё, что мог. Но в конце-то концов здесь всё-таки авиазавод, а не универмаг. Мы должны сохранять приличную пропорцию квалифицированных рабочих.

Кое-кто из присутствующих сочувственно загудел.

— Если за этими разговорами о рабочей силе и кроется какой-либо реальный, большой и разумный план,— продолжал Элрик быстро и решительно,— то я могу сказать только одно: это совершенно незаметно.

— Возможно, что вам и незаметно,— сказал Блэндфорд холодно.— Но это ещё не доказатель-

ство, что его не существует, не так ли? В конце концов, вы не военный кабинет.

— Нет, я не военный кабинет! — закричал Элрик. — И, как это ни странно, вы тоже не военный кабинет. Но я знаю одно: у нас забирают из шахт молодых углекопов, а потом вопят: „Больше угля!“ Забирают с полей рабочие руки, а потом заявляют фермерам, что они дают государству мало. А в то же время повсюду, куда ни глянь, болтаются мобилизованные, и половина их не знает, что им делать с собой. Впрочем, ладно, это не наше дело. Но готовить самолёты — дело наше. А мы всё понижаем производительность, теряя наши кадры. Мы отпустили сотни опытных рабочих — большей частью не в армию, конечно, но кое-кто попал и в армию. А теперь я вам говорю: остановитесь, мы зашли слишком далеко...

— Да, да, Элрик, — нетерпеливо бросил Блэндфорд. Он только чуть-чуть повысил голос, но сумел прервать страстную речь Элрика. — Вы уже не раз нам говорили это, не будем топтаться на одном месте.

— Однако мне пора в цех, — сказал старый Боулс, тяжело поднимаясь с места. Остальные последовали его примеру. — И если кто-нибудь здесь хочет знать моё мнение, так я скажу, что согласен с мистером Элриком. Вы тоже вниз, ребята?

— И они все двинулись из комнаты, искося, с беспокойством поглядывая на Блэндфорда. В комнате остались только он, Элрик и Энглби, который чувствовал, что ему следовало бы уйти, но медлил. Прошла минута в молчании. Все трое не смотрели друг на друга.

— При таких условиях, — сказал, наконец, Блэндфорд, обратив глаза туда, где стоял Элрик,

но не глядя на него, — я не стану заниматься реорганизацией этой работы. Подожду возвращения мистера Чевииота и изложу ему всё. Думаю, что сумею внушить ему менее обывательскую точку зрения.

— Не знаю, что это значит — „обывательская“ точка зрения, — усмехнулся в ответ Элрик, — но готов полежаться на мнение мистера Чевииота.

Блэндфорд высоко поднял брови.

— Ещё бы! В конце концов управляет этим заводом он.

Элрик немного сконфузился.

— Я этого и не оспариваю. Просто я не так выразился. Но вы отлично понимаете, что я имел в виду. Во всяком случае могли бы понять, если бы захотели...

Блэндфорд сказал медленно:

— Я иной раз задаю себе вопрос, до чего дойдёт ваша сварливость...

— Неужели? — От смущения Элрика не осталось и следа. — Ну, так знайте, что я не привык работать с людьми, задающими себе такие вопросы.

— Это меня ничуть не удивляет. Кстати, я до сих пор сознательно не говорил с вами об этом, но, думаю, вам известно, что нам дана министерством настоятельная директива заменять и впредь квалифицированных рабочих новыми, и на этой неделе к нам придут представители министерства

Элрик сделал пренебрежительную гримасу.

— Знаю я всё это. Ну и что же? Наше дело — как можно лучше руководить работой на заводе, а не угождать министерству. Если им не нравятся наши методы, пожалуйста, пускай приезжают и попробуют сами руководить лучше.

Я работал здесь по семнадцати часов в сутки, в то время как эти типы сидели и решали кроссворды!

Блэндфорд с выражением безмерного терпения и усталости собирал свои бумаги.

— Занимаясь такими разговорами, войны не выиграешь, — бросил он.

— Пресмыкаясь и преклоняясь перед чудесами Уайтхолла, её тоже не выиграешь, — отпаривая Элрик, закуривая. — И если вы пришли сюда чтобы войти в милость к тем, если для вас наш завод только ступень, начало карьеры почему не сказать этого прямо? Знаю, Блэндфорд, я чертовски груб. Но это вы делаете меня таким. Я хочу, чтобы вы это знали.

Блэндфорд, выпрямившись, с отвращением смотрел в лицо Элрику. Ни тот, ни другой не обращали внимания на Энглби, который всячески старался сделать своё присутствие незаметным. Положение оказывалось много хуже, чем он ожидал.

— Вы как человек мне не нравитесь, Элрик, говорил Блэндфорд медленно и хладнокровно. — Я почувствовал к вам антипатию с первых же дней. Но мне приходилось работать со множеством людей, которые мне не нравились. Когда мне хочется дружеского общения с людьми, его ищу не в кругу инженеров. Так что моё личное отношение к вам роли не играет. А важно, что я считаю совершенно невозможным работать с вами, нахожу ваше влияние здесь очень вредным и пришёл к заключению, что в снижении производительности на заводе в большой мере виноваты вы. И я намерен всё это откровенно и прямо доложить сначала мистеру Чевiotу, затем, если понадобится, и правлению, а там, может быть, и в министерстве. Вы хотели, чтобы я говорил прямо, так вот вам, получайте!

— И я знаю, чего вы этим добиваетесь! — воскликнул Элрик с грубым удивлением. Но Блэндфорд, не дослушав, с достоинством удалился, до последней минуты игнорируя присутствие Энглби.

Глаза двух оставшихся в комнате мужчин невольно встретились. Энглби не знал, что сказать. Он чувствовал себя так, как много лет тому назад, когда родители ссорились в его присутствии, что, впрочем, бывало редко.

— Знаю, — улыбаясь, сказал Элрик. — Вы сейчас подумали, что нам должно быть стыдно. Пожалуй, вы правы.

Он помолчал и затем добавил:

— Пойдёмте ко мне в кабинет. Может, там найдётся и чашка чаю.

Энглби, которому мало приходилось работать с Элриком, ни разу не был у него в кабинете. При их входе молоденькая синеглазая секретарша Элрика вскочила с места.

— Ах, мистер Элрик, здесь вам...

— Сто раз звонили, знаю, — прервал её Элрик. — Вы лучше постарайтесь добыть нам два стакана чаю, Мюриэль, и как можно скорее. А телефон подождёт. Садитесь, Энглби. Курите?

Энглби только сейчас вздохнул свободно, почувствовав, в каком напряжении был последние четверть часа. И просто потому, что он отдыхал в обществе Элрика, в нём росло дружеское расположение к этому человеку. Элрик вытянулся в кресле, устраиваясь поудобней. Несколько минут они молча курили.

— Вы слышали меня, — сказал затем Элрик. — И, я думаю, достаточно наслышались обо мне. Я слишком много болтаю и часто бываю резок. Я слишком легко выхожу из себя. Прежде этого за мной не водилось, по крайней

мере мне так помнится. Но, знаете, бывают обстоятельства... Одним словом, теперь я таков, как вы видите. Ни к чорту не гожусь, надо прямо сказать. А вы, видимо, человек хладнокровный?

— Стараюсь быть таким,— ответил Энглби с искренней неуверенностью, ибо он всё ещё не понимал самого себя.— Но во всяком случае до сих пор ещё моё положение не позволяло мне давать волю чувствам, даже если бы я этого и хотел. Я только начинаю... гм... чего-то достигать в жизни.

— Мне о вас очень мало известно,— заметил Элрик.— Я ведь к вашему отделу никакого отношения не имею. Знаете, я думал, что вы с Блэндфордом одного поля ягоды.

Энглби в нескольких словах рассказал ему, из какой среды вышел и какое получил образование: Вулверхемптон, технический колледж, Викерс и всё остальное.

— Понятно,— промолвил Элрик.— Значит, вы из наших, только чуточку побольше учёности... Да, так когда я начал вам разъяснять, почему я слишком много скандалю, я хотел сказать вот что: я всеми силами старался сработаться с этим Блэндфордом. Я знаю, что он дельный инженер, что мистер Чевииот о нём очень высокого мнения, а я мистера Чевииота глубоко уважаю. Так что я старался, как только мог, ладить с ним. Но поверьте мне, Энглби, хотя шум поднимаю всегда я, на самом деле виноват в наших неладах Блэндфорд. Я только иной раз выхожу из себя, а он хладнокровно ненавидит меня и травит с утра до вечера... Ага, спасибо, Мюриэль. И вот что: я буду занят ещё минут десять, так что последние, чтобы сюда никто не совался, понимаете?

Девушка скрылась, а Элрик и его гость стали пить чай, прихлёбывая его маленькими глотками. Энглби чувствовал, что ему в свою очередь сле-

дует сказать что-нибудь, но не знал, что можно сказать, ничем не рискуя. Он был в затруднительном положении. Элрик, более чуткий, чем казался при первом знакомстве, очевидно, это понял и, выпив чай, заговорил снова:

— Беда в том, что Блэндфорд, придя работать на производство, не оторвался от своего аристократического особняка и поместья. Понимаете, что я хочу сказать? Есть ли у него особняк и поместье, нет ли — это всё равно. Он ведёт себя так, как будто они у него имеются, и в этом всё дело. Я бы хотел, чтобы вы поняли мою точку зрения. Возьмите мистера Чевинота: он мне начальник, он здесь хозяин. И давно, заметьте. Он занимал высокое положение уже тогда, когда я работал в цеху чернорабочим в замасленном халате. Но при всём том он не считает себя человеком какого-то иного, высшего сорта. Просто случайно он оказался среди хозяев — вот и всё. Так он смотрит на это. А Блэндфорд — о, тот твёрдо уверен, что он высшее существо, что он и мы из разного теста.

— Это правда, я это тоже заметил, — согласился Энглби. Промолчать и тут он не считал возможным, в особенности после вчерашних откровенных заявлений Блэндфорда. — И ведь это не просто обычный снобизм. Это нечто... как бы вам сказать... более сильное и более ожесточённое.

— Ага, Энглби, у вас, я вижу, нюх хороший. Вы не думайте, что я предубеждён против Блэндфорда уже только потому, что ему дорога была укатана — Кэмбридж, связи в правлении и так далее. Может быть, я немного и пристрастен, но в конце концов я знаю ещё несколько человек, сделавших такую же карьеру, между тем я быстро с этим примирился и лажу с ними. А Блэндфорд — нет, это совсем другое дело.

— Да. Власти — вот чего он добивается. Власти любого вида.

Элрик смотрел на него, размышляя.

— Я над этим как-то не задумывался. Но, пожалуй, вы правы. Понимаете, я во сто раз суворее обращаюсь с рабочими и подтягиваю их больше, чем Блэндфорд. Но между ним и мною разница та — и большинство наших ребят там внизу это понимает — между нами та разница, что я — один из рабочих, которому поручено руководство, а Блэндфорд смотрит на них сверху вниз и с большой высоты. Знаете, чего ему хотелось бы?.. Уничтожить наши квалифицированные, опытные кадры, наших подлинных специалистов. Вот оттого-то собственно я сегодня и поднял бучу. А так ничего страшного не было бы, если бы мы и реорганизовали производство этих шасси, хотя доводы, которые я приводил, достаточно серьёзны.

— Да, они меня убедили, — сказал Энглби. — А ведь я был вызван на совещание как раз для того, чтобы поддержать противоположное мнение.

— Знаю. Так вот, Энглби, я хотел вам объяснить — и для этого привёл вас сюда, — что если бы не Блэндфорд, а кто-нибудь другой, — вы, например, — выдвинул бы это предложение, я бы не возражал так резко. Но я знаю, чего надо Блэндфорду. Быть на хорошем счету в министерстве, вот что для него главное, а на завод ему наплевать. А для меня на первом месте завод, а милости министерства даже не на последнем...

— Слушайте, Элрик, я не хочу слишком щеголять патриотизмом, но мне кажется — на первом месте всё-таки интересы обороны.

— Разумеется, и нечего вам извиняться за свой патриотизм. То, что вы сказали, следовало бы твердить всем постоянно, но в данном случае это

лишнее: Блэндфорд — надо отдать ему должное — немедленно согласится с вами, а я — будьте уверены — тоже. Когда речь идёт только о повышении производительности, спора быть не может. Здесь же дело другого рода и доводы другие. Я же вам говорю: во-первых, Блэндфорд хочет выслужиться перед министерством; во-вторых, поверьте мне, эта замена старых рабочих новичками ему очень на руку. Она делает „неудобных“, людей, вроде меня, всё менее и менее необходимыми и влиятельными на заводе. Понятно?

— Кажется, да, — сказал Энглби. — Он таким путём „затирает“ вас и людей вашего сорта и выдвигает таких людей, как я. Он думает, что мною ему легче будет вертеть.

— Вы сами это сказали, не я. И так это и есть.

— Мистер Элрик, я верю в полезность своей работы здесь, — поспешно сказал Энглби, занимая оборонительное положение.

— Что ж, и отлично. И ради всех святых перестаньте вы величать меня „мистер“, ведь я же называю вас просто по фамилии. Я простой человек, церемоний не люблю. И вот ещё что: не воображайте, что я хочу вас перетянуть на свою сторону.

— Я этого и не думал.

— Единственное, чего я хочу, Энглби, — это доказать вам, что я не такой упрямый бык и скандалист, каким любят меня изображать некоторые люди и каким вы легко могли меня счесть, если видели меня в тот момент, когда я закусил удила. У меня на всё своя точка зрения, я только не всегда умею её связно изложить, и во всяком случае возражаю вовсе не из страсти противоречить. Тут, кажется, кое-кто думает, что я просто завидую Блэндфорду, что я претендовал на его должность. Это неправда... Конечно, не буду утвер-

ждать, что я так-таки никогда ни капельки не завидую Блэндфорду,— добавил он неохотно.

— В чём же завидуете, Элрик? Ведь вы только что сказали, что это неправда?

Элрик с минуту был в нерешимости. Его тёмные горячие глаза („глаза быка“,— подумал Энглби, хотя он никогда не рассматривал вблизи глаза быка) рассеянно смотрели в лицо Энглби. Затем Элрик улыбнулся своей неожиданной, обезоруживающей, детски-простодушной улыбкой.

— И всё же я себе не противоречу. Я не тому завидую, что мистер Чевиот назначил его своим заместителем. Я никогда не рассчитывал на эту должность. Мне лучше всего оставаться на своей нынешней работе. Но, может быть, меня бесит то, что Блэндфорд такой уравновешенный, упорядоченный... что иногда я чувствую себя в его обществе, как человек, который барахтается в сточной канаве и видит, как другой, одетый с иголки, прогуливается по улице и, вынув носовой платок, стряхивает им пылинку со своего пальто. Понимаете, что я хочу сказать? Я всегда веду себя, как отпетый дурак, а он никогда не сделает ни единого ложного шага. А между тем я чувствую, что на самом деле он неподходящий для нас человек, а я был бы не так уж плох, если бы сумел себя обуздать. Ох, я что-то слишком много наболтал. Надо браться за дело.

Энглби уже поднялся.

— Спасибо за откровенность.— Его снова одела застенчивость, но он решил непременно сказать то, чего, по его мнению, требовало положение вещей.

— А не потолковать ли нам с вами в один из ближайших вечеров после работы? Мы могли бы пойти куда-нибудь вместе закусить и выпить...

Конечно, можно,— ответил Элрик, уже явно

торопясь поскорее приняться за ожидавшую его работу.— Я это устрою, положитесь на меня.

— Комната Энглби была в конце коридора, и по дороге он думал об Элрике, который оказывался совсем не таким, каким он его себе представлял. До сих пор Элрик казался ему человеком ограниченным, самоуверенным, примитивным. А теперь, после разговора с ним, он увидел, что это натура более широкая, более впечатлительная и сложная и в то же время далеко не такая цельная, как ему казалось. Так иногда у машины, работающей не так безупречно, как от неё ожидали, оказывается более тонкая и интересная конструкция.

„Ну и денёк! — подумал он. — Сначала Фреда Пиннель, теперь Элрик!..“

18

Послеобеденные часы казались Джойс Дирхерст очень долгими и утомительными. Работа здесь пока была не труднее, чем в учебном цеху, но движение, суета, шум во всём огромном помещении, делали её гораздо мучительнее. К тому же сейчас у Джойс даже не было ничего интересного, о чём бы можно думать во время работы. Некоторые работницы — те, у кого есть мужья и дети или возлюбленные, — должно быть, думают во время работы о множестве интересных вещей; это было заметно по замкнутому, сосредоточенному выражению их лиц. Для них, конечно, день не тянется так долго. Даже миссис Григсон с этим согласна. Миссис Григсон — странная и несносная особа, но она никогда не скучает, это видно. Её чёрные глаза всегда блестят от возбуждения. Джойс не хотела бы быть похожей на миссис Григсон, но она хотела бы, чтобы жизнь её была содержательнее, чтобы у неё

было о чём думать, тогда рабочий день не тянулся бы так долго.

Правда, можно было поболтать с тем парнем, Джеком Браймбером. Он подходил к ней, ужасно возмущённый и огорчённый, так как оказалось, что заводской оркестр, Элмдаунская шестёрка, не будет играть сегодня в столовой. Джек явно был очень заинтересован Джойс, но, к сожалению, она сама несколько им не интересовалась и невозможно было думать о нём и его пресловутой Элмдаунской шестёрке даже и десять минут, не то что целый день.

Концерт был для Джойс приятным разнообразием, хотя Долли и Дэн ей не особенно понравились — она нашла их вульгарными и пошлыми (а миссис Григсон — та заливалась смехом даже при самых неудачных шутках). Всё же это внесло некоторое разнообразие, — так говорили все. Но опять-таки материала для размышлений Джойс и в этом не находила.

Добродушный старик-мастер, Клитон, сегодня какой-то странный. Пол-утра он ходил по цеху и говорил всем, что выпуск продукции падает, вместо того чтобы повышаться, расспрашивал всех по очереди, что они думают о войне, твердил, что во всём мире сейчас молодёжь гибнет на фронте, а здесь, на заводе, люди и не думают об этом. Джойс пыталась — и не раз — думать об этом, но всё было так огромно, смутно и странно, что хотелось поскорее отогнать эти мысли. Зачем, например, всё время притворяться, будто мы побеждаем, если немцы и японцы забрали столько городов, а мы их, повидимому, выгнать оттуда не можем? Но этот вопрос Джойс не задавала вслух. Он вызвал бы только длинные объяснения, а Джойс терпеть не могла слушать длинные объяснения.

Другое дело — 1940 год, когда наци объявили, что будут бомбить Лондон до тех пор, пока его жители не сдадутся, — и бомбили, а жители всё-таки не сдались. Тут всё было понятно, она и сама была тогда в Лондоне и до сих пор испытывала лёгкий трепет, когда при ней вспоминали о том времени. Тогда было очень страшно — ну, и, конечно, немцы, разбомбили ателье, разрушили все её планы, но те дни были полны переживаний, и ей не было скучно... А сейчас скверно то, что пришлось, так сказать, начинать жизнь сначала, и она, собственно, ещё не начала её по-настоящему. Порой ей думалось, что никогда не начнёт. Она теперь казалась себе не живым человеком, а тенью.

Тень или нет, во всяком случае, надо думать, она никогда не станет такой, как та девушка, что подходила к ней непрощенная сегодня утром и спрашивала, как её зовут. Та девушка в грязной куртке с испачканной щекой. Можно подумать, что она нарочно старается быть похожей на мужчину. Джойс спросила о ней мистера Сколби.

— А, это Гвен Оклей, — сказал мистер Сколби, когда Джойс описала её. — Она теперь установщиком работает. Она здесь уже много лет. Одно время была единственной женщиной во всём цеху. О чём же Гвен говорила с вами?

— А я не стала с ней разговаривать, — ответила Джойс. — Я её не знаю, и у неё такой вид! Она, должно быть, на меня рассердилась и сказала вроде как с насмешкой: „Если вы измажетесь, так имейте в виду, что всё это отмывается“. Точно я сама не знаю!

Мистер Сколби расхохотался.

— На Гвен не стоит обижаться, она хлебнула горя. И скажу вам по секрету: она не любит, когда на заводе появляются такие шикар-

ные девушки, как вы. А может быть, она просто хотела пошутить. Но Гвен у нас молодчина!

— А я бы не ходила в таком виде, даже если бы проработала здесь двадцать лет! — возразила Джойс. — По-моему, женщине не подобает запускать себя... Она замужем?

Мистер Сколби ответил несколько таинственно, что Гвен и замужем и нет, и в дальнейшие объяснения не вдавался.

А Джойс и не настаивала, её ни капельки не интересовала Гвен. День расстилался перед ней, бесконечный, слепящий, однообразный, как пустыня, и Джойс жалела, что нет таких людей или вещей, о которых ей интересно было бы думать на все лады. Тётка и жизнь в деревне нестерпимо скучны. Как не скучать девушке, которую бомбёжка лишила хорошего, уютного места на Брутон-стрит?

Джойс работала быстро и, стараясь скоротать томительные часы, возвращалась мыслями к прошлому, к серому бархату и золотым огням ателье на Брутон-стрит. Вспоминался ей тот день, когда мадам была расстроена, а в ателье сошлись три известные актрисы и подняли такой шум!

Прошёл час или больше. Её снова навестил мистер Сколби, и на этот раз с ним подошёл и другой мужчина — второе издание мистера Сколби, несколько более изящное и значительно большего формата. Джойс его узнала: это он объявлял о концерте в столовой. Как же его фамилия? Да, мистер Проскот.

— Это мисс Джойс Дирхерст, — представил её мистер Сколби.

И Джойс невольно засмотрелась на мистера Проскота, который и в самом деле очень напоминал мистера Сколби: то же, круглое красное

лицо, нелепый, вздёрнутый нос, благодушная сияющая улыбка. Но мистер Проскот был, разумеется, без халата и вообще одет очень щеголевато.

— Мисс Джойс Дирхерст, да?— сказал он, улыбаясь ртом, но не глазами, которые вдруг скользнули по ней острым и внимательным взглядом.

— Это мистер Проскот, Джойс,— сказал Сколби.— Заведует личным составом и бытовым обслуживанием и всё такое. Джойс только что начала у нас работать, мистер Проскот, и работает очень хорошо.

Отвечая на вопрос мистера Проскота, Джойс сказала, что на работу не жалуется, хотя она пока не особенно интересная. А мысленно спрашивала себя, почему мистер Проскот взглянул на неё так пристально, как будто он уже слышал раньше её имя и вдруг припомнил его.

— Ну вот,— говорил между тем мистер Проскот, и теперь глаза его тоже смеялись,— если у нас будут спрашивать, имеется ли на нашем заводе волшебница, мы знаем, где её найти. Верно, Сколби?

— Обратитесь тогда ко мне,— в тон ему подхватил мистер Сколби. Такого рода шутки были в его вкусе. И оба пошли дальше.

Вот и всё. Ничего особенного, конечно, о чём стоило бы думать, но она не могла забыть этот непонятный взгляд Проскота. Где мог мистер Проскот слышать её имя? Кто мог говорить с ним о ней? Когда она в первый раз пришла в учебный цех, с ней беседовала и расспрашивала её обо всём мисс Шиптон. Но мисс Шиптон, видимо, не заинтересовалась ею, наоборот, Джойс чувствовала тогда, что она не понравилась этой женщине в очках.

Через некоторое время, когда она ходила за ма-

териалом, Джойс рассказала об этой мучившей её загадке миссис Григсон, которая пришла вслед за ней.

— Вы не думайте, что мне это показалось, миссис Григсон, нет, это так и было,— сказала она.— Он посмотрел на меня так многозначительно, не могу понять, почему.

Миссис Григсон немедленно изложила своё мнение о мужских взглядах.

— Мне думается, вы преувеличиваете, дорогая. Я вам вот что скажу: будь это не мистер Прокот, а какая-нибудь женщина, ну тогда понятно женщины бросают друг на друга иногда очень странные взгляды. Их никак не разгадаешь, милочка, никак! Да и разгадывать не стоит. Ну, мужчины — те другое дело. Я заметила, что мужчин, когда они на нас смотрят, бывают взгляды трёх сортов. Трёх — и не больше.

Джойс, естественно, вынуждена была осведомиться, какие именно.

— Их сразу отличишь друг от друга,— сказала миссис Григсон с уверенностью.— Во-первых, они таращат на тебя глаза, точно говоря: „А интересно, какова ты без платья?“ Затем бывает у них этакий злой взгляд, как у рассерженной свиньи, которым они как будто спрашивают: „А что ты делала тут без меня и почему это мой обед не готов?“ И, наконец, большинство этих олухов смотрит на вас такими пустыми, как у мёртворог трески, ничего не говорящими глазами. Вот, милочка!.. Ну, а если бывают и другие взгляды, так они не стоят того, чтобы о них думать, и вам вероятно, просто почудилось, милочка... Не ломайте над этим головы и не воображайте много мужчин. Ничего в них нет. Потому-то с ними отдыхаешь после того, как поживёшь среди одних женщин. Скажу вам, милая, когда я гуляла с моим

мужем до свадьбы, я воображала, что у него голова полна всяких неизвестных мне умных мыслей, а как вышла замуж, увидела, что у него в голове ровно ничего нет. Конечно, я не считаю разной чепухи вроде машин, да радио, да футбола. Так что их загадочные взгляды — это просто ваша фантазия, и не думайте вы о них, милочка!

Джойс обещала, что не будет, но в глубине души сохранила убеждение, что психология мужской половины рода человеческого всё же более сложна, чем предполагает миссис Григсон. Миссис Григсон, повидимому, судила о всех мужчинах по своему супругу, а из её рассказов об их семейной жизни видно было, что у неё столько же общего с мистером Григсоном, сколько с каким-нибудь зулусом.

Вернувшись к своему станку, Джойс набралась мужества, чтобы преодолеть скуку оставшихся ещё двух часов. Была половина шестого — час, когда в нормальных условиях, до войны, почти всюду кончали работу, и, быть может, оттого в это время все ощущали какую-то усталость, темп работы ослабевал. Последние два часа были уже не естественной частью рабочего дня, а томительным и пустым придатком к нему. С этим ощущением Джойс принялась за работу.

Но кто же мог сказать что-нибудь о ней такому важному лицу, как мистер Проскот? Тут ответ вдруг неожиданно вынырнул откуда-то, словно он ожидал за углом последнего часа, чтобы встать перед нею. Господи, ну, конечно, тот жуткий человек... Она увидела опять перед собой красное обрюзгшее лицо, острый взгляд... Главный инженер, мистер Элрик! Не имея и тени какого-либо доказательства, Джойс чувствовала, что угадала верно. Наверное, он сказал о ней мистеру Проскоту что-нибудь очень скверное. А тот, услы-

шав её фамилию, вспомнил. Но что он мог сказать? Вот мистер Клитон и мистер Сколби — те относятся к ней доброжелательно, почему ж она не нравится остальным — Элрику, и Проскиту, и этой Гвен, которая, спросив, как её зовут, уставилась на неё так насмешливо? (Нет, впрочем, мистер Проскот был с нею любезен). В чём тут дело? Может быть, не в них, а в ней самой. Может быть, есть в ней что-то такое неладно, что они сразу заметили?

На смену этому недоумению в ней вдруг родилось, встав из каких-то неведомых тайников души, — как громадный чёрный идол поднимается из подземелья в храме и дым курений рассеивает перед его массивным ликом, — предчувствие невестной, неотвратимой беды, потрясающих душ событий, уже решённых, принявших определённую форму без участия её воли и сознания. Это странное ощущение длилось один миг, но этот миг он было так сильно, что она невольно протянула вперёд руку, словно отражая удар.

Она сразу же с громким криком отдернула назад. Острая металлическая спираль глубоко врезалась в протянутую руку, и из рваной раны потекла кровь. От мучительной боли Джойс стал дурно.

— Да, девочка, здесь нужна перевязка, — сказал ей через несколько минут мистер Клитон. — Ты лучше сведи её сам в поликлинику, Фред.

И мистер Клитон вздохнул. Ведь он не признавал поликлиник и всё это „обслуживание“ рабочих, и всякий такой случай казался ему чем-то вроде надувательства, как будто его невидимый оппонент выдвигал недобросовестный, ибо ни опровержимый довод.

— Не надо волноваться, Джойс, — сказал мистер Сколби отеческим тоном, когда вёл её чер-

дех.— Вам наша поликлиника понравится, вот увидите. И сестра Файли чистенько промоет и мигом перевяжет вашу рану. Мне давно хочется, чтобы со мной что-нибудь случилось, тогда я мог бы сходить к сестре Файли, да вот ничего не случается.

19

В поликлинике, где всё было белое, опрятное и где пахло лекарствами, сестра Файли спорила с миссис Холт, которая служила в заводской столовой. Утром, как всегда, в поликлинике была толчея, в послеобеденные часы тоже, а сейчас наплыв больных и пострадавших от несчастных случаев уменьшился. И сестра Файли отпустила домой свою молодую помощницу, санитарку Хинтон, сказав, что она теперь легко управится сама. Сегодня доктор Стэммерс, приезжавший в поликлинику четыре раза в неделю, с утра принимал больных, и юттого в первой половине дня весь персонал занят был более обычного. Сейчас сестра Файли, убрав инструменты, могла на досуге не только осмотреть обожжённую руку миссис Холт, но и потолковать с посетительницей.

Мэдж Файли училась в школе сестёр милосердия в Мидлсексе, а потом заведывала палатой в Фоулейском госпитале. Это была рослая, цветущая, пышнотелая девушка лет тридцати с огромным запасом жизненной энергии. В ней хороши были рыжевато-каштановые волосы, смелые карие глаза, прямой нос, широкий квадратный подбородок. Её находили красивой, дельной, но несколько суровой. Она никогда не казалась усталой, и невозможно было себе представить, что сестра Файли когда-нибудь была больна. Чувствовалось, что все её железы в порядке и работа-

ют во-всю, что все доселе открытые витамины имеются в её пище и поступают в её великолепный организм. Она могла бы быть превосходным символическим изображением современной медицины. Не верилось, что она и её пациенты принадлежат к одной и той же расе и вообще состоят из одинаковой плоти и крови.

В ней чувствовалась мощная женственность, она ничуть не походила на традиционных сестёр милосердия — бледных, увядающих дев, напоминающих монахинь. На работе она была энергична, ловка, расторопна и бесстрашна, а в свободное время любила повеселиться со вкусом, с размахом. Хороший обед с выпивкой в компании какого-нибудь „настоящего“ мужчины, после обеда очередное развлечение в Палладиуме или другом подобном месте, затем опять стаканчик-другой — и наслаждение всем, что посылают нам боги, в пределах, дозволенных самой широкой терпимостью, — вот что Мэдж Файли называла приятно провести вечер. И никто не посмел бы сказать, что она не заслужила такого отдыха. Разумеется, в военное время предаваться столь полнокровному веселью было гораздо труднее, особенно с тех пор, как она работала в заводской поликлинике (зато платили здесь очень хорошо, гораздо больше, чем в госпитале). Но сестра Файли брала от жизни всё, что могла. Любовь в её представлении была не роком и не приступом перемежающейся лихорадки, а самым занятым и самым приятным из развлечений и способов убивать время. Она ни разу в жизни не была влюблена, но даже не подозревала об этом существенном факте. Ибо, развлекаясь с каким-нибудь мужчиной, которого предпочитала другим, она думала, что это и называется любить, и, естественно, находила, что другие женщины слишком носятся со своей

любовью. Она была добра, но отнюдь не сентиментальна. На заводе её работу очень высоко ценили.

В настоящую минуту она, забинтовав обожжённую руку миссис Холт, беседовала с нею. Разговор шёл о семейной жизни и о будущем.

Миссис Холт была из тех женщин, которые в действиях своих довольно упорны и жёстки, а рассуждают всегда так, что слушателям вспоминаются рождественские открытки.

— Нет, сестрица, что там ни говорите, но если они начнут разрушать семью, тогда уж не знаю, до чего мы докатимся, честное слово, не знаю.

Сестра Файли нашла где-то леденец и грызла его своими крепкими белыми зубами.

— Да ведь и теперь, с тех пор как у нас война, семья уже достаточно „разрушается“, как вы это называете.

— Военное время не в счёт, — возразила миссис Холт. — Все мы готовы делать сейчас ради обороны многое такое, чего не стали бы делать в мирные времена. Так и должно быть. Но, как только мы прикончим Гитлера, все женщины и девушки захотят уйти с заводов прямехонько домой и будут вполне правы. Это естественно. Хороший любящий муж и дети в доме — вот что нужно всякой женщине.

— Не знаю, так ли это, — сухо промолвила сестра. — Любовь хорошего мужа, пожалуй, вещь приятная, хотя, должна сознаться, не хотела бы я выносить её изо дня в день. Ну, а что касается детей, так, если хотите знать, половине тех женщин, которые приходят ко мне, было бы лучше, если бы дети не связывали их, а детям было бы лучше, если бы их разумно воспитывали где-нибудь в другом месте.

— Лучше матери не воспитает никто! — вос-

кликнула миссис Холт. У неё был в запасе большой выбор таких сентенций, и она бесстыдно щеголяла ими.

— Ничего подобного. Обычно мать ухаживает за ребёнком хуже всех. Спросите любого врача.

— Здоровье ещё не всё, сестра, — изрекла миссис Холт.

— Здоровье — это почти всё, в особенности когда дело идёт о детях, — отчеканила сестра Файли, продолжая грызть леденец.

— Но детям нужна мать.

— Им нужен кто-нибудь, кто ухаживал бы за ними, к кому они относились бы с доверием, но не обязательно родная мать. Всякий, кто умеет обращаться с ребёнком, вполне заменит ему мать. Я это наблюдала не раз.

Заметив, что со стола у большого шкапа не всё ещё убрано, она подошла и стала приводить стол в порядок, продолжая разговор с миссис Холт.

— А вот один мой знакомый говорит, что после войны Англия не оправится, если все трудоспособные люди, — а в том числе и большинство женщин и девушек, — не будут продолжать работать. Он говорит, что и у нас в Англии все поголовно должны будут работать, как в России.

Миссис Холт пришла в ужас.

— Может быть, это годится для русских, — такая работа, и жизнь в общежитиях, и то, что детей растят не в семье...

— Не знаю, что тут такого, — сказала сестра Файли вполне искренно. — Я с радостью ушла из семьи. И большинство моих знакомых девушек также.

— А мои дети мне часто твердят: „Мама, что бы мы делали без тебя“.

— Они вам наскажут что угодно! Хитрые

чертенята! В девяти случаях из десяти они говорят такие вещи, когда хотят выпросить себе что-нибудь. Если вам нравится с ними нянчиться, что ж, нянчитесь на здоровье. Но вашим детям было бы полезнее самим делать для себя всё. Встать на собственные ноги.

— Вам легко говорить про собственные ноги...—начала было миссис Холт воинственно.

— Я, кстати сказать, сегодня простояла на своих двенадцать часов подряд,—вставила сестра спокойно,—так что я знаю, что говорю, миссис Холт.

Миссис Холт, чувствуя, что её довольно грубо обрезали, и страдая от неприятного сознания, что у неё была выгодная позиция, но она не сумела её защитить, сочла нужным обидеться.

— Что ж, конечно, я, может быть, женщина старомодная. Но я вырастила четверых и не работала бы здесь, если бы муж мой был жив,—он ни за что на свете не позволил бы этого. Будь у вас позади такая жизнь, как моя, вы бы иначе рассуждали.

Она с достоинством поднялась.

— Работа в больнице—дело хорошее, она, может быть, очень нужна, не спорю, но она ещё не всё. Скажу прямо; она ничто по сравнению с счастливой семейной жизнью. Строить своё тёплое гнездо, растить детей...

Сестра Файли кончила убирать стол и, глядя холодно и скептически на говорившую, решительно перебила её:

— Я ничего не знаю о вашей семейной жизни, о муже и детях, миссис Холт. Может быть, всё у вас замечательно. Но я знаю множество других семей, где далеко не так благополучно. Там многого требует улучшения. Да. А мы, работающие в больницах, знаем, каким путём можно было бы

добиться этого улучшения. Вот, к примеру, как вы думаете, сколько людей в Англии и до войны болело из-за неправильного питания?

— В моём доме — никто, — сказала миссис Холт с таким видом, как будто выпускала последний снаряд. — И никто в нашей заводской столовой от этого не болеет. Когда правление захотело наладить питание рабочих, оно пригласило в столовую несколько опытных матерей и хозяек, таких, как я.

— Ну, дайте вашей руке покой дня на два, а затем покажете её мне, миссис Холт, — сказала сестра Файли.

Оставшись одна в первый раз за весь день, сестра медленно прошла по трём комнатам поликлиники, проверяя, всё ли в порядке. Нигде ни соринки, всё блестит.

Ах, если бы такую чистоту и порядок, какие у неё здесь, навести и в человеческой душе, — размышляла она. Порою ей казалось, что для этого нужно сказать какое-то одно чёткое и разумное слово и что это слово уже незримо присутствует в воздухе. Но в такие дни, как сегодня, люди представлялись ей безнадежными — сознательно невежество, никому ненужная сложность, упрямство, суетность и вспышки паники. Они уверяют, что хотят счастья, и делают всё, чтобы помешать самим себе быть счастливыми. Они — как дети, нарочно сломавшие свои игрушки и теперь в отчаянии ревушие во весь голос. Сестру Файли искренно и глубоко поражало мрачное шутовство её ближних. Но это не мешало ей наслаждаться жизнью. Почему бы и нет?

Пришёл Фред Сколби и привёл — как будто она не могла одна найти дорогу! — высокую, немного горбившуюся девушку с рваной раной на руке. Красивая девушка, но на вид хрупкая и жеманная.

Не будь она такой, Фред Сколби, наверное, отправил бы её одну в клинику!

— Знаете, сестра, что я сейчас говорил ей?— весело начал Фред.— Что я хотел бы заболеть, чтобы можно было ходить сюда и видеть вас.

— А ведь, судя по вашему виду, печень у вас не в порядке,— отозвалась сестра Файли.— Я, пожалуй, дам вам порошков, если вы обещаете принимать их. Ну, как, согласны?

— Спасибо, не беспокойтесь, сестра,— сказал Фред, наблюдая, как она обмывает рану.— Вот удалось вас повидать сегодня — и я уже чувствую себя лучше... Видите, Джойс, я вам говорил, что всё будет в порядке. Работать сегодня этой рукой вы уже не сможете. Но завтра приходите с утра, и я подыщу вам что-нибудь полегче. Обязательно приходите, Джойс, потому что я не хочу, чтобы в моей бригаде были прогулы. Ну, пока!

При таких глубоких порезах в ране иногда застревали мельчайшие осколки металла, поэтому сестра Файли внимательно осмотрела руку Джойс, ещё раз тщательно промыла и уже только после этого начала бинтовать. Работая, она, по своему обыкновению, задавала пациентке всякие вопросы, для того чтобы отвлечь её внимание от ощущаемой боли. Таким образом она узнала все подробности о жизни Джойс дома, в северной части Лондона, о смерти её отца, о магазине на Брутон-стрит. Болтовня девушки о Лондоне, о герцогинях и актрисах была приятным разнообразием и выгодно отличалась от обычных разговоров косноязычных заводских работниц. Но, даже несмотря на это, сестре Файли, скорой на выводы, не особенно понравилась Джойс. Она показалась ей „недотрогой“. Боязливая, унылая замкнутость и хрупкое изящество девушки раздражали здоровую духом и телом сестру.

— Знаете, что я вам скажу?— промолвила сестра Файли, готовясь приступить к перевязке.— Уж больно вы гонитесь за „красивым“. Только и слышишь от вас всё время это слово. Понимаете, что я хочу сказать?

— Нет,— ответила Джойс, внутренне съёживаясь.— Разве вы не любите всё красивое и уютное?

— Нет. То есть не люблю то, что вы разумеете под этим. Я люблю прежде всего чистоту, порядок и всё разумное и полезное — вот как эта поликлиника. Понятно? Затем люблю веселье. Люблю пошутить, поразвлечься. Я не стану ёжиться да раздумывать, будет ли всё „красиво“ и „уютно“. Смотрите, этак можно и жизнь упустить и стать полумертвецом раньше, чем успеете спохватиться.

Джойс нахмурилась. Её зеленовато-карие глаза — очень красивые глаза, это должна была признать и сестра Файли — выражали растерянность и недоумение. Было ясно, что она ничего не поняла, но из почтения к сестре Файли не решалась прямо заявить об этом.

И вот в эту именно минуту, когда обе женщины молчали и поликлиника казалась уединённым островом, бесконечно далёким от всего мира, в неё стремительно ворвался Боб Элрик.

— Вот что, сестра,— начал он и вдруг сразу замолчал и остановился, как вкопанный: он увидел Джойс и стал похож на человека, увидевшего призрак.

Сестра Файли приветствовала его широкой радужной улыбкой. Боб Элрик был главный инженер и сильный мужчина того типа, который ей нравился. И этим летом, на заводском празднике, после весело проведённого дня и после того, как она подвыпила немножко, а Элрик — даже очень си-

льно, они здорово пошалили наедине. После этого между ними ни разу ничего не было. Но ей всегда во взглядах Элрика чудилось обещание. А сегодня... ради кого он пришёл сюда,— ради неё или ради этой девушки? Он так растерялся, что как будто не сознавал, что делает. Это на него не похоже.

Сестра метнула быстрый взгляд на Джойс и убедилась, что та ещё больше прежнего замкнулась в себя и казалась почти испуганной. В чём тут дело?!

— Я сию минуту освобожусь, мистер Элрик,— сказала она, всё ещё улыбаясь.— Вот только перевяжу ей руку.

— А что с ней случилось?— спросил Элрик и, подойдя вплотную к ним, уставился на руку Джойс. Он так смотрел на неё, словно в первый раз в жизни видел женскую руку. Сестра Файли, видевшая их великое множество, сухо пояснила, что произошло.

— Мисс Дирхерст, если не ошибаюсь?— сказал Элрик воркующим голосом, с идиотски-блаженным видом, вызывавшим у сестры Файли сильное желание дать ему затрещину.

— Да,— ответила девушка, взметнув ресницы и чуть не умирая от избытка светской утончённости.— Вы вчера разговаривали со мною в цеху.

— Помню,— промолвил Элрик таким тоном, словно это была чудесная тайна, известная только им обоим.— И сожалею, что вы пострадали. Но порез, кажется, не такой уж глубокий.

— Пустяковый,— поспешно сказала сестра Файли.— Эти раны не страшны, если их сразу как следует промыть и перевязать. Вот только когда их запускают, тогда они могут кончиться печально. У нас сотни таких случаев... Это про-

изошло, вероятно, из-за её неосторожности, — прибавила она с холодной злостью.

— Ну, не знаю...— протянул Элрик. Вот как, он не знает! А ведь совсем недавно, в разговоре с нею, он клял рабочих за их небрежность и неосторожность, которые ведут к несчастным случаям, за то, что из-за каких-то пустячных царапин они сидят дома и теряют драгоценное время!

— Да, я действительно сама виновата, — призналась Джойс. — Простите, мистер Элрик.

Она опять подняла на него свои красивые глаза, и тут его физиономия, конечно, приняла ещё более идиотское выражение. Что на него нашло?

— Ну, вот и готово, — сказала сестра Файли. — Не трогайте сегодня перевязки, а завтра в любое время приходите, я переменю её. Незачем оставаться дома из-за такого пустяка.

— Я и не собиралась, — возразила Джойс и опять посмотрела на Элрика.

— Мистер Сколби сказал мне, что я могу отсюда идти домой, но я как раз сейчас вспомнила, что это невозможно, потому что в эти часы автобусы не ходят. Мой отходит не раньше половины восьмого. Это один из добавочных маршрутов. Придётся где-нибудь подождать.

Она могла бы ждать в поликлинике, но сестра Файли не предложила ей этого, потому что вовсе не желала, чтобы девчонка торчала тут в то время, когда она займётся Элриком. И сестра Файли промолчала.

— Вы знаете, где мой кабинет? — спросил Элрик.

Джойс ответила, что не знает.

— Он в том здании, где контора, на втором этаже, и на дверях табличка с моей фамилией, так что найти легко. Поднимитесь туда, хорошо? Мне кстати нужно потолковать с вами.

Лицо Джайс приняло нерешительное выражение, но она ничего не возразила. Встала, улыбнулась сестре вежливо, как подобает благовоспитанной особе, и пошла к выходу, такая грациозная и милая, с таким безгрешным видом... Элрик смотрел ей вслед всё теми же влюблёнными глазами. Сестра Файли решила во что бы то ни стало стереть с его лица это выражение.

— Ну-с?—спросила она отрывисто.—Чем могу служить, мистер Боб Элрик?

Он сразу стал другой и улыбнулся ей обычной приветливой улыбкой.

— Может, угостите меня стаканчиком?

— Что ж, если вы этого очень хотите...

— Нет, нет, сестра, я пошутил.

— Я так и думала. Ну, что же с вами, рассказывайте? У вас сегодня немного отекло лицо.

Сейчас, когда он стал прежним Элриком, у сестры настроение изменилось. Он снова был для неё свой человек.

— Было б ничуть не удивительно, если б я выглядел ещё хуже. Ничего не поделаешь... Нет, сестра, я пришёл сюда не как пациент... У вас тут, я вижу, тихо. Слава богу!

— Это только сейчас тихо,— возразила сестра.— Вам надо было видеть, какая утром была толчея! Четверых мы отправили в больницу.

Лицо Элрика омрачилось.

— Покажите-ка мне ваш список, сестра. Это никуда не годится! Нам нужно, чтобы все работали, а они болеют. До зарезу сейчас нужны рабочие руки!

„Так-то лучше!“—подумала сестра. Они оба плечо к плечу склонились над списком. Список был длинный.

— Боже милостивый!.. Видано ли что-либо по-

добное?.. Оказывается, у нас не завод, а санаторий!

— Дело обстоит не так плохо, как вам кажется,— утешала его сестра.— В этом списке много людей с простыми порезами и царапинами. Не волнуйтесь!

И она дружески толкнула его локтем. Он ответил тем, что обнял её одной рукой за плечи, и тяжесть этой мужской руки была ей очень приятна. Потом он легонько повернул её к себе, так что она очутилась совсем близко, и держал с минуту, а она подумала, что он хочет поцеловать её, и подставила ему лицо, так что не поцеловать было бы с его стороны непростительно. Но в следующую минуту Элрик выпустил её; это вышло у него естественно и не грубо, и видно было, что мысли его далеко.

Сестра убеждала себя, что ей всё равно. Ведь они только товарищи, добрые приятели.

— А вы знаете, какие причины?— спросил он.

— Да я думаю, никаких нет, Боб,— ответила она, намеренно называя его по имени.— То есть я хочу сказать — никакой эпидемии нет, ничего похожего. Обычный ассортимент больных, только их больше, чем всегда.

— Да, и именно теперь, когда нам это совсем некстати! Хотите знать, отчего к вам теперь ходит больше народу? Им работать надоело, вот отчего!

— Постойте!— воскликнула сестра.— Если вы имеете в виду симуляцию, так знайте, что мы очень редко наталкиваемся на такие случаи.

— Нет, я не о симулянтах говорю. Вы меня не поняли, голубушка. Я не сомневаюсь в том, что у всех, кто к вам приходит, что-нибудь да не в порядке. То они нездоровы, то несчастные случаи... А почему? Потому что им скучно, вот

почему. Им кажется, что на фронте ничего не происходит. Никаких волнующих сообщений — ни радостных, ни страшных. Они не видят настоящей причины готовить нашу продукцию как можно более быстрым темпом. Естественно, им начинает всё надоедать. От скуки они становятся небрежны и рассеянны — оттого столько несчастных случаев. Или их старые болезни напоминают о себе, и они плохо себя чувствуют..

— Пожалуй, вы правы.

— Разумеется, я прав, сестра. Но я не могу долбить этого нашему начальству, которое только цифрами интересуется, забывая, что люди — не машины. С ними спорь хоть до хрипоты, всё равно не втолкуешь им.

Он ещё несколько минут говорил на эту тему. Слушая его и глядя в его мрачное лицо, сестра Файли ощутила вдруг сильное желание хоть на один вечер отвлечь его от всего этого, вкусно накормить, напоить допьяна, дать ему всё, что она может. Она, конечно, знала о его семейных делах, была знакома с его женой и говорила о её болезни с доктором Стэммерсом. Она жалела Элрика. Кроме того, он нравился ей, как мужчина, как товарищ и такой же любитель веселья и наслаждений, как она сама. Будь это в Лондоне или даже в Бирмингеме, где можно в любой момент найти подходящее место для встреч, она бы, недолго думая, предложила ему остаться с нею на ночь. Жить в последнее время стало скучновато, а Элрик к тому же явно чем-то расстроен и, вероятно, переутомился.

Но в то время как она соображала, куда бы им пойти вдвоём, она вспомнила об этой девушке, Джойс, о том, как Боб Элрик смотрел на неё, и решила сперва выяснить это дело, а потом уж предпринять дальнейшие шаги.

— А скажите кстати,—начала она, выбрав удобную минуту,—вы пришли сюда только для того, чтобы поговорить со мною? Мне это, конечно, очень приятно. И я с вами во всём согласна. Но скажите честно, вы для этого пришли?

— Нет, не для этого,—ответил он усмехаясь.—Мне сказали, что Джойс Дирхерст здесь, вот я и пошёл сюда.

Сестра Файли улыбнулась.

— За одно я вас хвалю, Боб Элрик: вы откровенны. Вы не врётё и не прячете своих грехов. Ну, а чего ради вы гоняетесь за этой девчонкой по всему заводу? Что за фантазия?

Элрик, явно смущённый, крепко потёр подбородок.

— Вы должны отдать мне справедливость,—пробормотал он,—я никогда не пристаю к женщинам на заводе, разве только когда нужно выжать из них побольше работы. Все романы, какие у меня были, проходили вне завода.

— Да, я о них кое-что слышала.—Сестра Файли действительно слышала о романах Элрика, но, если бы даже и не слышала, всё равно сказала бы то же самое.—Не воображайте, что до меня ничего не доходит. Как у вас, например, обстоит дело с той тощей брюнеткой в „Короне“?

— Я её не видел уже несколько месяцев. Не верьте сплетням, девушка.

Он смотрел на неё минуту-другую такими глазами, что к ней окончательно вернулось хорошее настроение.

— А знаете, вы славная, красивая бабёнка, мне нравится и ваша фигура и ваш цвет лица.—Он протянул свои сильные руки и обнял её за плечи.—Вы, что называется, настоящая женщина.

— Именно такой я себя и считаю.

Она не вырывалась. С какой стати? Но у неё

мелькнула мысль, что кто-нибудь может войти. Она напомнила об этом Элрику.

— Вы правы, — сказал он, но рук не отнял. — Да я соскучился. Я вас так редко вижу.

Он придвинулся ещё ближе, поцеловал её на лету и отпустил.

— А кто виноват? — спросила она с улыбкой. — Ладно, ладно, не оправдывайтесь. Скажите-ка мне лучше, чего ради вы явились сюда вслед за этой девушкой, зачем отправили её сейчас к себе в кабинет и зачем сказали ей, что вам надо о чём-то с ней потолковать, тогда как, я уверена, вам нечего сказать ей?

— Приблизительно так оно и есть, — отозвался Элрик спокойно, без малейшего смущения. — И я бы сказал вам, что заставило меня притти сюда вслед за нею, но я и сам не знаю. Честное слово, не знаю. Не думайте, что я за нею волочусь. Она не в моём вкусе. Вот вы — женщина как раз по мне, — добавил он ухмыляясь.

Она спокойно посмотрела на него.

— У вас был изрядно глупый вид, когда вы говорили с нею... Вы были на себя не похожи.

— Возможно. Эта девочка как-то странно меня волнует. А ведь я увидел её впервые только вчера! И она смотрит на меня так испуганно, как будто боится, что я её укушу...

Сестра Файли только этого и ждала.

— Да, она из таких... Очень жеманная... с претензиями. Постоянно беспокоится, что не всё может оказаться „мило и прилично“. Не думаю, чтобы она вас находила „милым и приличным“. И она права. Должна вам сказать, между прочим, — добавила сестра Файли с оттенком злорадства, — что девушка эта недоразвита и в достаточной мере малокровна.

К этому она мысленно добавила:

„Нравится тебе это или нет, а проглотить придётся“.

Элрик, видимо, проглотил.— Спасибо за диагноз. Быть может, всё дело в том, что она мне кого-то напоминает... Знаете, как это бывает... Во всяком случае заботит меня не она и не какая-либо другая женщина... Меня заботит завод. И, пожалуйста, не думайте, что если я болтаю здесь с вами, так я своего дела не делаю. Я отлучился на полчаса, потому что сегодня буду работать на заводе до поздней ночи.

— Значит, покутить нам сегодня не удастся, — воскликнула она шутливым тоном, но взгляд её выдавал раздражение.

— Нет, сегодня не удастся, сестра, — сказал Элрик лукаво.— Но у нас впереди другие вечера. Когда выработка начнёт повышаться... когда наши где-нибудь на фронте одержат победу, тогда мы с вами это отпразднуем! А пока будьте панинкой и ждите.

Он вдруг заторопился и ушёл, оставив её одну мучимую каким-то смутным недовольством. Она не была разочарована тем, что не пришлось отправиться с Элриком куда-нибудь и весело провести вечер, потому что и не рассчитывала, что это можно будет устроить так сразу, экспромтом. Нет просто её по временам злило и угнетало то, что она застряла здесь, в глуши, где так мало развлечений и откуда она может ездить иногда только два-три перенаселённых провинциальных городка. Конечно, работа у неё почтенная, трудная весьма необходимая, платят хорошо, но хотелось бы жить повеселее. Слишком много затемнения, урезывания себя во всём, и однообразия. Политическим деятелям в Лондоне хорошо говорить с бодрости. Пусть бы они пожили тут да попробовали быть бодрыми и весёлыми!

И сестра Файли, в последний раз окинув одобрительным взглядом свою безусловно чистую амбулаторию, где всё было наготове на случай какого-нибудь несчастья в ночную смену, вздохнула оттого, что не может погреть ноги у весело пылающего камина и выпить несколько кружек розового джина в обществе какого-нибудь занятого и любезного кавалера.

20

Элрик вихрем влетел в кабинет и застал там свою маленькую секретаршу, Мюриэль Ллойд, и Джойс Дирхерст, которые, внимательно оглядывая одна другую, обменивались осторожными репликами. Он подписал несколько писем и, увидев, что уже семь часов, сказал Мюриэль, что она может „выметаться“.

— Я сегодня поздно уйду отсюда, но утром должен быть на заводе приблизительно в обычное время. А вам оставаться незачем. До свиданья.

— До свиданья, мистер Элрик. До свиданья, мисс Дирхерст,— сказала Мюриэль. И сказала (как с облегчением отметил про себя Элрик) без всякого ехидства, без многозначительной ужимки. Мюриэль, очевидно, не видит ничего подозрительного в появлении здесь этой девушки. И она права.

Он просмотрел какие-то расчёты, лежавшие у него на столе, позвонил по телефону, затем закурил папиросу и посмотрел через стол на Джойс Дирхерст.

— Мистер Элрик, — промолвила она, запинаясь и ответив ему прелестным, тревожным и лучистым взглядом, — я сейчас уже хорошо себя чувствую и могу пойти дожидаться автобуса где-нибудь в другом месте. Здесь я вам, наверное, мешаю.

Когда сестра Файли говорила с ним об этой девушке, Элрик мысленно убеждал себя, что поведение его просто глупо, что ничего особенного нет ни в девушке, ни в его внезапном желании видеть её здесь, подле себя. Но сейчас, когда она сидела в его кабинете, такая сдержанная, непонятная, близкая и вместе далёкая, чары опять начали действовать. И, как тогда, при первой встрече, так и теперь ему казалось, что она пришла из какого-то иного мира, далёкого и страстно-желанного, и что этот мир он может узнать лишь через неё. Самая мысль о том, что она скоро уйдёт от него, пугала и мучила, как смертный приговор.

— Ничего, я сейчас ничем не занят,— услышал он собственный голос, неожиданно резкий.— Как рука, не болит больше?

— Кровь в ней немножко стучит, вот и всё,— ответила Джойс равнодушно.

Больше, казалось, говорить не о чем, не найти ни единого слова. Элрик угадывал, что она уже больше не боится его, как вчера и сегодня в поликлинике, что страх перед ним уступил место безмерному равнодушию. Всё, что бы он ни говорил, не производило на неё ни малейшего впечатления. И эта печальная уверенность делала его, обычно такого живого и разговорчивого, нелепо-молчаливым, словно косноязычным. Он казался себе тупым, скучным, глупым человеком, на которого всякая девушка имеет право смотреть с полнейшим равнодушием.

— Вы...— Пауза.— Вы... в пальто...

Он только сейчас заметил, что на ней уже не рабочий халат, а пальто, что она, очевидно, успела переодеться, собираясь уходить.

Она утвердительно кивнула головой, с некото-

рым недоумением глядя на него. Как тут не удивляться, господи помилуй!

Раздался телефонный звонок — весьма кстати. Элрик ответил на него и, слушая, что ему говорят, посмотрел на Джойс и бегло улыбнулся ей. К его удивлению и восторгу, лицо её утратило безразличное выражение, и она очаровательно улыбнулась в ответ.

— Такие-то дела, — сказал он благодушно, вешая трубку. Улыбнулся снова. — Папиросу хотите, чтобы скоротать время?

— Нет, спасибо. Я не курю. Пробовала, конечно, но мне совсем не понравилось.

Он выслушал это, как сообщение чрезвычайной важности. Достал папиросу для себя и закурил.

— Мистер Элрик, — начала она, краснея и немного волнуясь.

— Да?

— Собственно, это так, пустяки... Только... видите ли, вчера я подумала, что я вам не понравилась, что... что я... хуже других... и то же самое я почувствовала, когда вы вошли во время перерыва. И когда вы сказали, что вам надо поговорить со мною, я боялась, что вы меня хотите уволить. Я спросила вашу секретаршу — она такая милая — и она меня успокоила. Но я ещё сомневалась всё-таки... А сейчас вы совсем другой... Разговариваете так дружелюбно...

Дружелюбно? Гм... Много они понимают, эти женщины. А ещё твердят постоянно о своей пресловутой чуткости... Но что сказать ей? Она открыла ему путь с милю шириной. Она выглянула из своей раковины. Теперь не зевай, Элрик!

— Ну, конечно, я отношусь к вам дружески, — сказал он раньше, чем успел что-нибудь придумать. — А вчера вы ошиблись. Это я виноват. Такая уж у меня манера разговаривать. Привык,

знаете ли, иметь дело с грубым народом. А ведь я остановился и спросил вашу фамилию потому, что вы мне показались не похожей на большинство наших работниц. И вы действительно не такая, как они...

— Да, это верно.

Вы такая хорошенькая... и такая... изящная. („Господи помилуй, что я говорю?“), так приятно отличаетесь от большинства, что я захотел узнать, кто вы такая. Это может оказаться полезным для меня и для вас тоже, Джойс. Например, нам может потребоваться девушка вашего типа в качестве представительницы завода... или для чего-нибудь в таком роде... понимаете?

Да, она понимала — и сразу ожила: насторожилась, заинтересовалась.

Он подошёл к ней и протянул руку, которую Джойс, конечно, не могла оставить висеть в воздухе. Рана была на левой руке, и она естественным, непринуждённым жестом подала ему правую. А он удержал её в своей на те несколько мгновений, пока она грациозно вставала со стула, глядя ему в глаза. Он завладел этой рукой без всякого усилия, просто сжал её легонько и смотрел сверху на её тонкие белые пальцы. Огромная нежность, в которой смешались радость и боль, затопила ему сердце. Уже много лет — а может быть, и никогда? — не волновало его так присутствие чуждой, непостижимой, но прекрасной женщины. словно он сквозь просвет в облаках увидел незнакомый мир. Джойс была для него в этот миг уже не человеческим существом, а золотой далью, превосходящим всякое воображение даром, обетованным раем. Элрик видел перед собой не Джойс Дирхерст, а воскресший образ собственной души.

Девушка вряд ли сознавала, что прочла в его

глазах, какие таинственные токи перешли из его руки в её руку. Но так сильны были чары, созданные глубиной его чувства, что она стояла молча, не двигаясь. Совершенно пассивная, словно за- гипнотизированная, она не сводила с лица Элрика расширенных и посветлевших глаз, в которых читался вопрос. Рука её немного дрожала, как только что пойманный мягкий зверёк. Так они стояли оба, отрешившись от всего окружающего, забыв обо всём, вне времени.

Оглушительный гудок, возвещавший половину восьмого, словно ударил их в лицо. Весь мир, казалось, с воплем обрушился на них. Джойс сделала попытку выдернуть руку, но Элрик только крепче стиснул её.

— Мне пора,— сказала она беззвучным, немного неуверенным голосом, как человек, заговоривший в первый раз после долгих месяцев молчания.

Элрик тоже с трудом овладел голосом.

— Нет, нет, не надо уходить. Вы можете ещё побыть здесь несколько минут.

Но, говоря это, он знал, что делает ошибку, что время и действительность вернулись, что глупо с его стороны пытаться удержать подольше эту девушку.

Она ещё не успела двинуться с места, и Элрик ещё держал её руку в своей, когда кто-то быстро постучал в дверь и сразу же распахнул её. Элрик сердито обернулся. Джойс вырвала руку.

— Мне надо идти, мистер Элрик,— сказала она.— Иначе я пропущу автобус. До свиданья.

И она торопливо прошла мимо стоявшей в дверях Гвен Оклей.

Элрик был рад, что это только Гвен, старый товарищ и славная девочка. Но, ещё сердясь на то, что ему помешали, он молчал и вопросительно

смотрел на вошедшую. У бедной Гвен, как всегда на щеке было грязное пятно, руки черны, фартук засален — настоящий подмастерье. Можно было подумать, что она нарочно лазала среди машин, чтобы измазаться.

По лицу Гвен трудно было что-нибудь угадать. Но Элрику показалось, что она взволнована. Вероятно, в цеху что-нибудь неладно. Гвен ведь очень серьёзно относится к работе.

— Эта девушка, — сказал Элрик как можно небрежнее, — только что начала у нас работать и уже успела повредить себе руку.

Гвен кивнула головой.

— Я говорила с нею сегодня утром, — сказала она так, словно это было очень важное обстоятельство. — Она очень красивая, правда?

— В ней есть что-то своеобразное, — отозвался Элрик. — Ей всё здесь чуждо, она раньше служила в шикарном ателье в Вест-Энде и сейчас как-то растерялась в новой обстановке.

— Так вот отчего вы держали её за руку?

— Да, — пробормотал Элрик, недоумевая, почему у Гвен сегодня такой странный голос и странное выражение лица. Быть может, Джордж Оклей, за которого ей безусловно не следовало выходить замуж, опять причинял ей неприятности, грозил, что вернётся, или что-нибудь в таком роде?

— Да, теперь приходится пожимать им ручки. Это входит в мои обязанности, Гвен. Нужно всячески ублажать их. Вы не поверите... Тем более, что послезавтра приезжают люди из министерства... Я сейчас хочу в перерыве между сменами посмотреть, всё ли внизу в порядке, так что проводите меня и по дороге расскажете, что у вас не ладится.

Они прошли на галерею главного здания и, перегнувшись через перила, смотрели на затихшие

теперь, неподвижные машины. Тишина и безлюдье в огромном помещении, как всегда, производили странное и глубокое впечатление.

— Кстати, не пропустите автобус, Гвен.

— Мне автобус не нужен. Разве вы забыли, что у меня свой мотоцикл?

Можно подумать, что он имеет какое-то отношение к её мотоциклу и обязан помнить о нём! Тем не менее Элрик в своё оправдание хмыкнул что-то неопределённое и затем спросил, какое у неё дело к нему.

— Меня заботит одна вещь, Боб... Здесь я могу называть вас Боб, да?

— Господи, разумеется! Не только здесь, а где угодно! Разве мы не старые товарищи, чорт возьми!

Она стояла к нему очень близко, прислонясь, как и он, к перилам. Произнеся последние слова, Элрик дружески просунул руку под её локоть, Почему-то слегка вздрогнув, Гвен прижала к себе эту руку и придвинулась ещё ближе, так что он ощущал прикосновение её левой груди к своему плечу. Он почему-то никогда не думал, что у Гвен есть груди. И ведь груди, оказывается, далеко не плохие... Он вдруг сделал дурацкое замечание:

— Моё правое плечо очень удивлено.

— Вот как?— воскликнула она сердито.— Ну, и пусть будет удивлено.— Она немедленно высвободила руку и отодвинулась от Элрика, не глядя на него. А он смотрел на её повернутое к нему в профиль гневно нахмуренное лицо с большим грязным пятном на щеке, и ему было смешно и почему-то жаль Гвен.

— Ну, ну, не злитесь, Гвен, я просто пошутил. Я вовсе не хотел вас обидеть. Рассказывайте же, в чём дело?

Гвен больше не сердилась.— Вот что, Боб: по заводу пошли разговоры о том, что начальники ссорятся между собой,— сказала она медленно.— Некоторые уверяют, что либо вам, либо Блэндфорду скоро придётся уйти. Я решила, что вам об этом следует знать.

— Разумеется. Хорошо, что вы мне сказали, Гвен. Но кто же занимается такими разговорами?

Не глядя на него, Гвен промолвила:

— Не хочется мне говорить об этом здесь. Может, встретимся сегодня вечером где-нибудь да, кстати, выпьем по стаканчику?

— Сегодня не выйдет, Гвен. Я до поздней ночи буду на заводе. Как-нибудь в другой раз.

— Что ж, раз нельзя...— Голос её был как-то слишком ровен и беззвучен.— Я не думаю, чтобы это было так важно... Но об этом толкуют некоторые из мастеров и помощников и, конечно, брюзжат. Хотя они не все против вас, но я решила вас предупредить...

— Между прочим, я ничуть не удивлён, — заметил Элрик.— Я об этом догадывался. Я почти всегда угадываю такие вещи задолго до того, как они мне становятся известны: они носятся в воздухе. Кроме того, у нас сегодня была небольшая перепалка с Блэндфордом в присутствии кое-кого из мастеров — старика Боулса, Гейстона и двух-трёх других. И сейчас они, небось, уже состряпали историю под горячим соусом и угощают ею публику... Такие-то дела, Гвен...

— А на заводе всё в порядке, Боб?

— Наш завод — один из лучших, Гвен, и министерство не может этого отрицать. Но врать не буду: у нас всё идёт не так хорошо, как раньше. Мы выпускаем самолёты не так быстро, как бывало, и далеко не так быстро, как сейчас требует-

ся. Но, разумеется, в этом виновата тысяча всяких обстоятельств, в том числе и положение на фронте...

— А половина этих дур, которых сейчас набрали на завод, даже не знает, что идёт война! — воскликнула Гвен злобно. — Хороши бы они были в сороковом году, когда мы работали до упаду и сирены выли чуть не каждый час!

— Ну, большинство этих новых и тогда работали бы как следует.

— Да, вы, конечно, будете защищать их! — Гвен пришла в настоящее бешенство.

— Что вы хотите этим сказать? Почему бы мне не защищать их? У меня своя точка зрения. В сороковом люди переживали подъём, у них был... стимул к работе. И наши нынешние рабочие работали бы так же сейчас, если бы у них был такой стимул. А его нет... Ну, спасибо Гвен, и если разговоры не затихнут, сообщите мне... Пойду поработаю. А как-нибудь в свободный вечер мы с вами обязательно выпьем!

Гвен кивнула головой и, не сказав ни слова, ушла с галереи одна, не дожидаясь его. А Элрик ещё постоял, закуривая. Громадный опустевший зал наводил на него смутную тоску. Он стоял и думал о Гвен. Славная женщина, и он давно привык считать её одним из своих лучших друзей на заводе. Непременно надо будет как-нибудь на-днях поужинать с нею. Давно они не встречались вне завода. Но неужели она начнёт бегать к нему с каждой сплетней, которую услышит, и вести себя при этом так странно? У него и без того голова кругом идёт! Может быть, ему следовало промолчать на совещании и выждать ещё завтрашний день, пока вернётся мистер Чевииот? И зачем он вёл себя, как влюблённый мальчик, во время разговора с этой девушкой? Джойс...

Джойс... Он достаточно стар, чтобы быть благодарнее. Нашёл время размякнуть и валять дурака у себя в конторе!

В то время как Элрик медленно возвращался к себе в кабинет, занятый вопросами, на которые не было ответа, в дальнем углу женской уборной Гвен Оклей впервые за много месяцев плакала навзрыд, тщетно пытаясь заглушить рыдания.

21

Да, слухи так и жужжали вокруг. От ворот, которым грузовики подвозили сырьё, через весь громадный завод, до самого аэродрома и комнаты высоко над ним, где помещались три лётчика испытателя, постоянно циркулировали эти слухи. Главным образом, конечно, среди мастеров, и подручных и старых рабочих. Говорили, что на Элмдаунском заводе выпуск продукции сильно нырнул вниз, что министерство ведёт специальное расследование и мистер Чевииот вызван в Лондон для объяснений, что среди руководства полнейший раскол, что Элрику придётся уйти, что Блэндфорд собирается уходить, что, возможно, произойдёт полная реорганизация. Ни один из этих слухов не был правдой, но они не были и совершенно ложны. Они не противоречили фактам, а только раздували или искажали их. Поэтому слухи эти так же трудно было отрицать, как и подтвердить, и они росли и ширились. Для того чтобы они подхватывались, вовсе не было необходимости, чтобы люди вполне верили им. Уже самое наличие их приносило большой вред. Они заставляли людей задумываться, создавали растерянность, тревожную атмосферу и, таким образом, ослабляли рвение рабочих. Когда в воздухе носят

ся такие слухи, людям кажется, что глупо гнать во-всю, как раньше, надрываться за работой. Никто не бездельничал сознательно, до этого ещё не дошло, но теперь работавшие не видели особого смысла в том, чтобы подтягиваться самим и подтягивать других, поддерживать максимально быстрый темп работы. Весь коллектив завода походил на человека, у которого кружится и побаливает голова. В таком состоянии всё кажется не таким уж важным.

Сэмми Хемп, конечно, был в курсе всего происходящего. Он вообще был как бы маленьким, уродливым наперсником того многоголового существа, которое называлось заводским коллективом. Зарабатывая меньше всех, неся ответственность не бóльшую, чем может нести человек, развозящий на тележке чай или орудующий метлой, Сэмми тем не менее узнавал новости, касающиеся завода, задолго до того, как они доходили до остальных. Можно было подумать, что он полдня прячется под письменным столом мистера Чевииота и подслушивает всё.

В это утро, придя по какому-то делу в центральный склад завода, где у него имелся приятель, Томас Вулер, Сэмми, к своему удивлению и огорчению, убедился, что даже до Томаса Вулера уже дошли кое-какие неприятные слухи. Они проникли в склад! Дело становилось серьёзным.

Склад вовсе не отстоял далеко от главного здания: он, естественно, находился в центре его. Несмотря на это, он казался уединённым и изолированным. Здесь не было грохота, ослепительного, резкого света, здесь не бился нервно пульс механических цехов. Атмосфера была спокойная, торжественная, чуть не благоговейная. Здесь все ходило как будто на цыпочках между высокими стенами нагромождённых друг на друга ящиков

и нумерованных мешков. Здесь говорили, понизь голос. Здесь всё делалось неторопливо, истово старательно. Здесь не слышно было женской трескотни, хотя за последнее время появилось несколько приличных, степенных женщин. Здесь признавали этих новомодных глупостей — музыки по радио во время работы. Скорее, кажется, вы могли ожидать, что увидите, как Томас Вулэ пляшет матросский танец.

Томас вовсе не был заведующим, но посетители не хотели этому верить, настолько он гармонировал с обстановкой и был здесь в своей стихии. Это был мужчина средних лет, низенький, но очень широкий в плечах, без шеи и с нелепо коротенькими жирными, кривыми ногами. На всём заводе не было человека серьёзнее Томаса. Получая какие-нибудь товары — хотя бы только несколько винтов — из рук Томаса, вы чувствовали, что принимаете участие в каком-то священном ритуале, полном глубокого смысла. Томас говорил медленно, веско и многозначительно, как оракул отягощённый, казалось, некоей вестью колоссальной важности, которую он должен сообщить этому суетливому, безумному миру, но ещё не успел это сделать. Нескольких своих близких приятелей к которым принадлежал и Сэмми, Томас Вулэ благодетельствовал лишь одним: позволял и иногда испить из источника его мудрости.

— Сэм,— сказал в это утро Томас,— Сэм, слышал несколько вещей, которые мне не понравились.

Сказано это было очень медленно, очень серьёзно, таким тоном, как читают смертный приговор.

— Да, Томас, ходит множество всяких басен, — отозвался Сэмми не так весело, как обычно. — И это уже давно. Но с некоторых пор сплетни просто удержу нет, отчасти потому, что не

мистера Чевюта. Сегодня, к сожалению, я слышал опять целую уйму всякого вздора...

— Не буду называть имён,— продолжал Томас и, найдя в этой фразе некое благородство и внушительность, повторил её ещё раз:— Нет, Сэм, я не буду называть имён.

— И очень хорошо сделаешь. Нет имён, никто не в ответе... не нравится мне всё это... Помнишь, Томас, как было... Когда же это? Да в начале сорокового года. В год „липовой“ войны, как её тогда называли. Ещё была такая песенка: „Старый Пакостник объявил нам Липовую войну“, помнишь? Ну, такая же точно кутерьма началась тогда у нас на заводе. Ох, что творилось! Рабочие уходили в армию, поступали новые, и завод месяцами ничего не выпускал. А потом всё снова наладилось.

— Когда я говорю: „Никаких имён“, — сказал Томас, не любивший, чтобы его перебивали, когда он излагал свою точку зрения,— я имею в виду имена тех, Сэм, кто мне рассказал об этом. Вот и всё. Мы можем обойти их молчанием. Просто-напросто обойти их молчанием.

Физиономией Томас немного напоминал варёного судака, а глаза у него были, как жидкий студень. Сейчас его лицо придвинулось так близко к Сэмми, что Сэмми разбирал смех, но он понимал, что смеяться никак нельзя. Нельзя обижать доброго старого Томаса. И, кроме того, они не просто беседуют, они, собственно, заняты делом, если можно применить такой термин к Томасу, движения которого, медлительные и тяжеловесные, напоминали движения дрессированного слона, который бреется на арене цирка.

— Вот это верно! — сказал Сэмми весело.— Ты совершенно прав, Томас. Так безопаснее для всех.

— Но, разумеется,— продолжал Томас, ещё ме-

дленнее обычного,— я считаю, что могу себе позволить, Сэм, назвать имена тех, о ком мне передавали слухи. Иначе получается бэссмыслица... Поймай, Сэм, погоди,— добавил он, неожиданно возвращаясь к деловой части их беседы,— вам нужен номер пять, а не номер шесть.

Они находились в одном из дальних закоулков склада, где было тихо. Из механических цехов сюда доходили только слабый гул и звуки, похожие на шум отдалённого водопада, и ничто больше не напоминало о тысячах людей, день и ночь работавших так близко отсюда. Это местечко располагало к обмену мнениями и философским рассуждениям.

— Мистер Блэндфорд, о котором они говорят,— начал Томас, найдя требуемый номер пять и глядя пристально и укоризненно на Сэмми,— мистер Блэндфорд, можно сказать, для меня новый человек. Он здесь не так давно, и я недостаточно с ним соприкасался, чтобы составить себе суждение о нём.

Невозможно описать, с каким достоинством и категоричностью Томас произнёс последние слова. Это была одна из его любимых фраз, пленявших его своей высокопарностью.

— А твоё мнение, Сэм?

— Понимаешь, Томас, я уже говорил тебе недавно, что мистер Блэндфорд меня не жалует, хотя я ему ничего дурного не сделал. Ну, и я тоже не могу сказать, чтобы я его любил. Когда мистер Чевит говорит со мною,— а он редко пройдёт мимо, чтобы не перекинуться словом-другим,— так он говорит просто, как человек с человеком, понимаешь, Томас? Мы знаем, что он навэрху, а я внизу, что он в неделю зарабатывает то, что я в год; а то и больше, пожалуй, что он всем тут приказывает, а моё дело только исполнять приказа-

ния других. Ну и что ж? Всё-таки он разговаривает со мною, как человек с человеком. А Блэндфорд смотрит на меня, как на пустое место. И когда я говорю, что он меня не любит, это не значит, что просто я ему не нравлюсь, как бывает, что один человек не нравится другому. Нет, он смотрит так, как будто хочет спросить: „И зачем это мистеру Чевииоту понадобилось, чтобы здесь болталась всякая шушера?“ Но для начала я его готов, как говорится, оправдать за отсутствием улик. Такое уж у меня правило.

— Не пойму, о чём ты говоришь, Сэм,— сказал Томас.— Придётся тебе объяснить всё толком, если хочешь, чтобы я составил себе суждение.

— Видишь ли, эти образованные люди вначале бывают очень застенчивы. Да, да, Томас, этому трудно поверить, но это так. Некоторые от стеснения не знают, куда глаза девать. Вот у нас новый служащий, Энглби, серьёзный такой паренёк в очках, и дельный, говорят, так он первые дни очень смущался. Разговаривает с тобой, а сам в глаза не смотрит, понимаешь? Теперь по привычке и перестал стесняться. Ну, а мистер Блэндфорд — нет; я его хотя и не обвиняю „за отсутствием улик“, как говорится, но, по-моему, тут совсем другое дело. Он не то что просто задаётся, как некоторые задаются в первое время после их продвижения. Таких, как Блэндфорд, не продвигают. Он сам себя продвигает с того дня, как родился, и так высоко себя ставит, что не замечает никого из нас, не хочет даже снизойти до того, чтобы разглядеть нас по-настоящему. И никто не знает, что у такого человека на уме. У него своя цель, но вы не узнаете какая. Одно ясно, Томас: его цель — не наша цель. Ты хотел услышать моё мнение, Томас, так вот оно...

Им помешало разговаривать пришедший за това-

ром ученик, с лицом круглым и румяным, как яблоко, такой юный, словно вчера только со школьной скамьи. Он протянул Томасу какую-то грязную бумажку.

— Пожалуйста, мистер...

Томас сурово посмотрел на него.

— Я вас, молодой человек, как будто вижу впервые. Новичок?

Мальчик подтвердил, что он работает совсем недавно.

— А звать как? — осведомился Томас с усиленной важностью.

— Рэндольф Перкинс, — пролепетал мальчик с видом человека, которому его имя причинило в прошлом большие неприятности.

— Чем занимается отец?

— Он в армии.

— Где именно?

— Мы не знаем, где он сейчас, — ответил Рэндольф с огорчённым видом. — Его отправили в Сингапур.

— Так... Надеюсь, тебя послали ко мне не за стеклянными молотками и не за отвёртками для левши? — сказал Томас, взяв от него грязную бумажку. — Нет, всё в порядке. Подожди здесь, парень.

Оставшись наедине с мальчиком, Сэмми дружески подмигнул ему. Рэндольф сразу просиял.

— Разве здесь есть стеклянные молотки? — спросил он.

— Нет, конечно. В прежние времена у нас любили подшутить над новичками и посылали их за всякими такими вещами, — пояснил Сэмми. — Первые недели их посылали за всякой ерундой, которой и на свете-то нет. Ну, а теперь другое дело... война! Ты живёшь дома, у матери, Рэндольф?

— Да. У меня есть ещё два брата и сестрёнка, но я самый старший. Мама плакала вчера, когда я уходил на работу. Не знаю, почему, но плакала. А сегодня я встал раньше, чем она! В четверть седьмого, вот когда!— добавил он с гордостью.— У меня есть будильник, мне дедушка подарил.

— Ты где работаешь, у Джока в учебном?

— Да. Он меня и послал сюда. А вы здесь на складе?

— Нет. Я по всему заводу работаю, сынок. Всякую работу выполняю.

— А мой дядя строит военные суда. Но, по-моему, самолёты строить интереснее. Мне нравится делать самолёты. Вчера я обрабатывал деталь самолёта, и Джок сказал, что сегодня буду делать уже другую деталь. А что, в столовой опять будет представление?

— Да, но не такое, как вчера. Может быть, музыка, а, может, что другое. Во всяком случае пудинга будет вволю. Любишь пудинг?

— Вчера в столовой один человек, что сидел рядом со мной, съел свой пудинг раньше, чем я успел приняться за свой,— сказал Рэндольф серьезно.— Ел и всё время строил мне гримасы. Потом говорит: „На твоём месте, парень, я бы такой дряни и в рот не брал“. А я говорю: „Так зачем же вы свой съели?“ А он отвечает: „Я другое дело“. И все засмеялись. Я сразу понял, что он это нарочно говорит. Я потом дома попробовал так пошутить, но никто не догадался, даже сестрёнка — и та не поняла, что я это в шутку.

Вернулся Томас, неся то, за чем послали на склад Рэндольфа.— Вот, мальчик, отнеси это Джоку, да смотри не останавливайся нигде по дороге.

— Не буду, — заверил его Рэндольф. — До свиданья.

— До свиданья, — ответил Сэмми.

Они смотрели, как он шёл к двери. Пушок на ватылке был такой по-детски невинный, ещё невиннее, чем румяные щёки.

— Каких теперь ребятишек берут на завод! Ведь только что из яйца вылутился, ей-богу! Что-то он увидит в жизни, когда вырастет?

— Одного во всяком случае он не увидит,— сказал Томас сурово. — Никакие Чемберлены тогда не будут ездить в гости ни к каким Гитлерам... Да, так я говорил, Сэм, что этот мистер Блэндфорд, о котором люди столько болтают, для меня человек новый. И если он такой, как ты описываешь, Сэм, тогда пусть и остаётся для меня новым. Но Боба Элрика я, разумеется, отлично знаю.

— Как и все мы, Томас. То есть я хочу сказать — все старые работники.

— У нас с ним бывали громкие разговоры,— продолжал Томас. — Не раз, когда он говорил одно, я говорил другое — прямо в глаза ему.

— Да, помню, я раз был при этом,— заметил Сэмми. — Он накинулся на тебя, как бешеный, Боб Элрик то есть, но ты крепко стоял на своём, Томас, и спуску ему не давал.

— Я стоял на своём, Сэм. И всегда буду стоять на своём. Мне всё равно, что он главный инженер. Он тогда обругал меня всякими словами, какие только мог придумать, прескверно обругал и ушёл в ярости. А на завтра пришёл опять, Сэм. Да, пришёл опять и говорит: „Слушайте, вы, упрямый старый чорт, ведь вы были правы, а я неправ. Так что я беру свои слова обратно, и за мной кружка пива“, — говорит. И через несколько недель вспомнил ведь про это как-то раз в субботу вечером и поставил мне кружку пива. Вот это я называю человеческими отношениями!

— И я тоже! — воскликнул Сэмми. — Я заслу-

шался, как эти новые ругают за глаза Боба Элрика, особенно в последнее время, и сказал одному из них: „Боб Элрик выпускал самолёты, когда ты ещё сидел дома да почёсывался“. И рассказал им, как вёл себя Боб Элрик здесь после Дюнкерка; работал, как бешеный, круглые сутки, помнишь, Томас? У него тогда глаза под лоб ушли. Раз вечером идёт и здорово качается, а одна из новых работниц и говорит: „Фу, безобразие! Он пьян!“ А я отвечаю: „И не думает быть! Он вот уже две недели капли в рот не брал. Это он от усталости, ведь все ночи работает, не спит“. Да, Боб Элрик показал себя тогда...

— Так что же на него теперь нашло, Сэм?

— Всё это пустое, Томас. Зря болтают. Он что-то заскучал и злится. Ну и накидывается иной раз на кого-нибудь. Только и всего. Вот ещё на-днях он сказал мне: „Всем нам,— говорит,— до смерти всё надоело, Сэмми, всем, кроме вас. И вам бы надоело, если бы у вас было больше ума в голове...“ Да, Томас, кое-кто очень скоро услышит от меня парочку крепких слов за Боба Элрика. Тошно слушать их дурацкое шушуканье!

— Значит, ты не веришь, что он сбился с пути, Сэм?— спросил Томас серьёзно.

— Нет, не такой он человек. Он немножко не в себе, вот и всё. Погоди, встряхнётся. Вот одержим какую-нибудь победу на фронте или нас где-нибудь порядком потрепят и опять начнут вопить: „Больше самолётов!“— тогда вы все увидите, как будет работать Боб Элрик! Искры полетят! Стой за него, Томас, стой за него!

— Спасибо, Сэм, буду стоять за него горой. Ты мне помог составить себе мнение.

Он помолчал и затем объявил с неопишуемой торжественностью:

— И если я услышу опять эту бесстыдную

болтовню, я положу ей конец! Да, Сэм, я положу ей конец!

Но хотя Томас и обещал положить этому конец, слухи всё жужжали да жужжали по всему заводу, растерянность росла, росла тревога, и темп работы неизбежно ослабевал.

22

Мисс Шиптон добросовестно старалась отдавать всю себя работе. Но её разбитая теперь личная жизнь настойчиво требовала внимания, и она не могла притворяться перед самой собой, будто собственная жизнь имеет для неё меньше значения, чем жизнь других женщин на заводе. К тому же она провела весьма мучительную ночь, почти без сна, и чувствовала себя выпотрошенной. Вчера вечером, после работы, у неё был короткий разговор с мистером Болтоном, и он, со свойственной ему невозмутимой серьёзностью, повторил ей опять то, что сказал днём: что жене Герберта уже с некоторых пор, — мистер Болтон предполагал, что года два, — известно о связи Герберта, но она решила молчать и ждать, надеясь, что рано или поздно это (по её собственному выражению) „пронесётся“. И мисс Шиптон чувствовала, что оно уже „пронеслось“. То, что жена Герберта так давно знает о их связи, и, зная, ничего не предпринимала, почему-то резко изменило отношение мисс Шиптон к Герберту. Он казался ей другим, не прежним. Она не узнавала и себя самое, и любовь их лежала перед нею разбитая вдребезги. Она не сердилась на Герберта, не сердилась ни на кого. Она просто казалась себе ничтожной, жалкой, достойной презрения, она была ошеловлена и растеряна. Мистер Болтон явно уклонял-

ся от беседы на эту тему. Он не то чтобы осуждал её или Герберта, хотя она поняла из его слов, что Герберт ему никогда особенно не нравился. Нет, он как будто смотрел на всё это запуганное дело с далёкого расстояния. Быть может, это объяснялось пережитой им трагедией, о которой он никогда не упоминал. Мисс Шиптон чувствовала острую потребность объяснить всё, оправдать свою связь с Гербертом перед этим непонятным серьёзным человеком, но он не проявлял ко всему этому ни малейшего интереса, и ему явно было всё равно, увидит ли он её ещё когда-нибудь, или нет. Это попеременно бесило и угнетало её, но больше всё-таки угнетало.

Со вчерашнего вечера она успела написать три длинных прощальных письма Герберту, дружеских, нежных, без единого слова страсти,— и изорвала все три. Она всё ещё сидела за этим письмом. Надо было написать и отослать его как можно скорее, так как она решила порвать с Гербертом. Даже и тут её обуревали противоречивые чувства. То ей казалось, что теперь настоящая жизнь кончилась, то, через минуту, она испытывала странное облегчение, как будто в глубине души давно уже хотела уйти от Герберта.

А работа всё накоплялась да накоплялась, ничего не желая знать о Герберте. И оттого, что она не в состоянии была уделить этой работе должного внимания, мисс Шиптон злилась на неё, злилась и на себя. Но больше — на работу. „Ох, эти женщины!“

Одна из „этих женщин“, перезрелая, весёлая неряха, миссис Рули, с которой уже и раньше немало было хлопот, вплыла сейчас в контору с заискивающей улыбкой, но дерзким, насмешливым взглядом.

— Мисс Шепердсон... — начала она.

— Моя фамилия Шиптон, миссис Рули. Право, вам пора бы это знать...

— Ах, извините, мисс Шиптон. У меня знакомая есть Шепердсон, вот я всегда и путаю. Но она здесь не работает. Она может сидеть дома, потому что её муж работает на этих новых аэродромах и приносит такую уйму денег... честное слово, это просто разврат! Да вот сами посудите: встречаю я её на той неделе...

— Не будем терять время, миссис Рули,— резко перебила её мисс Шиптон. — Если в а с работа не ждёт, так я занята.

— У меня работы нет. И не будет до обеда. У нас теперь постоянно простой. Вот я и надумала пойти наверх и потолковать с вами, мисс Шиптон.

— О чём?

Мисс Рули помолчала минутку, отвела дерзкие глаза и затем объявила, что она беременна. Мисс Шиптон сначала не удивилась, но затем, что-то вспомнив, заглянула в лежавшую на столе тетрадь, чтобы проверить, не ошиблась ли она.

— Но позвольте, миссис Рули,— сказала она, подняв глаза от тетради,— у меня тут записано, что ваш муж вот уж два года находится в армии на Среднем Востоке.

— Это верно,— подтвердила миссис Рули.

— Тогда как же...

— Вы хотите сказать, что этот ребёнок не от мужа,— подхватила миссис Рули любезным тоном, как бы желая вывести мисс Шиптон из затруднительного положения. — Ну да, не от него.

Мисс Шиптон с возмущением уставилась на неё.

— Ваш муж пошёл сражаться за нас, а вы в это время...

— Это верно. Неудобно получается, конечно,

но что поделаешь. Так уж мы устроены, мисс Шиптон. Против природы не пойдёте...

— Нет, пойду! — крикнула мисс Шиптон. — И вам должно быть стыдно, миссис Рули! Что скажет ваш муж?

— Этот Тэд — товарищ моего мужа, — пояснила миссис Рули уже серьёзно. — И он мне написал — мой муж то есть — в письме: „Присмотри за Тэдом“. Тэд — он матрос и четыре раза нарывался на мину. Ну, приехал он, и я о нём заботилась, как только могла, насколько время позволяло, конечно, — ведь я работаю. Но, надо вам сказать, он парень расторопный. Моряк, известное дело: и уберёт чистенько, и даже ужин раза два стотовил сам к моему приходу. Ну, конечно, в кино ходили вместе... Выпьем потом по стаканчику, сидим, разговариваем. Дальше — больше, знаете, как это бывает: не успеешь опомниться — и готово, влипла!..

— Ну, знаете!.. — начала было мисс Шиптон с негодованием, но вдруг осеклась, не придумав, что сказать. Мужу этой женщины следовало быть умнее и не посылать к ней матроса. Мистеру Рули надо бы знать свою миссис Рули... И ей ли, Эдит Шиптон, которая вешалась на шею Герберту, ей ли осуждать эту женщину, пригревшую моряка?

И она умолкла, не dokonчив своей гневной реплики, но смотрела на стоявшую перед ней женщину всё так же сердито.

— Некоторым легко говорить, — продолжала миссис Рули. — Но не все же люди одинаковы. Что вам противно, мне, может быть, кажется совсем другим. Поверьте, я была моему мужу доброй женой. И я его не просила уезжать бог знает куда на целые годы! И когда приходит этакый славный парень, одинокий и четыре раза ранен-

ный минами и всё такое, да ещё к кому же несчастный, потому что ему изменили, и подло изменили, — добавила она сурово, и глаза её засветились воспоминанием о ночных задушевных беседах, — как тут его не пожалеть, не порадовать? И сама не заметишь, как это случится... Так уж человек устроен... Конечно, я про себя говорю, — вы, наверное, не такая... Если ко мне подойти по-хорошему, я отказать не могу... Сердце у меня всегда было доброе...

— Боюсь, вы скоро пожалеете, что были такая добрая, — сказала мисс Шиптон, хмуря брови.

Миссис Рули покачала головой и улыбнулась, похожая в эту минуту на потрёпанную богиню плодородия. И в наглom взгляде, брошенном ею на мисс Шиптон, сверкнул огонёк насмешливого презрения, говоривший о том, что она считает мисс Шиптон засушенной, бесплодной старой девой, пародией на женщину. Мисс Шиптон почувствовала это и разозлилась.

— Что ж, сейчас я ничего для вас сделать не могу, — сказала она резко. — Вы можете работать ещё три-четыре месяца. Но если хотите послушаться моего совета, — напишите обо всём мужу.

Она ожидала, что её слова сотрут улыбку с лица женщины. Но этого не случилось.

— О, с этим всё в порядке, мисс Шиптон, — сказала миссис Рули весело. — Я ему уже написала. Он знает, от кого я беременна. „Вот тебе твой Тэд!“ — написала я ему. А теперь я сказала и вам, так что сделано всё, что требуется, верно? До свиданья.

Этот разговор, оставивший по себе неопределённое, но неприятное ощущение сделанного ею промаха, не улучшил настроения мисс Шиптон и не помог ей справиться с утренними делами. Она сорвала злость на нескольких ни в чём не повин-

ных людях, с которыми ей пришлось разговаривать по телефону. А одна из чертёжниц, зашедшая спросить, как обстоит дело с драматическим кружком, немедленно ретировалась обратно в чертёжную и объявила, что мисс Шиптон чуть не откусила ей голову. Даже мистер Проскот встретил немногим лучший приём.

Он вкатился, красный, сияющий, видимо, с самыми радостными новостями. И это, разумеется, раздражило мисс Шиптон, уверенную, что его новости — очередная ерунда.

— Наконец-то нам немного повезло! — воскликнул мистер Проскот. — Из управления звонили, что им нужны две работницы авиазавода для участия в специальной большой радиопрограмме. Спрашивали, не можем ли мы командировать таких. Как раз то, что нам нужно!

И, как переигрывающий актёр, мистер Проскот потирал руки и улыбался ещё шире обычного.

— Что ж, — сказала мисс Шиптон. — Думаю, что мы можем подобрать двух подходящих девушек.

— Ну, конечно, можем подобрать. И не двух — десятки. Ничего нет легче. Я в восторге. И мистер Чевиот будет доволен, когда узнает. Он приезжает завтра. Понимаете, мисс Шиптон, это как раз то лекарство, которое нам нужно, чтобы поднять настроение рабочих. Я только что рассказал об этом Элрику, и он со мною согласен, что это всех встряхнёт. Так делают, конечно, и русские...

— Знаю, — сказала мисс Шиптон тихо и без всякого выражения. — Но русские делали ещё много других вещей. Например, они сделали революцию.

Мистер Проскот укоризненно посмотрел на неё.

— Разве вам не нравится эта идея, мисс Шип-

тон? А я думал, что вы за неё ухватитесь. И управления сообщили, что этой передаче придётся большое значение. И не забудьте — все остальные женщины на заводе услышат её.

— Услышат, если захотят слушать, — возразил мисс Шиптон угрюмо. — Но, насколько я их знаю большинство охотнее послушало бы джаз-банд

— Как правило, это так. Но тут, понимаете ли особый случай...

— И я не уверена, что я тоже не предпочла бы джаз-банд, — продолжала мисс Шиптон, окончательно закусив удила. — Безусловно, приятнее слушать хорошую музыку или интересную пьесу, чем все эти помпёзные военные программы с всё теми же старыми выкриками и теми же участниками которые орут во всё горло: „Да здравствует то, и „Да здравствует другое“. После того как работаешь здесь целый день да выслушаешь военные сообщения и прочтёшь всё, что пишут о войне в газетах, к вечеру уже бываешь по горло сыт войной, и вся эта стряпня Радиокорпорации просто претит. К этому времени я начинаю думать, что лучше бы радио использовали для того, чтобы напоминать нам, что где-то за пределами этого сумасшедшего дома есть настоящий мир, жизнь с её наслаждениями. Напоминать о том, что стоит помнить из прошлого, и о том, на что можно надеяться в будущем. А то затвердили: война, война, война! — закончила она на высокой, почти истерической ноте.

Мистер Проскот шумно втянул в себя воздух и затем медленно выдохнул его.

— Мисс Шиптон, если вы немного расклеились — а я вижу, что это так, — отчего бы вам не взять отпуск на два-три дня, сходить к доктору, отдохнуть дома? Беда с женщинами: во всём непременно перестараются.

— Я ничуть не перестаралась, мистер Проскот, — возразила она с достоинством. — Я, пожалуй, не совсем хорошо себя чувствую и плохо сплю, но к доктору мне идти незачем. Мы недовольны прогулами наших рабочих, так неудобно и нам сидеть дома, когда мы ничем не больны.

Глаза мистера Проскота приняли суровое выражение, и в первый раз за всё время работы с ним мисс Шиптон почувствовала, что он не любит её.

— Ладно, дело ваше, — бросил он сухо. Она была удивлена, даже поражена открытием, что он способен говорить так сухо и неприязненно, изменив своему обычному благодушию. — Я отлично мог бы и сам подыскать двух девушек, но это входит в ваши обязанности, и я полагаю...

— Ну, конечно, я их выберу. — Она держалась храбро, но чувствовала, что дрожит. — Вам даны какие-нибудь специальные указания?

— Это должны быть, разумеется, хорошие работницы. И желательно, чтобы популярные среди остальных. Потом нужно, чтобы у них голоса были подходящие для трансляции — достаточно звучные и всё прочее. Я сегодня объявлю об этом вам в столовой во время обеда и, пожалуй, скажу, что окончательный выбор мы сделаем только в конце недели — это будет их держать в напряжении. Но от вас я хотел бы уже сегодня к вечеру узнать, кого вы наметили. Можете заняться этим в первую очередь, мисс Шиптон.

И он ушёл без улыбки или хотя бы дружеского кивка — твёрдокаменный человек, сухой чиновник.

Мисс Шиптон даже всплакнула. Так ужасно целый день иметь дело с людьми, когда в тебе всё спуталось и душа болит. Ей хотелось уйти, спрятаться от всех на неделю-другую, пока она не придёт в равновесие, пока не нарастит новую кожу. До тех пор, пока она не напишет Герберту

и не покончит с этим раз навсегда, она не сможет работать как следует и, наверное, перессорится со всеми.

Она принялась сочинять короткую и резкую прощальную записку, но, к несчастью, уже одно то, что она пишет ему, меняло её настроение: возвращало к тому, чем она жила последние годы. „Короткая и резкая записка“ превратилась в письмо, письмо жалобное и полное нежности, как будто та Эдит Шиптон, что писала его, ещё не встретила с той Эдит Шиптон, что разговаривала с Болтоном. И вдруг эта вторая Эдит, нетерпеливая и раздражённая, схватила письмо и разорвала его на мелкие кусочки.

Томимая беспокойством, она решила пройти по цехам и подыскать подходящих женщин для выступления по радио. Она подумала, что лучше всего было бы послать одну из опытных работниц и одну новую, ещё не обученную. Из старых работниц, пожалуй, подойдёт установщица, миссис Оклей. Надо будет поговорить с ней и проверить, какой у неё голос. Но рядом с миссис Оклей работает Артур Болтон, а меньше всего ей хотелось бы видеть его в ближайшие дни. Однако, обманывая себя надеждой, что сумеет избежать этой опасности, она пошла прямо ей навстречу.

Подойдя к миссис Оклей, она не сказала ей сразу о предстоящем выступлении, потому что мистер Проскот, любивший производить сенсацию, был бы недоволен, если бы она его опередила и испортила эффект его сообщения.

— Доброе утро, миссис Оклей,— оказала она с искусственным оживлением.— Ну, каковы у вас дела сегодня?

У миссис Оклей в зубах торчала папироса, а куртка и задорная рожица были испачканы смазкой. Мисс Шиптон вдруг почувствовала к ней

антипатию,— а между тем до этого дня Гвен ей нравилась.

— Всё в порядке,— ответила миссис Оклей равнодушно.— Не скажу, чтобы мы гнали во весь опор. Но кто теперь работает так, как раньше?.. Эй, вы,— крикнула она вдруг, кидаясь к одной из женщин, работавших в её бригаде,— вы не так это делаете. Я ведь вам показывала вчера!..

Мисс Шиптон стояла неподвижно, дожидаясь возвращения Гвен. Где-то здесь неподалеку работал тот странный человек, мистер Болтон. Мисс Шиптон чувствовала, что ей легче умереть, чем опять увидеть его и прочесть в его глазах осуждение. Она не понимала, почему это так, ведь мистер Болтон ей глубоко безразличен. Но факт оставался фактом. Она старалась не смотреть по сторонам и не отводила глаз от миссис Оклей, которая уж вернулась на место и, видимо, была неприятно удивлена тем, что мисс Шиптон всё ещё здесь.

— Вы интересуетесь радиопередачами, миссис Оклей?

— Нет. А что?

— Да так... Я слышала, что вы здесь работаете давно, и мне захотелось узнать, приходилось ли вам когда-нибудь выступать в радиопередаче завода.

— От нас как-то раз была передача,— сказала миссис Оклей.— Но я не выступала. Не особенно интересно получилось. Я это не потому говорю, что я в ней не участвовала. Меня приглашали, да я не захотела — спасибо! Не передача была, а чепуха какая-то. Надеюсь, они не вздумают устраивать вторую?

— Нет.— Мисс Шиптон была рада, что не пришлось солгать,— ведь передачи с завода на этот раз не будет.— Я просто так спросила...

Миссис Оклей бросила на неё беглый и слегка иронический взгляд, как бы говоривший: „Очень жаль, что тебе больше делать нечего, как только стоять тут да задавать пустые вопросы“.

— А что, в вашей новой бригаде есть какие-нибудь выдающиеся девушки?— спрашивала дальше мисс Шиптон, чувствуя себя лишней и назойливой.

— Нет, сейчас таких нет. Раньше были, а эта новая партия—просто пачкуны. Если вы вздумаете ставить пантомиму, я могу вам рекомендовать славную парочку—вон тех двух весёлых пташек из Бирмингема. О господи, что это они там делают?

И она опять убежала.

На этот раз мисс Шиптон почувствовала, что стоять тут дольше значило бы просто не иметь никакого уважения к самой себе. И, отметив мысленно, что миссис Оклей относится к своим подчинённым несочувственно и что об этом следовало бы доложить, она пошла дальше.

Не прошло и минуты, как она неожиданно для себя очутилась перед мистером Болтоном. Она сказала себе, что это для неё решающий момент, хотя не могла бы объяснить, что собственно должно решиться. Если бы он, увидев её, проявил хоть малейшее неудовольствие, это бы её добило. Так иногда в странном навязчивом сне снится, что, если не поспеть на поезд, который должен везти тебя неизвестно куда, то всё погибло.

И мисс Шиптон, затаив дыхание, уставилась на Болтона, как всегда, серьёзного и занятого.

Наконец он поднял глаза и увидел её. Вот она! Решительная минута! Он узнал её. Кивнул головой. И вдруг случилось чудо: он улыбнулся ей. Видно, там, над звёздами, ещё есть неведомый

источник благодати и всепрощения. Она помилована!

— Добрый день, мистер Болтон,— услышала она собственный голос и подошла ближе.— Надеюсь, мы на-днях сможем встретиться и поговорить по-настоящему.

23

Возвращаясь после обеда из столовой в цех, Нелли Диттон говорила себе, что сегодня был один из лучших обеденных перерывов за много недель. Во-первых, самый обед был замечательный: жареная свинина с картофелем, шведская брюква и хлебный пудинг с маслом. Затем заводской оркестр Элмдаунской шестёрки не только играл великолепно, но двое из них, Джек Браймбер — тот, что играет на саксофоне, и длинноносый брюнет с барабаном, оба ей улыбались. Сомнений быть не могло, потому что она сидела совсем близко, и даже Мона Фокс, её подруга, сидевшая рядом, должна была признать, что улыбки относились к ней, Нелли. Конечно, это ничего не значит: оба они постоянно улыбаются. Но всё-таки... не всем же они улыбаются нарочно, как ей.

И в заключение — возвещённая мистером Прокотом сенсационная новость, что будут выбраны две работницы их завода для участия в радиопрограмме в Лондоне. Да, эти две счастливицы будут отправлены в Лондон за счёт завода, и, может быть, даже их портреты появятся в газетах!..

Многие девушки, в том числе и Мона, немедленно объявили, что им не особенно улыбается быть выбранными, даже совсем не хочется. Но этими штуками её, Нелли, не проведёшь. Стоило только взглянуть им в глаза, особенно Моне, чтобы

увидеть, что каждая уже втихомолку обдумывает, как бы ей подольститься к кому-нибудь из начальства и заручиться его поддержкой.

Нелли этот вопрос ничуть не волновал, ибо она отлично понимала, что ей никого из начальства не прельстить. Правда, мистер Огмор, вероятно, охотно бы её выдвинул, но ведь мистер Огмор только помощник мастера. А кроме того, совсем недавно она подала заявление насчёт автобуса, мистеру Проскоту пришлось направить к ней мисс Шиптон. Теперь если кто из начальства и вспомнит о ней, так вспомнит как об одной из недовольных. Значит, у неё нет никаких шансов быть избранной.

Она твердила это себе раз десять, но всё же в каком-то уголке души теплилась надежда, что в последнюю минуту случится чудо. Мало ли что, а вдруг Радиокорпорация потребует девушку, у которой лицо перекошено на сторону и которая хочет учиться играть на пианино, и она, Нелли, окажется одной из этих двух счастливиц. Мистер Проскот сказал в столовой, что подойдут только те, кто говорит внятно. А она говорит внятно? Наверное, нет. Но, возвратясь к станку, Нелли добрый час проверяла внятность своей речи, беседуя, главным образом, сама с собой. Губы её всё время быстро шевелились, точь-в-точь как у бедняги Стоньера!

В цеху всё шло обычным порядком. Обе певуньи не умолкали ни на минуту. Мисс Дэфф выдвинула новое обвинение против своей невестки, в котором мыльные хлопья играли видную и зловещую роль. Мистер Тэйлор, тот жалкий старик, что был раньше хозяином кондитерской, шопотом рассказывал всем, кто хочет подать управляющему жалобу на мистера Огмора, который, пользуясь своим положением, ведёт коммунистическую пропаганду.

Нелли не знала толком, что такое коммунистическая пропаганда, у неё только создалось впечатление, что это имеет какую-то связь с Россией. Во всяком случае,—говорила она себе,—если мистер Тэйлор так решительно против коммунистической пропаганды — значит, в ней ничего худого нет. Элси, девушка из бара, о которой было известно, что она „гуляет“ с одним из инструментальщиков, женатым к тому же, в последние дни что-то загрустила, ходила заплаканная и не далее как сегодня утром сказала Нелли, что та правильно делает, сторонясь мужчин. А Нелли не стала распространяться на эту тему, не желая сознаваться в том, что не она избегает мужчин, а они её. Все в цеху теперь больше разговаривали между собой, потому что работы было меньше. Но дело обстояло не так уж плохо, как, кажется, думал мистер Огмор.

Похожая на сердитую цыганку, маленькая брюнетка, миссис Флинн, сегодня удивила Нелли. Нелли недолюбливала миссис Флинн, и до сих пор у них не находилось общих тем для разговора.

А сегодня миссис Флинн подошла к Нелли и сказала, как всегда, резко:

— Вы слышали, что он говорил насчёт двух женщин, которых пошлют в Лондон на радио?

— Слышала, миссис Флинн. Какая радость — правда? — для тех, кого пошлют!

Миссис Флинн кивнула головой и своими колкими чёрными глазками так и впиалась в лицо Нелли.

— Там около меня сидело несколько девчонок, которые много о себе воображают. Им здорово хочется, чтобы их выбрали, хотя они в этом и не признаются. И знаете, что я им сказала?

Нелли не знала этого и не могла понять, зачем

собственно миссис Флинн говорит всё это. Но, наверное, через секунду миссис Флинн сведёт разговор на своего мужа, который так мучает её.

— Я им говорю... „Со мною рядом,— говорю,— работает одна девушка, у которой больше шансов, чем у всех вас“. Честное слово, это заткнуло им рты!

— А какую же девушку вы имели в виду?— спросила заинтересованная Нелли.— Элси?

— Элси!— Миссис Флинн вложила в эти два слога почти устрашающее презрение. Она точно выплюнула их.— Элси! Они ещё с ума не спятили, чтобы выбрать такую вульгарную особу для выступления от имени завода. Это — радио, это ей не ловля чужих мужей. А волосы! Видано ли что-нибудь подобное! У корней они чёрные, как у меня, а дальше зелёные! Нет, только не Элси! Я вас имела в виду, милочка. Да, вас. Почему бы и нет?

Услышав собственные тайные мысли, так смело высказанные другой, Нелли взволновалась. А миссис Флинн стояла перед нею и смотрела на неё в упор, как неожиданно добрая колдунья.

— Ох, миссис Флинн, что вы!..— ахнула Нелли.— Никогда меня не выберут!

— Да почему же? Почему? Объясните, почему нет!— рассердилась миссис Флинн.

— Да как же... С какой стати? Я делаю самую обыкновенную работу, и множество девушек работают здесь дольше, чем я... и... и...

— Будет вам!— воскликнула миссис Флинн.— Вы ничуть не хуже любой из них! И даже лучше. Работаете хорошо. Говорите чисто. Ведёте себя прилично. Никому никаких неприятностей не делаете.

— Да ведь таких сотни...

— Господи, умейте же вы хоть постоять за се-

бя, милочка! В том-то моё горе, что я этого не умела и позволяла мучить себя, и обманывать, и затирать. Им бы следовало послать меня на радио, у меня бы нашлось, что сказать! Но на это надеяться нечего, а потому я считаю, что следует выбрать вас, как одну из нашей партии. — Миссис Флинн обежала глазами цех и, обнаружив неподалеку мистера Огмора, тотчас его окликнула.

— Ну, что у вас опять? — спросил он.

— Как это — опять? — свирепо огрызнулась миссис Флинн. — Что за манера разговаривать! С машинами, по-вашему, надо нежничать, а человека вы ни во что не ставите? Слушайте, мистер Огмор: пошлют меня от завода говорить по радио?

— Надеюсь, что нет.

— Значит, вы меня бракуете?

— Вы вгоните там людей в чахотку...

— Ладно, не буду сейчас обращать внимания на все ваши оскорбления. Слушайте, мистер Огмор. Я вам до сих пор немного досаждала, но прямо скажу, — это пустяки в сравнении с тем, что будет, если вот эта девушка, Нелли Диттон, не поедет в Лондон. Раз она не умеет за себя постоять, так я за неё постою!

— А знаете, ведь это неплохая идея, — сказал мистер Огмор, явно заинтересованный. Он посмотрел на Нелли так заботливо, как будто это была новая машина. Нелли почувствовала, что краснеет. — Но, разумеется, не я буду выбирать.

— А кто же? — спросила миссис Флинн, кажется, воображавшая, что мистер Огмор — первое лицо на заводе.

— Мистер Проскот, вероятно, или мисс Шиптон.

— Так вы им скажите.

— Что ж, можно. А вы бы согласились ехать, Нелли? Если нет, так нет смысла говорить с ними. Что вы скажете?

Оба они посмотрели на девушку, а она чувствовала, что вся горит и что у неё разбегаются мысли. В одну секунду она представила себе, как всё это будет, что скажет мать, не верившая всему тому, что сообщало радио о войне, как мать будет уговаривать её не дурить, как тётка будет её поддерживать... Подумала об ожидавших её колкостях, „шпильках“, завистливых насмешках.

— Я, право, не знаю, мистер Огмор, — сказала она запинаясь. И вдруг закончила:— Да, я, согласна. Я бы хотела, чтобы вы поговорили обо мне, если находите, что я гожусь!

— Конечно, годитесь, Нелли, — сказал Огмор, дружески кивнув ей. — И я сделаю, что могу, хотя я человек маленький. Пожалуй, поговорю о вас с некоторыми старостами. В конце концов представителей от рабочих должны выбирать сами рабочие. Ну-с, а теперь, — добавил он, сурово глядя на торжествующую миссис Флинн, — не мешало бы немножко и поработать, как вы думаете?

Несколько позже, как аккомпанемент к радостным мыслям Нелли, грянул шотландский оркестр Радиокорпорации. То была очередная трансляция „Музыка во время работы“. Один из репродукторов был неподалеку от Нелли, и привычный шум завода для неё словно растаял в этой новой, красочной и сверкающей панораме звуков. Нелли слушала, зачарованная, и под влиянием музыки в её воображении проносились, как обрывки ярких снов, отдельные картины прошлого. Военный марш с его торжествующей медью звуков вызвал в её памяти солдат на параде, — не мрачных фронтовиков военного времени в их железных касках, а почему-то более чётких

в памяти солдат мирного времени, таких, какими их рисовали в книжках с картинками, безобидных и весёлых, похожих на живые игрушки. Мотив весёлой песенки, слышанный много лет назад, будил воспоминание о поездке на морское побережье, и вдруг её словно обдувало солёным ветром, и вставала перед нею ветхие доски пристани, белые платья, мороженое и мятные леденцы, безбрежная, мерцающая голубизна моря. Вальс, быть может, из какого-нибудь виденного ею фильма, зажигал в зелёно-белом тумане зала, освещённого уютными лампами, тёплые золотые огни больших люстр, под которыми кружились блестящие гусары и белокурые красавицы в сверкающих нарядах. А там снова звенели неизбежные шпоры: „динь-дон-дон“, и Нелли ехала рысью в незнакомой пустыне, среди кактусов, рядом с красивым, статным всадником на чёрном коне, всадником с Дальнего Запада, готовым целовать землю, по которой ступала одна девушка, несколько похожая на неё, Нелли,— героем с чёрными усиками и сильными руками...

И вдруг подле неё очутился живой, всамделишний герой, который смотрел на неё с улыбкой. Это был командир звена Ривс, откомандированный из корпуса истребительной авиации в распоряжение министерства. Нелли видела его уже несколько раз, так как он регулярно посещал завод и раз даже устроил в столовой беседу, а в другой раз привёл с собой ещё двух лётчиков и представил их всем. Мистер Чевиот рассказал однажды рабочим о том, как командир Ривс участвовал в битве за Англию и был награждён орденом, как был подбит и загорелся его „Спитфайр“. Теперь у командира звена Ривса было два разных лица: одно, если смотреть справа,— гладкое, загорелое, приятное, всегда улыбающееся лицо кра-

сивого молодого человека, голубоглазого, с кудрявыми светлыми волосами и белокурыми усиками; другое лицо, слева, вряд ли можно было назвать лицом, ибо оно было багровое, неподвижное ни молодое, ни старое, очень странное и необычайное, как будто лицо человека с луны или с другой чуждой планеты. Нелли слышала, что Ривс провёл много месяцев в госпитале, пока ему кое-как составили из кусочков этот сомнительный остов лица. Но, с какой бы стороны на него ни смотрели командир Ривс, так сказать, завоёвывал сердца, ибо его правый профиль сразу привлекал всех, такой он был мужественный, весёлый и красивый, а левый вызывал такую жалость к его обладателю, что вы готовы были сделать для него всё, о чём бы он ни попросил. Но Ривс просил лишь одного — чтобы вы работали, не жалея сил, и готовили нашим ребятам на фронте побольше самолётов.

И вот он стоял подле неё, улыбаясь, и, кажется, впервые собирался поговорить с нею отдельно.

— Хелло!

— Добрый день, — ответила Нелли застенчиво.

— Я вас, кажется, уже видел где-то? — спросил Ривс.

— Да, видели, — сказала она краснея.

— Определённо видел, — продолжал Ривс, поблёскивая правым глазом. — Чем вы сейчас заняты? — И, слушая её объяснения, он рассматривал работу. Потом в нескольких словах рассказал Нелли, что делают с деталью, которую она готовила, как её вставляют в самолёт и каково её назначение. И благодаря его объяснениям вся работа сразу приобрела в её глазах новый смысл и значительность. Наверное, для того его и посылали на завод.

— А кстати, — сказал он в заключение, пере-

ходя на более конфиденциальный тон, — кто этот человек, в том углу?

Нелли посмотрела туда, куда указывал Ривс.

— Это мистер Стоньер.

— Странный малый, не правда ли?

— Да. Иногда он бормочет что-то про себя, и глаза у него такие странные. Знаете, — призналась она, — я его немного боюсь.

— Это понятно, — сказал командир звена. — Я бы на вашем месте то же самое чувствовал. По моему, он ненормальный. Да, определённо ненормальный.

С минуту оба смотрели на мистера Стоньера, а затем многозначительно переглянулись — дружески, „нормально“ и радостно, совсем забыв о мистере Стоньере, который хмурился и бормотал что-то, одинокий среди множества людей...

24

Гордон Стоньер казался гораздо старше своих лет, и объяснялось это тем, что он пережил много горя. Была у него когда-то маленькая процветавшая импортная контора, но он допустил, что какие-то мошенники обманым образом отняли её у него. Была жена, но после смерти их ребёнка ушла от него. Ему не везло в жизни. Даже мать, не перестававшая тревожиться за него до той минуты, пока смерть не захрипела у неё в горле, иногда признавала, что он неудачник. Он и сам ясно видел, что его преследует несчастье, и порою это сознание вызывало в нём приступы ярости, порою же — какую-то угрюмую гордость. Он не хотел, чтобы люди знали, как его бесят постоянные неудачи. Как когда-то его мать, он считал, что самое лучшее — сторониться людей, избегать всех, кроме

очень немногих, тщательно выбранных близких друзей. А теперь, когда он работал на заводе и жил в меблированных комнатах в соседнем провинциальном городке, он, к своему несчастью, лишился и этих нескольких близких людей. Гордон Стоньер был теперь в буквальном смысле слова один на свете.

Это его не удручало. Если он по временам испытывал настоятельную потребность сказать что-нибудь, — он говорил это любому человеку, оказавшемуся вблизи. Обычно ему было всё равно, понимают его или нет. С некоторых пор он жил весьма напряжённой и целиком поглощавшей его внутренней жизнью. Он много размышлял о религии, и мысли его казались ему новыми и оригинальными. Вначале его мучили головные боли, особенно по ночам, когда он тщетно пытался уснуть, но в последнее время головные боли стали реже, и он всё чаще слышал голоса. Эти голоса, очень внятные, задавали ему вопросы, на которые он не мог не отвечать, поэтому он посвящал большую часть времени придумыванию надлежащих ответов. Он догадался почти сразу, что то были голоса каких-то неземных существ — архангелов и демонов, таинственных полубогов, имена которых ему пока не дано было знать. Ему было ясно, что он избран для того, чтобы найти ответ на их трудные вопросы, не только ради себя самого, но и ради спасения всего страждущего человечества.

На этой неделе возникло новое осложнение. Ему начали слышаться голоса (иногда те же, прежние) уже здесь, на заводе, внутри машин. Машина, у которой он работал, всё чаще и чаще говорила с ним и постепенно как бы превращалась в живое существо. Другие машины также, но он, естественно, и видел и слышал их не так хорошо, как свою. Разумеется, он прекрасно знал,

что машина не может заговорить по собственному почину. Но из этого вовсе не следовало, что голоса машин просто чудятся ему. Они исходили из машин потому, что обладатели голосов пожелали говорить с ним, Стоньером, именно таким, а не другим образом, и напоминать ему и в рабочие часы о некоторых важных вещах. В этом нет ничего удивительного и необыкновенного. В библии чуть не на каждой странице читаешь о гораздо больших чудесах. Но, конечно, слышать эти голоса из машин мог лишь человек, избранный для того, чтобы дать ответы, а если понадобится, то и действовать во имя измученного человечества. Голоса звучали внятно, повелительно, но смысл слов часто бывал загадочен, и вопросы ставили его втупик.

Вот, например, сегодня его машина всё снова и снова твердила ему: „Под воду ты найдёшь их“. И больше ничего. „Под воду ты найдёшь их“. Время от времени ему удавалось услышать, что говорили другие машины. Одна всё время бормотала: „Спасение не есть проклятие“. Другая говорила что-то о сыновьях, бегущих к матерям. И, наконец, покрывая все голоса, какая-то большая машина сегодня три раза прокричала: „Где же жертва?“ И всякий раз Стоньеру становилось ясно, что голос, звучащий из этой машины, говорит о самом важном, что вопросу о жертве надо внять, что нужно поскорее заметить, какая именно машина задаёт этот вопрос, и прислушаться к ней. Ведь она кричала так громко для того, чтобы привлечь его внимание.

Он раза два прерывал работу и пытался найти ту кричавшую машину, вслушиваясь то там, то здесь в их говор. Рабочие, конечно, глазели на него, как всегда, и один из них крикнул что-то, но Стоньер не обратил на это внимания. Нельзя ска-

зять, чтобы эти люди ему не нравились. Нет, они просто казались ему всё более и более нереальными, как призраки. По сравнению с таинственными голосами, давно уже заполнявшими его тесную комнатку, а теперь начинавшими звучать и на заводе, замечания, с которыми к нему обращались, были попросту чириканьем, имевшим для него так же мало значения, как скрип и кряхтенье машин, нуждающихся в смазке. Из всех окружающих он замечал только одну молоденькую девушку, Нелли, с круглым, живым, глуповатым лицом. Он мало знал её, да и не имел желания узнать поближе, но он почему-то был уверен, что она девственница. А девственница в самом ближайшем времени будет очень нужна, ему это было более чем ясно, хотя он не мог бы ещё объяснить для чего. Возможно, что голоса прикажут ему найти девственницу.

Итак, ему теперь предстояло решить два вопроса (и отчасти поэтому окружающие стали казаться ему не людьми, а тенями: ведь перед ними не стояли такого рода задачи, они просто жили ожидая смерти). Первый вопрос: через какую машину голос спрашивал о жертве? Второй: девственница ли Нелли? Стоньер угадывал, что между этими двумя вопросами существует какая-то связь.

В то время как он обдумывал всё это, а день незаметно переходил в сумерки, его собственная машина, не повторявшая более фразы „Под водой ты их найдёшь“, а вместо этого бормотавшая всякую бессмыслицу, вдруг заплакала, закричала высоким, взволнованным голосом: „Красное должно залить белое“.

Какое красное? Какое белое? И как одно может залить другое? Это нужно было решить как можно скорее. Голос звучал настойчиво.

Но только в тот самый миг, когда раздался гудок, возвещавший конец дневной смены, Стонберу вдруг открылся смысл этой фразы. Его глаза остановились на густой, похожей на мыло, эмульсии, которая текла струйками по режущим краям и по всем тем частям машины, в которых происходило трение. Эта смазка была почти белая... А красная жидкость, которая должна залить эту белую, брызнув густо-алой струей, могла быть только одна — кровь...

25

Возвратясь на завод в четверг утром, мистер Чевииот пришёл в свой кабинет ранее обычного. В это утро ожидался приезд Сэдли и Монтегю, представителей министерства.

Чевииоту были не страшны никакие Сэдли и Монтегю, хотя бы их было с полсотни, но его не радовало предстоящее посещение. С Сэдли, может быть, и удастся поладить, хотя он, Чевииот, редко находит общий язык с чиновниками. Но Монтегю — его бывший служащий, которого он в 1939 году уволил с завода за непригодность к работе, и Монтегю не такой человек, чтобы забыть это.

Впрочем, в это утро была ещё и другая причина, заставлявшая Чевииота сурово хмуриться, в то время как он просматривал отчёты, сидя за своим письменным столом.

Вчера вечером он из Лондона звонил по телефону своему сыну Дэвиду, командиру эскадрильи, служившему в береговой авиации. Дэвида на аэродроме не оказалось, и дежурный, после некоторого колебания, вынужден был ответить, что Дэвид Чевииот ещё не вернулся из боевого полёта и сведений о нём не поступало. Больше

ничего дежурный не мог сказать, а знакомый адъютант, к несчастью, отсутствовал. Может быть, всё обстоит благополучно, ведь Дэвида могли послать в более дальний полёт, чем обычно, и, наверное, с секретным заданием, чем и объяснялись уклончивые ответы дежурного. Тем не менее Чевииот отошёл от телефона сильно встревоженный и сейчас всё ещё продолжал беспокоиться. Жене он ничего не сказал. Пока нет оснований думать, что мальчик пропал без вести. Но Чевииот решил снова позвонить на аэродром, пока не приехали те двое из министерства.

Сделав над собой громадное усилие, он сосредоточил всё внимание на отчётах и, читая, всё время двигал мохнатыми бровями. Итоги были ещё хуже, чем он ожидал. Даже если принять во внимание задержку материала у Стенборо и Финчема (которую он ездил устранить), выпуск продукции у него на заводе недопустимо снизился, и снизится ещё больше, если не будут приняты решительные меры. Чевииот записал себе кое-что для памяти и затем дал мыслям полную свободу. Это была не лень, а многолетняя привычка после моментов самого сосредоточенного внимания предоставлять мысли их свободному течению. Таким путём он приходил к своим самым замечательным идеям. При полнейшем незнакомстве с психологией как наукой Чевииот был тонким психологом-практиком.

Пришла за распоряжениями мисс Бэрроус с обычной для неё по утрам постной миной. Чевииот посмотрел на неё с неожиданным интересом. Мисс Бэрроус, угрюмая девица, так сильно жаждущая принадлежать к почтенному буржуазному кругу, отгородилась стеной от всего окружающего. Но всё же она член их коллектива, она работает на их заводе.

— Мисс Бэрроус,— промолвил он, перехватив её хмурый и озабоченный взгляд,— вы верите в чорта?

Всякий вопрос, выходявший за пределы ежедневной рутины, пугал и ошеломлял мисс Бэрроус.

— В кого?— переспросила она запинаясь.— Извините, мистер Чевииот, мне кажется я не слышала...

— В чорта.

Она слабо усмехнулась.

— Нет, мистер Чевииот, не верю. Кто ж в наше время верит в него? Разве только самые невежественные люди.

— А я вот иногда верю,— возразил он.— Было бы очень удобно, если бы можно было вернуть чорта. Тогда я созвал бы собрание и сказал бы им: „Слушайте, друзья, кажется, старый Ник в последнее время облюбывал наш завод. Он или кто-нибудь из его помощников торчит, может быть, сейчас за вашей спиной, нащёптывая вам в ухо то, другое. Так что вы не будьте слишком уверены, что теперешние ваши мысли и чувства — это ваши собственные, подлинно ваши мысли и чувства“. Что-нибудь в этом роде сказал бы я, мисс Бэрроус.

— Мне очень жаль, что вы расстроены, мистер Чевииот,— промолвила вдруг мисс Бэрроус, и в её тоне и взгляде была неподдельная теплота, потому что она была искренно предана мистеру Чевииоту.

— Я знаю, мисс Бэрроус, спасибо вам. Как вы думаете, что тут у нас неладно?

— Не знаю, право, мистер Чевииот. Приходилось слышать разговоры... Разумеется, я...

— А что же говорят?

— Это бывает всякий раз, как вы уезжаете,—

воскликнула мисс Бэрроус краснея.— Мистер Блэндфорд и мистер Элрик...

Она запнулась. Он не стал ждать продолжения.

— Мне надо с ними поговорить, но с каждым в отдельности. Позовите кого-нибудь из них, всё равно, кого.

— Слушаю, мистер Чевииот. Не знаю, пришёл ли уже мистер Блэндфорд, но мистер Элрик здесь. Я слышала, как он кричал в коридоре...

— Ладно, зовите Элрика. А кстати,— он улыбнулся, глядя на неё,— что вы сейчас читаете?

Мисс Бэрроус ответила с довольным видом:

— Читаю „Возвращение“ Томаса Харди, мистер Чевииот. Этот роман все очень хвалят.

— Да, и я о нём слышал, но не читал. Я знаю другой его роман — об одной девушке, Тэсс, и нахожу, что автор, пожалуй, слишком жестоко обошёлся с ней. Но оставим это. Найдите мне мистера Элрика.

Когда дверь за нею закрылась, он подумал о том, как хорошо было бы уехать на месяц-другой в какое-нибудь славное тёплое место, солнечный уголок, откуда видна сверкающая даль моря. Взять с собой туда запас хороших книг, открывающих таинственную и пёструю панораму жизни, и проводить всё время в обществе жены, которая, не тревожась больше за сына, будет сидеть и шить и слушать отрывки, которые он будет читать ей вслух, или его рассказы о прочитанном. Жена, может быть, и не умна, но она уютная женщина, а уютная женщина — великое утешение в нашем столь неуютном мире. В этом „уютном“ характере его жены, который он так ценит, может быть, и скрывается нечто вроде глубокой, чисто женской мудрости. Вот Бобу Элрику сейчас была бы очень полезна хорошая доза такого душевного уюта, созданного доброй женой.

Он зорко посмотрел на Элрика, желая проворить, не пил ли опять Элрик, и с облегчением убедился, что никаких признаков этого незаметно. У Элрика был вид человека, доведённого до отчаяния и способного на всякие безрассудства, он напоминал быка, загнанного в угол и каждую минуту готового ринуться вперёд, но он был несомненно трезв.

— Садитесь, Боб, и курите. Сперва я вам сообщу, что мы решили у Стенборо и Финчема.

И Чевииот с места в карьер начал рассказывать, чтобы скорее покончить с этим вопросом и перейти к более щекотливой теме. Кончив, он сдвинул брови и, постучав пальцем по лежавшему перед ним отчёту, сказал серьёзно:

— Просмотрел я эти сведения, Боб. Хорошего мало, надо прямо сказать. А сегодня приедут из министерства Сэдли и Монтегю...

Элрик беспокойно дёрнул плечом.

— Слыхали в Лондоне что-нибудь новенькое о войне, мистер Чевииот?

— Я не хочу сейчас говорить о войне, Боб,— сказал Чевииот резко.

В тёмных глазах Элрика мелькнул огонёк возмущения.

— Я спросил вовсе не для того, чтобы отвертеться от неприятного разговора, мистер Чевииот. Но если вам не угодно сказать два слова...

— Мне угодно сказать очень многое насчёт цифр нашего отчёта, а времени у меня мало. Ну, а в городе (если это вас интересует) я слышал только, что на фронте Восьмой армии усиленные действия патрулей. Теперь объясните, почему вы задали свой вопрос, Боб?

Элрик шумно вздохнул.

— Война — ответ на всё. Я хочу сказать, что

она объясняет вот эти цифры,— указал он на отчёт.— Вот отчего я и спросил. Хотите слушать дальше, мистер Чевит?

— Хочу, конечно. Говорите, да поскорее, не будем терять времени.

— Вы хотите знать, почему падает у нас производительность. Причин мелких сколько угодно,— сказал Элрик серьёзно.— Во-первых, мы слишком разбавили наши старые кадры, и у нас очень большой процент неопытных новичков. Третьего дня я сцепился с Блэндфордом из-за производства шасси Д-пять. Я был против прекращения его, так что мы оставили вопрос открытым до вашего приезда. Блэндфорд не успокоится, пока не избавится от последнего квалифицированного рабочего. Он их не любит.

— Оставим это, Боб...

— Затем, если говорить о мелких причинах, задержка у Стенборо и Финчема сыграла более серьёзную роль, чем все думали, потому что произошла очень уж не вовремя. Когда начинаешь производство нового предмета, всё должно идти гладко, без единой зацепки...

— Вы правы, Боб. И я это учёл. Я и сам несколько раз высказывал им это соображение. Ну, хорошо, а какая же главная причина? Вы, конечно, скажете — война?

— Разумеется. Ею объясняются эти цифры,— сказал он, взяв со стола отчёт,— и вот эти. Пусть наши выгонят Роммея из Египта и Ливии, пусть высадутся во Франции или в другом месте — и тогда вы увидите, как эти цифры будут повышаться! А когда на фронте всё ни с места, и людям кажется, что война никогда не кончится, все невольно расхлябываются. Как их обвинять? Мы и сами в таком же состоянии, как они,— или были бы, если бы не старались держать се-

бя в руках. Вот чего не желает понять Блэндфорд.

— Ну, ну, вы, как всегда, пристрастны к нему, Боб. У него есть свои достоинства.

— Я это знаю, мистер Чевиот. Он способный инженер и умеет организовать работу. Но он не хочет понять, попросту не хочет, что от настроения рабочих зависит многое. В его глазах они — столько-то единиц рабочей силы, столько-то человеко-часов. Он совершенно забывает, что они такие же люди, как он — нет, в любом из них в тысячу раз больше человеческого, чем в нём. Он тешит себя мыслью, что они совсем не интересуются войной, вряд ли и вспоминают о ней, так что, когда производительность труда падает, он ищет каких-то иных причин этому, видит их в плохой организации, станках, инструментах и тому подобном...

— А вы, помимо всего прочего, объясняете это настроением людей? — спросил Чевиот медленно. — Действительно, пожалуй, в нынешней войне от него многое зависит. Когда есть подъём духа, даже в тех случаях, когда только этим одним и силен тот или иной народ, — как, например, югославы, — народ этот держится крепко и борется, а когда он падает духом, его дело кончено. Я не хочу сказать, Боб, что наш дух сломлен. Беда в том, что нам всё это немного наскучило. У нас в Англии народ быстро устаёт, Боб, я это давно замечал. Говорят, англичане ленивы. Это неправда. Им всё быстро приедаётся, вот и всё. А наши политические деятели и правительство не замечают, когда народ падает духом, потому что они не знают народ. Черчилль — единственное исключение, но и он не понимает, как нестерпимо надоела война большинству, не понимает, потому что для него она — постоянный источник волне-

ний. Но оставим это. Слушайте, Боб...— Он сделал паузу и пристально посмотрел на Элрика.

— Да, мистер Чевииот?

— Не знаю, что представляет собой Сэдли, хотя я кое-что о нём уже слышал. Но Монтегю мы с вами хорошо знаем, не так ли?

— Господи помилуй! Ещё бы! — усмехнулся Элрик.

— Так вот. Они, вероятно, проведут тут весь день, будут всюду шнырять и разнюхивать. И я не хочу, чтобы они учуяли, что вы и Блэндфорд не в ладах. Я не хочу, чтобы они говорили мне, что отсюда все наши неурядицы, потому что я этого не думаю, а если бы думал, то вас обоих давно бы здесь не было. Так что, Боб, не давайте им повода обвинять вас, вот и всё.

— Постараюсь, мистер Чевииот. Но — верьте или нет — не я обычно бываю зачинщиком ссоры. Естественно было бы думать, что я. Меня самого удивляет, что это не так. Но это факт: начинаю всегда не я. Поэтому, если можно, мистер Чевииот, вы и Блэндфорда тоже предупредите.

Чевииот утвердительно кивнул головой и дружеской улыбкой дал понять, что разговор окончен. Когда Элрик ушёл, он сделал ещё несколько выписок из отчёта и стал мысленно готовиться к беседе с Сэдли и Монтегю. Потом попросил мисс Бэрроус телефонировать на аэродром (который находился далеко от завода, на юго-западной части побережья), но сперва вызвать к нему в кабинет Блэндфорда.

Блэндфорд был, как всегда, бледен и невозмутим, и приветствовал своего начальника улыбкой, как будто искренней. Он сказал:

— Я только что говорил по телефону со Стенборо. Ваше посещение, видимо, принесло пользу.

— Да. И у Финчема я тоже всё уладил. Неко-

торое время они не будут тормозить нам работу. Правда, должен сказать в их оправдание, что и тот и другой заводы сейчас переживают трудное время — нехватает площади, возятся с перепланировкой. Особенно плохо обстоит дело у Финчема. Не следовало нам связываться с этой старой скворечницей. Бедного Хенли этот завод состарил на десять лет.

— А вы не согласились бы отпустить меня туда на несколько недель, сэр? — спросил Блэндфорд со всей учтивостью воспитанника закрытой школы. — У меня сложилось впечатление, что Хенли не все средства испробовал. Можно было бы ещё кое-что сделать.

— Я об этом подумаю, — сказал Чевит ласково. — Спасибо за предложение, Блэндфорд. Завод Финчема всем нам стал поперёк горла. Ну-с, значит, сегодня утром к нам явятся из министерства, и должен сказать: более неподходящий момент трудно выбрать. Я уже говорил с Элриком... Вас ещё не было, — поспешил он добавить, — а я не хотел терять время.

Блэндфорд опустил глаза на свои элегантные серые носки, потом медленно поднял их и встретился взглядом с Чевитом.

— И Элрик, конечно, уверял, что я хочу ещё больше понизить производительность труда на нашем заводе, заменяя опытных рабочих новичками? Что я думаю только о том, как бы угодить высшему начальству в Лондоне? Я знаю, это одна из его навязчивых идей, и это неправда.

— Не сомневаюсь. Но Элрик и не говорил ничего подобного.

— Что ж, может быть, я к нему несправедлив, но должен сказать, — он становится с каждым днём все невыносимее. Третьего дня у нас опять

вышел шумный и неубедительный спор на производственном совещании. Он был неправ, и я ему это доказал, но в последнюю минуту он, кажется, перетянул на свою сторону большинство остальных, внушив им свою точку зрения... Если вообще это можно назвать точкой зрения...

Чевиот не улыбнулся.

— А как же иначе вы назовёте это?

— У него не мысли, а чувства. Что-то вроде комплекса. Между ним и мною та основная разница, мистер Чевиот, что Элрик смотрит на всё с узкой, предвзятой, тред-юнионистской точки зрения, а я стараюсь смотреть на вещи широко и объективно.

— Мы все за вами это признаём,— сказал Чевиот довольно сухо. Ему не нравился тот оборот, который придал всему делу Блэндфорд.— Точка зрения Элрика мне хорошо известна. Ведь он работает со мной довольно давно. Изложите только свою.

— Моя достаточно проста,— сказал Блэндфорд ровно.— Это точка зрения чисто государственная. У нас война. У нас нехватает людских резервов. Не будем закрывать на это глаза. Я провожу официальную точку зрения не для того, чтобы снискать чьи-то милости в Уайтхолле, а потому, что нахожу её правильной. Я не меньше, чем Элрик, люблю, чтобы у меня работали квалифицированные рабочие, но не считаю себя в праве поступать, как мне удобнее. Если работа завода и страдает от замены рабочих женщинами и подростками, тут ничего не поделаешь. Авиационная промышленность в целом не пострадает, а дело обороны, несомненно, выиграет. Так я смотрю на это. Элрик же, мне кажется, не расстался ещё с довоенными настроениями, ему ещё мере-

щится, что завод конкурирует с другими, и он считает своей обязанностью следить за тем, чтобы его завод был на первом месте.

— Да, это его обязанность,— перебил Чевитот. — Он главный инженер, и его дело — добиваться наилучших результатов. Тут он совершенно прав, но это не значит, что вы неправы. И я не согласен, что такова основная причина раздора между вами.

Вошла мисс Бэрроус и доложила, что командира эскадрильи Чевиота на аэродроме нет, но адъютант записал номер телефона и обещал попозже позвонить мистеру Чевитоту. Чевитот поблагодарил её и ничего не сказал Блэндфорду о своём беспокойстве. Он считал, что собственно сказать нечего. Ему не удаётся снестись с сыном, вот и всё. Но в глубине души он ощущал холод и пустоту. Когда Блэндфорд снова заговорил, он прервал его, задав несколько технических вопросов.

Они ещё обсуждали эти вопросы, когда по телефону сообщили, что Сэдли и Монтегю уже у главного входа. Чевитот хмуро посмотрел на Блэндфорда. Тот усмехнулся.

— Я лично не думаю, чтобы они приехали с специальной целью наделать нам неприятностей,— сказал он. — Не знаю, как ваш бывший служащий Монтегю,— возможно, конечно, что он ещё не забыл обиды, но Сэдли, по-моему, не тупица и человек не ередный. Вам удобнее, может быть, чтобы я занялся Монтегю?

— Пожалуй,— протянул Чевитот, не особенно довольный этим предложением. — Но я уже имел дело с Монтегю и не испугаюсь его, хотя бы его назначили премьер-министром. Монтегю знает о нашем производстве меньше, чем мы успели забыть. Нет, это я неудачно выразился,— потому

что мы ничего не забыли, а он никогда ничего не знал.

Через две минуты они уже здоровались с новоприбывшими. Монтегю располнел, имел выложенный и несколько надменный вид преуспевающего человека. Сэдли был высокий сухопарый мужчина. Казалось, невидимая рука оттягивала кожу на его лице: глазные веки были словно вывернуты и обнажали розовый край, щёки висели складками, нижняя губа отвисла, и видны были длинные жёлтые зубы и бескровные дёсны. Говорил он высоким голосом, напоминавшим лошадиное ржание, и от этого казался сварливее, чем был в действительности. Он не выказывал пока никакого намерения причинять неприятности заводууправлению и вообще никакой воинственности, но Чевиот не обманывался на этот счёт. Сэдли, несомненно, стреляная птица и сумеет их предать самым незаметным и джентльменским образом.

— Политика министра на сегодняшний день...— говорил Сэдли.

— Вчера мы побывали на заводе Блэкберна—Свифта,— говорил Монтегю. — Там работают замечательно...

Чевиот, державший наготове отчёты и свои заметки, вдруг ощутил тяжесть огромного груза усталости и печали. Он не хотел ничего объяснять этим людям. Не хотел никому давать объяснений. Ему хотелось молчать и ждать, чтобы ему объяснили некоторые вещи. Не относительно производства самолётов— об этом он знал всё и сам. И не о войне. Даже не о послевоенной реконструкции. Нет— о людях, мужчинах и женщинах, и о жизни. Чтобы пришёл какой-нибудь мудрый старый человек и сказал ему: „Слушай, Джим Чевиот, всё просто и ясно, если смотреть надле-

жащим образом. Я знаю, что тебя смущает. Слушай...“ А затем он, Чевиот, пригласил бы десяток товарищей — Элрика, Блэндфорда и других, — провести с ним вечер и после лёгкого ужина и курения сказал бы им: „Я учусь у жизни. И всё оказывается просто и ясно, если смотреть надлежащим образом. Вы растеряны, как раньше был растерян я. Слушайте же...“ Да, в юности нас посылают в школу, чтобы она помогла нам выйти в люди. Но, видно, есть ещё другая школа, где учат не фактам, а мудрости. В эту школу попадаешь в средних летах и узнаёшь в ней много такого, что тебя ошеломляет...

— Да,— сказал он вслух. — Надо переучиваться...

Все уставились на него.

— Ну, ну, мистер Чевиот,— сказал Сэдли смеясь. — Дело не так уж плохо...

— Может ли быть хуже?— возразил Чевиот. — Нет, нет, я говорю не об изготовлении самолётов. Я думаю о другом, совсем о другом. Лучше оставим это,— добавил он с видимым усилием. — Вы, конечно, захотите ознакомиться с нашими показателями, господа,— так вот они. И вам следует учесть два-три обстоятельства...

26

Сказав двум мальчикам, что если они похожи на обезьян, так это ещё не значит, что нужно и вести себя, как обезьяны, Альфред Клитон, ворча, вернулся на свой излюбленный наблюдательный пост. Если кому-нибудь желательно получить от него сегодня нагоняй, за ним дело не станет! Он попрежнему сосал пустую, холодную трубку, ибо Роммель всё ещё был в Египте. Его

злили вести с фронта. Его злило то, что творилось на заводе, он готов был возненавидеть чуть не всех людей вокруг. Словом, Альфред Клитон был сильно не в духе.

Заносчивая молодая особа, недавно выдвинутая в бригадиры сборочного цеха, подошла к нему, широко шагая, и он неодобрительно посмотрел на неё поверх своих старых очков.

— Я из сборочной, — объявила она.

— Знаю, — сказал он сухо. — И замечаю, что вы с каждым днем всё больше модничаєте!

(Вид у неё — как будто она выступает в какой-нибудь пантомиме. Накрашена так, что хоть сейчас на сцену.)

— Мы будем браковать те детали, что вы нам вчера прислали.

— Да что вы говорите! — этим полным иронического ужаса восклицанием он хотел задеть её. И достиг цели.

— Мистер Фробишер... — начала она запальчиво.

Но он перебил её:

— Нечего толковать тут о мистере Фробишере. Он мне не указчик!..

— Может быть, и нет. Да не в этом дело...

— Вот я вам сейчас покажу, в чём дело. Идите сюда.

Он подвёл её к ближайшему станку.

— Смотрите! Видите, что они делают? Ну, так вот: мы весь месяц сидим на этих деталях. А вы этими недовольны? Нет? Совсем другими? Значит, вы не туда зашли, мисс. Катитесь и предъявляйте свои претензии в другом месте.

— Грубить всё-таки не следует, — сказала сердито „сборочная“.

— Я вообще грубый человек. А в особенности сегодня.

— Хорошо, что вы хоть это сознаёте.

— Вот и будьте довольны этим,— сказал он, глядя ей вслед и злорадно отметив про себя, что у неё нелепо большой зад и она не очень-то красиво виляет им. Да, завод начинает походить на мастерскую дамских нарядов... А жена, которая прожила с ним тридцать лет, не придумала ничего лучше, как ревновать его!

— Сегодня сводка немножко получше,— сказал ему Фред Сколби. Можно подумать, что специальность Фреда — слушать сообщения по радио.

— Ну, я этого не заметил, Фред.

— Как же! Сказано, что в районе Аламейна операции приняли более активный характер...

— Операции приняли более активный характер! — воскликнул Клитон с жестоким сарказмом. — Четвёртый год воюем — и нам ничего более не могут сообщить, как то, что в районе Аламейна операции стали активнее! И, наверное, что три немецких грузовика расстреляны нашими пулемётами! Нет, когда мы начнём? Вот ты мне что скажи! „Более активный характер“! Как вам это понравится!.. Посмотри-ка, Фред, на тех двух женщин, — вдруг перебил он себя. — Понимают они, где работают, или нет? Подойди к ним, парень.

Тут Клитон с чувством, похожим на восторг, увидел Боба Элрика, который нёсся прямо на него. У Элрика был сегодня ещё более свирепый и воинственный вид, чем обычно, его налитые кровью глаза ещё больше напоминали глаза быка. Клитон был рад его приходу: вот человек, на которого стоит излить своё раздражение, это не то, что мелкая сошка Фред Сколби или раскрашенная девчонка из сборочного. Поругавшись как следует с Элриком, он отведёт душу и не будет

больше срывать злость на ни в чём не повинных рабочих.

— Ну-с,—начал Элрик как раз таким тоном, какой нужен был Клитону.

— Что означает ваше „ну-с“?—отпарировал Клитон, глядя на него в упор.

Элрик указал жестом на ряд бездействовавших машин.

— Это что такое? Можно подумать, что война кончается.

— А на самом деле мы её, кажется, никогда не начнём!

— Оставим в покое войну,—сердито оборвал Элрик.

— Вы сами о ней заговорили, не я...

— О, господи!—воскликнул Элрик.— Заткнитесь, Клитон! Скажите лучше, что такое у вас тут делается? Прогулы?

— Трое. Один — ручаюсь чем угодно — не вышел после попойки, другой сделали какую-то операцию — тут уж ничего не скажешь, верно? Ну, а третья — о ней вам, я думаю, известно. Это та, что позавчера порезала руку, Джойс Диржерст.

— Так она не ходит на работу?—сказал Элрик нахмурился.

— Да, пользуется случаем,—отозвался Клитон.— Я спрашивал о ней вчера сестру Файли. От сестры-то я и узнал, что вам об этом известно. Значит, всё в порядке, не так ли?

Элрик не ответил и только недовольно посмотрел на него.

— А я так примечаю,—продолжал Клитон, втайне наслаждаясь,—что девушка эта совсем не любит работать. Да, да. Я это с первого дня заметил. Ничуть не удивлюсь, если мы её больше не увидим, то есть, может быть, и увидим, но не на заводе, а в какой-нибудь здешней лавке, где

она отвесит нам четыре унца леденцов или чего-нибудь в этом роде...

Тут Клитон, к своему удивлению, заметил, что у Элрика лицо уже не сердитое, а какое-то жалкое и убитое. Это был совсем не тот Боб Элрик, с которым он любил препираться и „задирать“ его. Вчера они с сестрой Файли обменялись мнениями насчёт Элрика и этой девушки и посмеялись над его слабостью. Но сейчас, увидев этого нового, незнакомого Элрика, Клитон понял, что тут не до смеха.

— Послушайте, мистер Элрик, — начал он сконфуженно.

В Элрике моментально произошла перемена. Лицо его опять приняло гневное и вызывающее выражение.

— Чего ещё слушать? Мне некогда, Клитон. Я зашёл мимоходом, только для того, чтобы сказать вам, что ваше отделение надо привести в более приличный вид, а то оно похоже на благотворительный базар в ненастный день. Сегодня завод будут осматривать два типа из министерства. И я уверен, что они нас возьмут в оборот!

— А почему? Разве у нас что неладно? — спросил Клитон с искренним удивлением.

— Я откуда знаю? Я не сидел с ними вчера вечером, когда они, вероятно, всё это обсуждали.

— Вчера вечером? Да их тут вчера вечером ещё не было.

— А разве я сказал, что они были тут?.. Им это и не нужно, чтобы решить, что именно у нас хромает.

Клитон был потрясён.

— Не пойму я что-то, мистер Элрик... Должен же быть какой-то смысл в...

— Не говорите мне ничего о смысле, — почти закричал Элрик. — Потому что я хорошо знаю,

что его ни в чём нет, что всё бессмысленно. С неба вы свалились, что ли? Нет, не говорите мне ничего. Лучше постарайтесь сегодня подтянуть вашу честную компанию. Посмотрите, например, на ту толстуху...

— Она с фермы. Ей кажется, что она всё ещё доит коров.

— Так ступайте и разубедите её в этом! Или, по-вашему, этим должен заниматься я? О, господи! Действуйте, Клитон, вместо того чтобы разговаривать.

И Элрик умчался, не дав Клитону, к большой его досаде, сделать новый энергичный выпад. Но старый мастер знал, что Элрик, при всех его недостатках и вспыльчивости, не стал бы поднимать шум из-за пустяков. И, ворча про себя, прошёл вдоль ряда, сделал несколько резких замечаний Фреду Сколби, затем пошёл жаловаться, что работа в его отделе сильно задерживается из-за отсутствия материалов. Полученный им ответ ничуть не улучшил его настроения. Какая-то сопливая девчонка ему заявляет, что новые болванки делает не она. Как будто он сам этого не знает!

Возвратясь к своему месту, он застал там незнакомого господина, розового, откормленного, самоуверенного. Он разговаривал с Фредом Сколби, и у Фреда тон был извиняющийся.

— Ладно, Фред, ступайте,— сказал Клитон отрывисто. И обратился к посетителю:

— Я мастер этого отделения. Вам что угодно?

— А, Клитон! Вы меня не помните?

И тогда Клитон, конечно, узнал его. Ведь это втируша Монтегю, которого в 1938 году назначили заместителем управляющего, а потом, в начале войны, мистер Чевииот уволил. Откуда он опять взялся?

— Теперь я вас узнал,— сказал Клитон без особого воодушевления, но довольно вежливо.— Что, завод осматриваете, мистер Монтегю?

— Осматриваю завод,— подтвердил Монтегю с оттенком какого-то не очень приятного удовлетворения.— Я теперь в министерстве служу, Клитон.

— Вот оно что! А я об этом понятия не имел.

— Да, в министерстве. Инспектором.

— Так, так.

— Сегодня вы, кажется, не перегружены работой, а, Клитон?

— Да, работы мало. Во-первых, нам не доставляют болванок. Я тут ничего не могу поделать, не так ли?

— Вас никто и не винит.— Монтегю говорил довольно резко, должно быть, возмущённым тоном Клитона.— Но, помимо этого, мне кажется, есть некоторые недочёты, которые вы легко могли бы устранить.

— Какие, например?— Тон у Клитона был ворчливый.

— Я вам сейчас покажу.

— Нет, мистер Монтегю, вы мне не показываете, а просто скажите.

Монтегю смерил его ледяным взглядом.

— А почему мне не показать их вам, Клитон? Не нравится мне позиция, которую вы заняли!

— Никакой позиции я не занял,— сказал Клитон решительно.— И никакой обиды тут нет, если вы это имеете в виду, мистер Монтегю. Если бы у меня работали наши старые, опытные рабочие, которых с толку сбить не так-то легко, я бы не возражал, чтобы вы обошли со мной хоть всё отделение и делали мне замечания при них. Но сейчас другое дело, понимаете? У меня тут уйма новых людей, которые ни черта в деле не

о́мыслят, и если вы или кто-другой начнёте ходить со мною от станка к станку да учить меня при них уму-разуму, некоторые из них завтра же начнут мне перечить и заявлять, что я сам ничего не понимаю. А сейчас и без того работу налаживать нелегко. Так что вы мне ничего не показывайте, а просто скажите здесь. Я и так пойму. Как-никак, не первый день работаю...

Монтегю и не пытался скрыть своё раздражение.

— Не думаю, чтобы мистер Чевинот одобрил такое ваше поведение, Клитон.

— А я думаю, что одобрит, если ему объяснить всё так, как оно есть,—возразил Клитон твёрдо.—Я мистера Чевинота знаю немало лет. Он человек толковый...

Монтегю проглотил обиду и даже слегка улыбнулся.

— А с Блэндфордом вы ладите, Клитон?

— А мне с ним, с мистером Блэндфордом то есть, мало приходится иметь дела... Он, конечно, человек другого сорта, чем те, с кем я привык всю жизнь работать, но, видимо, в нашей работе разбирается. Все говорят, что он хороший инженер. Впрочем, мне, конечно, больше всего приходится иметь дело с мистером Эриком.

— Ах, да, Эрик. Ну, а о нём что вы скажете?

Клитон посмотрел ему прямо в глаза.

— Мистер Монтегю, вы не хуже меня знаете Боба Эрика, зачем же спрашивать?

— Когда я знал его, он ещё не был главным инженером,—сказал Монтегю.—И с тех пор прошло немало времени. Человек меняется, особенно когда его так быстро продвигают. До меня дошли кое-какие слухи об Эрике, вот и всё.

— Слышал и я разное,—сказал Клитон с готовностью и тотчас же подметил огонёк, вспых-

нувший в глазах Монтегю.— И мы с ним частенько ругаемся. Вот ещё сегодня утром была у нас перепалка. Некоторые мастера и помощники его не любят.

— Я так и думал,— сказал Монтегю быстро, слишком быстро.

— И, конечно, у нас на заводе всё идёт не так гладко, как следовало бы...

— Далеко не так гладко!— подхватил Монтегю опять что-то слишком уж торопливо.

— Но я вам скажу, что я думаю, мистер Монтегю. Моё мнение такое, что всё было бы много хуже, прямо сказать, чертовски плохо, если бы не Боб Элрик.

— Почему вы так считаете, Клитон?

— Я ведь работал, не забудьте, и с другими, не только с ним,— сказал Клитон с ударением и мысленно добавил: „С тобой, например“.

У Монтегю на языке вертелся резкий ответ, но он сдержался. Он смотрел в упор на Клитона, которого это несколько не смущало.

— Вы, я вижу, в последнее время стали разговорчивы,— сказал, наконец, Монтегю.

— Как раньше, так и теперь. Болтуном меня никто никогда не называл, но я, как всякий человек, люблю высказать своё мнение. Это понятно, не так ли? А как там, в Лондоне, мистер Монтегю? Двигают войну, а?

— Двигают не хуже, чем вы здесь, Клитон.— И Монтегю, чувствуя, что лучшего заключительного выпада ему не придумать, простился с Клитоном коротким кивком, без улыбки и торопливо ушёл, сохраняя важный, официальный вид. А Клитон насмешливо посмотрел ему вслед. Настроение у него немного улучшилось.

Берта Сьюэлл, одна из помощниц миссис Холт, знала, что этот завтрак в маленькой столовой для служащих затеян по какому-то особому случаю. Утром заходил мистер Проскот и совещался очень серьёзно с миссис Холт. Ожидали двух гостей, важное начальство из Лондона, и завтрак заказан был на десять человек. Им приготовили овощной суп, жаркое с картофелем, сладкий рулет с коринкой, печенье, сыр и кофе. Ничего особенно замысловатого, но хороший, солидный завтрак, за который они должны быть благодарны, откуда бы они ни приехали, из Лондона или не из Лондона.

— Я сама буду накладывать на блюда, — сказала Берте миссис Холт. — А ты будешь прислуживать за столом, Берта. Я знаю, что на тебя можно положиться.

На Берту действительно можно было положиться, так как Берта три года служила в кафе „Под старым дубом“ в Фарлее. Она ушла оттуда только после того, как вышла замуж за Тома Сьюэлла, у которого тогда была очень хорошая работа в мастерской электроприборов на Маркет-стрит. Теперь Том служил в авиации, в аэродромной команде, где-то около унылого восточного побережья. А Берта, оправившись после неудачных преждевременных родов, бывших для неё тяжёлым разочарованием, поступила на Элмдаунский завод. В заводской столовой работы было не больше, чем в кафе, и Берта несравненно меньше уставала, потому что здесь не приходилось так много часов быть на ногах. Кроме того, платили гораздо больше, и никто не нахальничал и не помыкал ею, как в кафе, где некоторые посетители, кажется, воображали, что они

вместе с порцией жареной камбалы с картошкой покупают и тебя. Если бы не тоска по Тому и счастливой семейной жизни, Берта, в сущности, не замечала бы войны. Разумеется, затемнение очень противная штука. Но зато теперь люди казались ей гораздо приятнее, чем были до войны. Некоторые люди в Фарлее, прежде спесивые, переменились так, что их не узнать.

Оттого что у Берты была пышная фигура, волосы настоящие белокурые (про неё так и говорили: „Посмотрите-ка на эту блондинку“), смелые голубые глаза и довольно громкий, уверенный голос, вряд ли кто догадывался, что она была очень робка и застенчива. Но, когда дело доходило до попыток объяснить свои глубоко затаённые мысли и чувства, её застенчивость становилась очень заметна. В этом отношении она была полной противоположностью Тому, который не только любил слушать себя самого, но и прочитал уйму книг о политике и состоял членом какого-то „Клуба левой книги“. Хотя Том и два-три его товарища без конца говорили о нацистах, и фашистах, и Китае, и Испании, а позднее о войне, Берте далеко не всё было ясно. Том утверждал, что эта война — дело рук богатей всего мира, что они боятся коммунизма и поэтому поддерживают Гитлера и Муссолини и подобных им людей, которые все против коммунистов. Но если это так, — спрашивала Берта, — так почему же богачи у нас в Англии не отказываются воевать, посылают своих сыновей на смерть и платят такие большие налоги, чтобы было на что вести войну против Гитлера? А Том в ответ объяснял, что эти богачи были глупы и поняли слишком поздно, что с наци и фашистами каши не сваришь. И ещё он говорил, что даже сейчас эти люди не хотят, чтобы война стала

настоящей народной войной (это какая-то особая война, которую Том предпочитал всем другим), и намерены после войны удержать власть в своих руках. Да, Берта находила, что всё это трудно понять, и робость мешала ей говорить об этом с другими. Но она очень много размышляла. Она всегда старалась сама разобраться во всём, хотя это было нелегко.

Накрытый для завтрака стол в маленькой столовой выглядел очень нарядно, и миссис Холт даже добыла для этого случая хризантемы. В четверть второго в столовой собрались все джентльмены, кроме мистера Чевюта, который прислал сказать, чтобы начинали, не дожидаясь его, так что Берта подала суп. Один из лондонских гостей говорил громким и каким-то свистящим голосом, как говорят по радио некоторые видные люди. Другой был не очень-то похож на джентльмена. Всех остальных Берта, разумеется, знала, так как подавала много раз в этой столовой. Мистер Блэндфорд был сегодня очень любезен и, видимо, чем-то доволен. Зато мистер Элрик, который часто бывал так весел и умел всякого рассмешить, сегодня сидел надутый и почти неразговаривал. Мистер Проскот, конечно, был мил, как всегда, но, как и следовало ожидать, волновался. За столом говорили всё о делах да о войне, — то, что говорят повсюду.

Затем, как раз когда она подавала тушёную говядину, вошёл мистер Чевют, и Берту прямо-таки поразил его вид: он был совсем не тот, что всегда — большой, спокойно улыбающийся человек, а какой-то съёжившийся, и озабоченный, и усталый. Когда она спросила, будет ли он есть суп, он только покачал головой. Ни обычной улыбки, ни приветливого слова. А потом Берта заметила, что он безучастно смотрит на жаркое

и ковыряет его вилокй, как человек, который думает о другом или которому не нравится еда. А мистер Элрик теперь уставился на джентльменов из Лондона с таким выражением, словно собирался с ними ссориться. И только молодой мистер Энгбл, человек здесь новый и немного застенчивый, старался поддерживать разговор с мистером Блэндфордом и лондонцами.

Кое-какие из этих своих наблюдений Берта сообщила миссис Холт, в то время как обе они ждали, когда можно будет подать сладкое. И миссис Холт, всегда хваставшая своей осведомлённостью обо всём, что делается на заводе, объяснила Берте, что те двое из Лондона приехали для ревизии и, видно, не особенно довольны заводом, а мистер Чевинот расстроен и этим и кучей всяких других вещей. Мистер Чевинот нравился им обеим. Что же касается его помощников, тут их мнения расходились. Миссис Холт решительно предпочитала мистера Блэндфорда; мистер Элрик ей совсем не нравился, она находила его грубым и вульгарным, он слишком много пил и вёл себя неприлично. А Берта питала слабость к Элрику за то, что он замечал людей и, разговаривая с нею, помнил, что она женщина, и притом собою недурна. За то, что он был душевный человек и настоящий мужчина, — иногда хмурился, а иногда в его тёмных глазах зажигались лукавые искорки. Стоило только на него взглянуть, чтобы стало ясно, что он может натворить бед и что за таким мужем нужен глаз. Но чувствовалось, что на дурное он не способен, а все его выходки только от глупой слабости и безрассудства.

Ссора началась, когда Берта подавала рулет с коринкой. Лондонец с громким, свистящим голосом рассказывал всем что-то, видимо, очень

его забавлявшее и вызывавшее смех некоторых слушателей. Берта была слишком занята своим делом и не расслышала, о чём шла речь. Но несколько минут спустя она уже имела возможность слушать всё внимательно.

— А я не вижу тут ничего забавного,— сказал мистер Элрик, когда смех затих. И было в его голосе что-то, испугавшее Берту. Этот тон не предвещал ничего доброго.

— Спокойнее, Боб,— пробормотал мистер Чевит, который, как показалось Берте, не очень-то вслушивался в предыдущий разговор.

Заговорил второй лондонец, и было заметно, что он не любит мистера Элрика.

— А почему же вы находите, что это не смешно?

— Я скажу иначе,— ответил мистер Элрик запальчиво.— Смешно это или нет, но мне это не понутру. Надоели такие анекдотики! Мне не смешно, когда люди делают своё дело недобросовестно или когда правительственные учреждения затевают между собой нечто вроде шахматной игры.

— А мы находим, что юмор весьма полезен,— сказал лондонец со свистящим голосом.

— Если вам не смешно, так не смейтесь, вот и всё,— вставил его товарищ.

— Сначала вы спрашиваете меня, почему меня это не смешит, а потом заявляете, что не хотите этого знать,— заметил Элрик ещё запальчивее.— Ну, я всё-таки объясню вам, почему мне не смешно. Война— это не сдвоенный номер „Панча“, понимаете? Мы боремся за свою жизнь. Половина Европы умирает с голоду. Польских школьниц насильно загоняют в публичные дома. Люди, которых мы знали, наши товарищи, слу-

жат вместо чучел японцам, которые учатся владеть штыком. Пол-России сожжено; разорено, разграблено дочи́ста. А мы продолжаем смаковать анекдотики о нашей бездеятельности и беспомощности, шутки, исходящие из Вестминстера, болтовню из Уайтхолла, самые последние слухи из министерств. Этим ещё можно было забавляться в октябре тысяча девятьсот тридцать девятого года, но в октябре тысяча девятьсот сорок первого года это уже не смешно!

— Так-то так, Элрик,— отозвался кто-то из присутствующих (не лондонец),— но посмеяться неврeдно. Наоборот, полезно.

— Полезно! — закричал Элрик.— Ох, и надоело же мне слышать эту фразу! Пускай смеются наши ребята в окопах, если их что-нибудь способно развеселить. Пусть моряков на военных судах тешит весёлая шутка, если они ещё способны шутить. Но, ради бога, давайте прекратим в тылу эти упражнения уайтхоллских юмористов! Кто-нибудь делает дьявольскую глупость, из-за которой, вероятно, где-то какие-то бедняги лишаются рук и ног, а мы все весело хохочем, и это нам помогает мириться с такими вещами. А вот если мы перестанем хихикать, нам будет гораздо труднее мириться, и тогда мы вышвырнем к чорту несколько дорого стоящих нам шутов и начнём воевать как следует.

Человек шесть заговорили все разом, но Берте пришлось уйти наливать кофе. Они с миссис Холт слышали из столовой голоса, звучавшие всё громче и громче, но слов невозможно было разобрать. Когда же Берта, подождав несколько минут, чтобы дать джентльменам время доесть пудинг, подала, наконец, кофе, она заметила, что громкоголосый гость, видимо, сильно не в духе, а второй, мистер Монтегю, стоит против

Элрика, и оба через стол меряют друг друга яростными взглядами.

— И я ни от одного своего слова не откажусь,— говорил Элрик.— Нравится вам это или не нравится, а скушать придётся.

Поднялся хор протестов, но их покрыл голос мистера Чевииота, звучавший очень резко.

— Вы ведёте себя недопустимо, Боб! Незачем было поднимать историю. Как-никак, они наши гости. Я вынужден извиниться за вас.

— Простите,— сказал Элрик, но не лондонцам, а мистеру Чевииоту. И, сказав, поднялся и вышел из комнаты. Мистер Монтегю сел на своё место. Берта начала обносить всех кофе. Руки её немного дрожали, её встревожила сцена, которой она была свидетельницей. Она не любила, когда люди выходят из себя, скандалят, а когда это делали люди образованные, видные, которые должны были бы уметь себя вести, это её безотчётно пугало, даже тогда, когда её лично не задевало.

— Он безусловно неправ,— сказал лондонский гость с резким голосом. Когда он говорил, казалось, будто он каждое слово насаживает на булавку,— может быть, оттого, что его речь звучала так напыщенно, таким снисходительным презрением.— Какой смысл принимать всё слишком серьёзно? Все мы напряжённо работаем, и когда слышим, что кто-то отколол какую-нибудь штуку, идеотскую до комизма, мы смеёмся. Смех ослабляет напряжение, в котором мы живём, и мы чувствуем себя лучше. Верно, Монтегю?

— Ну, конечно,— подтвердил Монтегю угрюмо.

— И вы, надеюсь, тоже такого мнения, мистер Чевииот?

Мистер Чевииот поднял голову. Он в эту минуту обрезал сигару.

— Не хотите ли сигару?

— Нет, спасибо. Я их не курю. Если позволите, я возьму папиросу.

Мистер Чевинот аккуратно обрезал и зажѐг сигару, затем медленно встал.

— Вы ещё посидите, господа, торопиться незачем, а меня уж извините. У меня накопилось много дела, потому что утром сегодня не удалось поработать... Нет, нет, вовсе не из-за вашего приезда! Я сегодня узнал, что мой сын, который служит в береговой авиации, со вчерашнего дня не возвращался из полѐта... И, быть может, поэтому я, хотя и не одобряю поведение Элрика, скорее согласен с его мнением, чем с вашим, мистер Сэдли. Ну, я пойду, вы меня извините,— и он, тяжело ступая, вышел из столовой.

Когда Берта рассказала миссис Холт, что говорил мистер Чевинот, глаза миссис Холт немедленно наполнились слезами. Миссис Холт была очень чувствительна и отзывчива, хотя иной раз создавалось впечатление, что она слишком уж, пожалуй, упивается своей жалостью.

— Такой красивый молодой человек! — воскликнула она. — Он приезжал сюда раза два во время отпуска, и видно было, как отец гордится им. Пропал без вести со вчерашнего дня? Ну, значит, надеяться больше не на что!

Берта не хотела с этим согласиться. Она заметила, что иногда лѐтчиков подбирают в лодки и они числятся пропавшими без вести день-другой, а потом отыскиваются.

Это не особенно понравилось миссис Холт, и она очень резко оборвала Берту:

— Это исключительные случаи. Нет, бедный мальчи́к погиб, это ясно. Какой страшный удар для матери! — добавила она с каким-то удовольствием. — Надеюсь, мистер Чевинот выпил кофе?

Ведь каких трудов здесь стоит приготовить чашку хорошего кофе!

Берта не прослезилась, как миссис Холт, хотя и она видела сына мистера Чевииота и восхищалась им. У Берты было тяжело на душе, она ощущала непонятную пустоту и растерянность. Каким-то необъяснимым для неё образом всё, что она видела, слышала, что передумала и переживала за последний час, то, что пыталась понять из разговоров о войне, связывая это с ранившими душу мыслями о Томе, поведение мужчин за завтраком, бурное отчаяние Элрика, делавшее его таким грубым, злобное возмущение лондонского ревизора, неожиданное тяжёлое горе мистера Чевииота — всё это слилось в одно чувство, которому не было названия. И от него ей было так не по себе, от него рождалась пустота в душе, серая тоска, ощущения человека, заблудившегося в тумане.

Машинально, не сознавая, что делает, Берта села, сложила руки на коленях, потом крепко стиснула их. Поглядела на миссис Холт.

— Ведь все мы, как связанные... Правда? Я хочу сказать, мы как-то не можем сдвинуться с места... разве только тогда, когда... — она помолчала. — Разве только, когда дело коснётся кого-нибудь очень близкого — дружка или любимого мужа... да и то не всегда, конечно...

— Не понимаю, о чём ты говоришь, Берта, — сказала миссис Холт отрывистым тоном, ибо порывы чувствительности у миссис Холт проходили так же быстро, как появлялись. — А я скажу только одно: они уже ушли, и чем скорее ты примешься за уборку, тем будет лучше для всех нас.

В столовой стоял густой табачный дым, пахло едой, и, казалось, ещё не ушли тени людей, ещё

звучат их громкие споры, взрывы возмущения и злобы, тайная печаль.

„О, Том! — промолвила вслух Берта и вдруг рассердилась на себя и принялась усердно убирать со стола, чтобы удержать слёзы. — О, Том!“

28

Чарльз Фортескью Сэдли, приехавший с Монтегю в качестве уполномоченного министерства авиационной промышленности, вышел после завтрака из столовой подавленный и обеспокоенный. Он не любил эти поездки на заводы, навязанные ему недавно из тех соображений, что если придётся принимать какие-либо меры, то лучше, чтобы технического представителя сопровождал опытный штатный работник министерства. Сэдли находил такое решение правильным, но самая миссия ему претила. Во-первых, он не имел никаких технических знаний и ни капельки не интересовался авиационной промышленностью и техникой вообще. Он занимал раньше какую-то чисто административную должность в министерстве авиации, а министерство авиации ссудило его министерству авиационной промышленности. Когда-то, окончив Оксфордский университет, он поступил в министерство просвещения и теперь постоянно мечтал вернуться туда и навсегда расстаться с авиацией, изобретателями и инженерами. Война была для него кошмаром невероятно раздутых ведомств и учреждений, куда набирали всякий сброд, неожиданных опасных экспромтов, которые часто являлись уступкой общественному мнению, суеты, хлопот, переутомления, убийственных неудобств в быту. Он не верил в возможность создания какой-то новой, иной Бри-

тании, потому что был убеждён, что не верят в это и те, в чьих руках фактически находится власть, а в то же время с ужасом замечал, что старая Британия, в которой он чувствовал себя так надёжно, и удобно, и уютно, расплзается по швам, умирает. И эти громадные новые заводы — пренеприятные, по его мнению, места — ещё усиливали его растерянность и страх. Разумеется, они необходимы. Никто не знал этого лучше, чем он. Но в них было что-то неанглийское, тревожащее.

А тут ещё смутившая всех и никому не нужная сцена во время завтрака, когда этот главный инженер завода, Элрик, неожиданно разбушевался и затем выскочил из комнаты! Отвратительная сцена! Люди, занимающие ответственные посты и допущенные к завтраку с представителями министерства, не должны позволять себе такие выходы. Им следовало внушить — всё равно, как бы недавно они ни были выдвинуты, — что успешное руководство немыслимо там, где между руководителями происходят такие сцены. Порыв Элрика представляется ему не только выходкой самого дурного тона, но и актом предательства, действиями члена пятой колонны, представителя вульгарной, шумливой черни. И Сэдли, человек обычно довольно мягкий (вопреки своей наружности раздражительного брюзги, страдающего дурным пищеварением), сейчас мысленно решил, что он вместе с Монтегю, ненавидевшим этого Элрика, пошлёт министерству самый резкий отзыв о нём. Он уже придумал две-три отточенных фразы, которые, как он знал, будут оценены по достоинству Фарли Джонсоном и Грюю. Эти двое были достойные товарищи, люди, владевшие пером, способные насладиться злободневной остротой, единственные люди в их отделе, рав-

ные ему по быстроте, с которой они решали кроссворды из „Таймс“ во время утреннего путешествия из Сэррей в контору.

Уговорившись с Монтегю, что они уедут вместе в половине четвёртого, Сэдли умышленно отделился от остальной компании и направился в учебное отделение. Он рассчитывал, что там поспокойнее, чем в главном здании. К тому же Фарли Джонсон просил его собрать кое-какие сведения относительно учебных цехов. Он считал, что при всех обстоятельствах успеет сделать это до половины четвёртого, а там сядет на своё место в автомобиле, закроет глаза и решительно пресечёт все попытки Монтегю, утомительно-словоохотливого и довольно-таки надоедливого малого, завести с ним разговор. Можно будет сослаться (не совсем отступая от истины) на то, что у него болят и глаза и голова.

В учебном работали, конечно, всё те же убийственные станки, но здесь они были размещены на довольно большом расстоянии друг от друга и производили меньше шума. После грохота и слепящего света в главном здании здесь казалось тихо и довольно терпимо. Сэдли с удовольствием осмотрелся. Отличная затея — эти учебные цеха.

Он с непринуждённой любезностью объяснил, кто он такой, мастеру, беззубому старику, говорившему с ужасным шотландским акцентом. Сэдли мысленно сострил, что у этого субъекта зубы, наверное, атрофировались потому, что он их не употреблял при произношении согласных. Мастер между тем смотрел на него, жуя губами, с меланхолическим выражением. И Сэдли, уже не в первый раз за этот день, подумал, что эти люди ему совершенно чужды и непонятны и он не сумел бы разговаривать с ними непосред-

венно и просто, как с себе подобными. Он испытывал такое чувство, как будто обращается к жителям какого-то дальнего материка, чернокожим туземцам, которые слушают его молча, опершись на копья, и по какой-то случайности понимают его язык.

С другой стороны, не легко было и ему понять ответы этого мастера. Всё же Сэдди удалось получить кое-какие основные сведения о работе учебного цеха, после чего он сказал, что хочет, походить здесь и поговорить с учениками. — Видите ли, — пояснил он Джокку, — наше министерство намерено в скором времени выпустить сообща с министерством труда отчёт о том, как проведён на практике план подготовки квалифицированных рабочих на авиационных заводах.

— Так, — произнёс мастер, вложив в это коротенькое слово изрядную дозу скептицизма. — Так...

Одно мгновение оба смотрели друг на друга через разделявшую их широкую пропасть, затем разошлись.

Первым привлёк внимание Сэдди мальчик, круглое краснощёкое лицо которого имело младенчески невинное выражение.

— Ну-с, молодой человек, — сказал Сэдди с деланной улыбкой и той фальшивой сердечностью, с какой люди солидного возраста обращаются к детям. — Расскажите-ка, чему вас здесь учат.

— Я не учусь, я уже работаю, — возразил мальчуган бойко. — Видите, вставляю эти пластины вот сюда, и машина пробивает в них дырки. Вот так, смотрите! И Джок говорит, что из них сделают части самолётов — настоящих, всамделишных самолётов!..

— Обязательно сделают. А как тебя зовут?

— Рэндольф Перкинс. Папа у меня в армии, он уехал в Сингапур, и мы не знаем, что с ним случилось. А я самый старший. У меня есть двое братишек и сестрёнка, но они ещё маленькие.

— Ты, я вижу, молодец, Рэндольф, — сказал Сэдли немного торопливо и нервно. — И давно ты здесь?

— Только с этой недели. Теперь я встаю утром раньше всех. У меня есть будильник, мне дед подарил, — похвастал Рэндольф.

— Вот как! А тебе нравится здесь работать?

— Нравится, — сказал Рэндольф серьёзно, как взрослый взрослому. — Здесь, по-моему, очень хорошо. Мама говорила, что мне здесь может не понравиться, и весь тот день, когда я в первый раз пошёл на работу, она плакала. И вчера вечером тоже немного поплакала, но это, наверное, оттого, что тётя сказала ей что-то про нашего папу... Нет, мне здесь хорошо. И вчера сюда к нам приходил настоящий лётчик, командир звена, и разговаривал со мной. И руку подал! А вы тоже работаете здесь на заводе?

Несколько опешив от такой перемены ролей, Сэдли ответил:

— Нет, я здесь не работаю.

— А где же? — последовал новый вопрос.

— Видишь ли, — сказал Сэдли, с удивлением замечая, что в голосе его появилась заискивающая нота, — я работаю в Лондоне, в министерстве авиационной промышленности.

— А, бю-ро-крат, знаю, — подхватил Рэндольф.

— Что такое? — сердито крикнул Сэдли, меряя мальчика злым взглядом. Но в широко открытых голубых глазах Рэндольфа не заметно было и тени дерзости или лукавства.

— Я слышал, так про вас говорил один рабочий в столовой, — пояснил Рэндольф. — „Чистей-

ший бюрократ“, — вот он что сказал. И ещё добавил, что от этого все задыхаются. А вы не задыхаетесь?

— Нет. Всё это сплошной вздор! — Он опять пристально посмотрел на мальчика, но и на этот раз не обнаружил ничего, кроме полнейшей наивности.

Он в замешательстве пробурчал: — Ну, ладно, Рэндольф, смотри, работай старательно, — выжал из себя прощальную улыбку и отошёл.

Маленькая женщина, у которой волосы прядями висели вдоль щёк, а нос напоминал пуговицу, с ужимками приседала перед ним. Он посмотрел на неё с удивлением и — не без некоторой опаски — подошёл ближе. Женщина поманила его с миной заговорщицы.

— Что вам угодно? — спросил Сэдли.

Она жестом звала его подойти ещё ближе, хотя он и так уже стоял почти вплотную к ней. Он пошёл на компромисс, нагнувшись к ней, так как был гораздо выше её ростом.

— Моя фамилия Фью, — начала она визгливым шопотом, — миссис Фью. И я видела, как вы рассуждали с этим мальчишкой Перкинсом. И вы не первый и не последний ошарашены после разговора с ним. Об этом мальчике одни говорят одно, другие говорят другое. А я скажу: он старомодный — вот он какой. Да.

— Старомодный?.. — Сэдли уставился на неё с беспомощным недоумением.

— Да. Я сразу его определила. Видала я и раньше таких старомодных детей. Вот, например, тот мальчик, что одно время приносил нам покупки из бакалейной лавки, он и с виду точь-в-точь, как этот Рэндольф, хорошенький такой маменькин сынок, щёчки румяные, и глаза такие славные, так и хочется его поцеловать или дать

ему монетку, потому что приятно видеть, как он снимет шапчонку да поблагодарит вежливо, просто любо. Старомодный ребёнок, вот и всё.

— Кто? Мальчик из бакалейной лавки?

— Оба, и тот и этот. Не разберёшь, когда он говорит, дерзкий ли он такой или наивный, смотрит тебе прямо в глаза и говорит такие вещи, за которые ему по-настоящему следовало бы уши оборвать, и муж мой ему пригрозил, что сделает это, то есть тому парнишке из бакалейной лавки, а не этому, потому что этого муж никогда и в глаза не видал, он здесь ведь не работает, да и я здесь человек новый, так сказать... — Тут она, наконец, остановилась, чтобы перевести дух.

— Понятно,— сказал Сэдли, поспешно выпрямившись. — Ну, спасибо, миссис Фью. Надеюсь, вам... э... здесь нравится?

Он спасся бегством, не дав ей времени продолжать эту интимную беседу. Но, боясь показаться смешным, если будет отступать слишком поспешно, остановился, как только оказался от неё на безопасном расстоянии. Рядом, у станка, стояла высокая красивая девушка, видимо, не слишком усердно работавшая. В настоящий момент она была занята главным образом тем, что с весёлым любопытством рассматривала Сэдли.

— Здравствуйте,— сказал он, решив на этот раз не отступать от своей первоначальной программы.— Вы как будто не очень-то заняты?

— Нет, не очень,— ответила девушка совершенно хладнокровно.

— А почему же это так?

— А потому, что я понятливее других, работаю быстрее и кончила работу раньше, а новой для меня не нашлось.

Это явно была не обыкновенная работница, а девушка с образованием, из более высокого социального круга. Сэдли с интересом вглядывался в неё.

— А работать здесь вам нравится?— спросил он и тут же пояснил, что он из министерства.

На неё это, повидимому, не произвело ни малейшего впечатления.

— Я была секретарём мистера Блэндфорда, а потом решила, что здесь, внизу, работать занятнее. Да и денег буду получать больше, разумеется... то есть не сейчас, а тогда, когда я перейду из этого идиотского отделения на настоящее производство.

— Почему же идиотского?

— Да нет, собственно, оно не идиотское, это я так... Джок — наш мастер — ведёт дело очень хорошо. Но мне скучно, потому что вся эта работа такая лёгкая и такая однообразная. И, кроме того, я хочу зарабатывать больше.

— Вот не подумал бы, что деньги имеют такое большое значение для девушки вашего... э... типа, мисс... э...

— Моя фамилия Пиннель, Фреда Пиннель. Вы ошибаетесь, деньги меня интересуют, потому что у меня нет ни шиллинга за душой и всё наше семейство разорено.

— Вы не в родстве с сэром Гаем Пиннелем?

— Он мой дядя... Ах, да, ведь он в вашем министерстве. Ладно, дарю его вам, мне он не нужен. Мы с ним никогда не были в дружбе. А жена у него — брр! Какое ничтожество!

Она холодно оглядела Сэдли с ног до головы.

— А что вы делаете здесь? Разнюхиваете, а потом пошлёте донесение в трёх экземплярах, а?

Сэдли попробовал усмехнуться.

— Мне кажется, что „разнюхивать“ — не совсем правильное определение. А донесение, возможно, и придётся послать. Вам ещё что-нибудь угодно знать, мисс Пиннель? — прибавил он с лёгкой иронией.

Но ирония пропала даром, ибо эту молодую особу смутить было нелегко.

— Нет, как будто ничего, — ответила она с грациозной небрежностью. — Вы, вероятно, находите, что у нас работают с прохладцей? Но где сейчас работают лучше? Рабочие здесь хорошие. Правда, вид у них ужасный, и разговоры их большей частью форменная чепуха, но, в сущности, они народ неплохой. Беда в том, что никто не старается воодушевить их по-настоящему. У большинства жизнь очень унылая, и, естественно, они пали духом. Знаете, в последнее время я начинаю приходить к заключению, что страна наша, что ни говори, — унылая страна. Может быть, в ней слишком долго всё было спокойно, безопасно и прилично.

— Вряд ли вам доставило бы удовольствие жить в странах, где эта, как вы её называете, безопасная и приличная жизнь кончилась, — сказал Сэдли сухо. — Таких стран сейчас несколько на континенте, недалеко от нас.

— Вы хотите сказать, что мне бы не понравилось, если бы мною помыкали эти скоты, нацисты? Вы совершенно правы! — воскликнула Фреда с большей живостью, чем проявляла до сих пор. — Но неужели нам остаётся только одно из двух — либо гнёт нацистов, либо гнёт нашей прежней унылой жизни? Не могу понять... Неужели мы не можем встряхнуться? Вот возьмите, к примеру, хотя бы того субъекта, что сейчас вошёл, вот там, видите? Вы с ним уже, наверное, знакомы...

Сэдли увидел молодого человека в очках, которого уже видел утром за завтраком. Очевидно, кто-то из технического персонала.

— Да, конечно. Как его зовут?

— Морис Энглби. Он инженер, и, говорят, очень дельный. А я добавлю: это полный священной серьёзности, самовлюблённый провинциал. Он скучен... Нет, пожалуй, не то, что скучен, — добавила она поспешно. — Он какой-то несуразный. Вот сейчас будет делать вид, что пришёл сюда к Джоку по делу, а на самом деле он пришёл, чтобы поговорить со мной. И, надеюсь, чтобы извиниться.

— А в чём ему извиняться? — спросил Сэдли. Он, конечно, сознавал, что министерство командировало его сюда вовсе не для того, чтобы стоять и вести такого рода разговоры, но эта девушка вызывала в нём невольный интерес и забавляла его.

— Мы несколько раз болтали с ним наверху и потом здесь. А вчера вечером он пригласил меня поужинать в ресторане, в городе, и мы за ужином начали спорить, — он постоянно спорит, — а затем к нам подошёл один мой знакомый, военный, из части, которая стоит в городе, и... конечно, это моя вина, и человек этот — порядочный нахал... Ну, и Энглби... обошёлся со мной безобразно грубо: он просто-напросто встал и ушёл. Так что он обязан извиниться, как вы думаете? Смотрите, как он юлит вокруг, а не подходит. Пусть, пусть повернется!

— Если это оттого, что я ему мешаю... — начал Сэдли.

— Конечно, оттого, но я непременно хочу, чтобы вы оставались тут! — воскликнула Фреда, обольстительно улыбаясь.

— А он всё-таки идёт сюда.

— Какой наглец! Послушайте, вы ведь из министерства и всё такое, спросите-ка вы его, чего он тут дурака валяет, разве у него другого дела нет? Ну же! Сделайте это для меня!

— Хелло, мистер Сэдли,— сказал Энглби спокойно. — Решили ознакомиться с нашим учебным цехом? Добрый день, мисс Пиннель.

— Здравствуйте, мистер Энглби,— отозвалась мисс Пиннель холодно и сдержанно. И при этом умудрилась бросить Сэдли кокетливый взгляд, говоривший: „Сделайте это для меня“.

— Мисс Пиннель, вы, кажется, окончили работу, которую дал вам Джок,— промолвил Энглби. — Теперь я хочу, чтобы вы проделали для меня на вашем сверльном станке один небольшой эксперимент.

И он протянул ей металлические пластинки, которые до этого момента прятал за спиной.

— Просверлите их так же, как те, что вам давал Джок, и проделайте всё точно так, теми же приёмами: мне нужно рассчитать время операций с новым сортом пластинок.

Он вынул часы, затем посмотрел на Сэдли.

— Иной раз удаётся использовать учебный цех для таких маленьких опытов. Это удобно, не приходится отрывать от работы уже обученных людей. Ну, как, готовы, мисс Пиннель?

Она машинально взяла пластинки, которые он ей протянул, но всё ещё стояла, не двигаясь с места. При его вопросе она вспыхнула.

— Нет, не готова. С какой стати вы мною командуете? Что вы о себе воображаете?

— Я заведую отделом технической рационализации, мисс Пиннель,— сказал Энглби с приводившим Фреду в бешенство терпеливым видом учителя, втолковывающего что-то отсталому ребёнку. — И, если хотите, объясню вам подробно,

почему выбрал для сверления этих пластинок именно вашу машину. Видите ли...

— Ах, оставьте меня в покое! — вспыхнула Фреда.

Сэдли бросил быстрый взгляд на Энглби — как раз во-время, чтобы заметить сквозь левое стекло очков, как подмигнул ему молодой человек. И за всё время, проведённое им в учебном цеху, это был единственный момент, доставивший Сэдли истинное удовольствие. Он неожиданно почувствовал дружеское расположение к молодому инженеру и мысленно заметил себе его фамилию. Но вслух сказал только:

— Ну, мне пора. Нет, не трудитесь меня провожать, мистер Энглби, я найду дорогу. До свиданья. До свиданья, мисс Пиннель. Если позволите, я передам от вас привет вашему дядюшке. Увижу его, вероятно, завтра.

Уходя, Сэдли посмеивался про себя. Впервые за весь день он, сам не зная почему, пришёл в хорошее настроение.

— А теперь забирайте свои идиотские пластинки! — крикнула Фреда, швыряя их Энглби.

— Нет, вставьте их в машину, — возразил Энглби без улыбки. — Мне действительно нужно проверить хронометраж.

— А я думала, что вы пришли извиниться, — сказала она менее самоуверенно, чем обычно.

— Извиниться? Конечно, нет. В чём мне перед вами извиняться?

— В том, что вы вчера вели себя по-хамски. Пригласил ужинать и затем ушёл, как ни в чём не бывало! Я была в бешенстве. И сейчас ещё в бешенстве.

— Очень жаль, — сказал он небрежно. — Но общество вашего друга, полоумного майора, видимо, доставляло вам большое удовольствие, а я

решил, что довольно наслушался пустой болтовни за этот вечер, и оставил вас вдвоём.

— Уж не воображаете ли вы, что после этого я ещё когда-нибудь соглашусь встретиться с вами?

— Воображаю. Я как раз собирался пригласить вас на завтра вечером. — В тоне его не было ни следа раскаяния или тревоги. — А теперь вставьте, пожалуйста, пластинки и пустите машину. Мне необходимо проверить время.

И Фреда вставила пластинки и пустила машину. Она не хотела этого делать. Более того, она намеревалась бросить пластинки на пол и сказать ему, чтобы он не смел больше никогда подходить к ней. Но что-то помешало ей выполнить это намерение. И, не успев даже сообразить, почему так вышло, она сделала то, что ей было сказано. Следя за машиной, она мысленно решала, как быть завтра вечером... Конечно, с его стороны верх наглости опять пригласить её, да ещё так небрежно, без тени сожаления о вчерашнем. Но если она не пойдёт, то она не сможет его проучить, а это непременно нужно сделать. И не пойти — значит, наказать не его, а самое себя, потому что ей будет скучно.

— Я поеду завтра, но с одним условием, — сказала она неожиданно для самой себя.

Энглби протестующе поднял руку.

— Одну минуту, дайте мне записать время.

— А ну вас к чорту с вашими опытами! — крикнула Фреда в порыве ярости и протянула уже руку, чтобы остановить машину.

Но рука Энглби, большая, сильная, схватила эту руку у кисти и удержала. Он смотрел на Фреду холодным и властным взглядом, будившим в ней целый ворох непонятных чувств.

— Не дурите, Фреда. Страна ведёт войну,

и мы с вами работаем на оборону. Мне нужны эти данные, и нужны сегодня. Поговорить мы успеем в ресторане. А сейчас я работаю. Давайте скорее.

С громко стучавшим сердцем повернулась Фреда к машине. Под этой неожиданной покорностью кипела злость на него, на себя. Она чувствовала, что придётся отныне постоянно встречаться с ним по вечерам, иначе она никак не сможет отплатить ему. Она победит его, а потом сведёт с ним счёты, с этим самоуверенным грубияном в очках!

Она украдкой бросила на Энглби быстрый взгляд и убедилась, что вид у него вовсе не торжествующий и что он внимательно следит за стрелкой своих часов. „В нём всё же есть что-то, — подумала она. — Какая-то сила, сдержанная и властная...“

Оба уже забыли о мистере Сэдли так прочно, как будто никогда и в глаза не видели этого джентльмена.

29

На заводе только что кончился рабочий день, хотя часы показывали уже поздний вечер. Дневная смена ушла, ночная ещё не приступила к работе. Был тот короткий перерыв, когда шум машин утихает и в большом зале целые акры тени. Только кое-где ещё работали несколько человек, — чинили или налаживали станки. Стук их молотков и громко перекликавшиеся голоса терялись в пустоте огромного помещения и только подчёркивали непривычную тишину. На дальнем конце цеха кто-то невидимый, — вероятно, один из учеников, — насвистывал что-то печальное и нежное, словно сюда залетела неизвест-

ная птица. Чевиоту на галлерее (он стоял, сгорбившись, у двери своего кабинета) это насвистывание было ясно слышно, и меланхолический мотив вплетался в его мысли.

Он устал, и делать ему здесь больше было нечего, но идти домой не хотелось. Он тяжело привалился к массивным перилам и смотрел вниз невидящим взглядом. Монтегю и Сэдли уехали давно, увозя свой доклад министерству. После этого у Чевиота был ряд серьёзных совещаний — с Блэндфордом, с Элриком, с несколькими другими работниками завода. Была и продолжительная беседа с группой заводских старост. Остаться здесь ему больше было незачем, так как ночная смена не требовала его непосредственного наблюдения. Но он всё не уходил.

Он оставил дверь в коридор открытой и сейчас услышал тихий звук, который привлёк его внимание. Он посмотрел туда, откуда слышался этот звук. Лампы наверху горели (их вообще никогда не выключали), и Чевиот увидел Сэмми Хэмпа, подметавшего коридор.

— Поздно же вы сегодня убираете, Сэм, — сказал он тихо. — А я-то думал, что здесь полы натирает старый Джо.

— Так оно и есть, мистер Чевиот, — сказал Сэмми, подходя к перилам со щёткой и всеми прочими принадлежностями. — Но Джо сегодня не вышел на работу. У него прострел. Пришлось мне натирать. Сейчас только кончил.

— Так повремените, Сэм. В последнее время нам с вами не часто удаётся поговорить. Папиросу хотите?

— Спасибо, не откажусь, мистер Чевиот. Закурив, оба прислонились к перилам и некоторое время молчали, думая каждый о своём. Стоя

здесь, словно вися в пространстве над громадным, неясно видимым, таинственным залом, ярко освещённые сверху и сзади, эти двое казались героями народной сказки — утомлённый великан и добрый старенький карлик.

— Слышал я, — начал Сэмми после некоторого колебания, — насчёт вашего сынка, мистер Чевииот. Все тут у нас уже знают... И мы все очень вам сочувствуем, мистер Чевииот.

— Спасибо, Сэм. — Чевииот откашлялся, хотел как будто сказать ещё что-то, но промолчал.

— Но знаете что, мистер Чевииот, в береговой службе, как я слышал, такие отлучки ничего не значат, ровно ничего. Иной пропадает несколько дней, а потом является. Их подбирают в лодки. Я сам видел раз в кино, как это делается.

— Да, знаю, Сэм. Я это самое твержу себе всё время.

Но в голосе Чевииота не было ни следа уверенности. Наоборот, в нём звучало безнадежное отчаяние.

Сэмми украдкой посмотрел на него и решил переменить тему.

— Говорят, тут сегодня ходили двое из министерства. Одного из них я как будто и сам видел. Похоже на то, что это мистер Монтегю — тот, что работал здесь, у нас, когда-то. Хорошего в нём мало — уж извините мою смелость, мистер Чевииот.

— Да ну, бог с ним, Сэмми, мне уже немного надоело сегодня слышать о нём. Оставим его в покое.

Несколько минут оба молча курили. Затем Чевииот дружески тронул Сэма за плечо:

— Что с нами всеми происходит, а? Как вы думаете, Сэмми?

— С кем это, мистер Чевииот?

— Да со всеми, ну, с человечеством, если хотите. С человечеством сегодняшнего дня.

— Может быть, это вроде как родовые схватки,— сказал Сэмми раздумчиво.

— Я сам так иногда думал... но не знаю...—
Голос Чевииота оборвался.

— Конечно, люди делают кучу вещей, которых делать не следует,— продолжал Сэмми.— Если вспомнить, что творили в последнее время эти молодые наци да япошки, как тут не сказать, что в нынешнее время люди чорт знает до чего дошли, никогда такого ещё не видано... А мне всё-таки думается, что большинство делает это не по своей охоте. Их разжигают да натравливают.

— Может быть, и так, но они позволяют себя натравливать. И ведь есть ещё те, кто натравливает... их немало. А мы, все остальные, даже ради спасения от этих дьяволов не способны объединиться и каждые пять минут ссоримся между собой. Вот возьмите хотя бы наш завод. Делаем мы здесь нужное дело, очень нужное и важное, а посмотрите на нас: как мы к нему относимся? Я вас спрашиваю, что такое с нами всеми происходит?

— Мне так кажется,— сказал Сэмми медленно, с трудом подыскивая слова,— мне так кажется, мистер Чевииот, что людям вроде как не за что ухватиться... У них внутри пустовато... Они не знают, куда идут и ради чего всё это делается. И никто им не растолкует. Радио не говорит ничего. Кино не говорит. Кружка джина или ещё там чего-нибудь, которую они выпивают в трактире, тоже не помогает разобраться. Газеты не помогают. Люди вертятся, как в колесе, и всё. Вы бы их послушали, мистер Чевииот. У них на всё

один ответ: „Ну и что?“ Пугает меня это ихнее „Ну и что?“

— Да, и меня пугает. Но есть ведь множество людей, Сэм, которые всегда готовы сказать вам, куда вы идёте и ради чего всё делается: пасторы, профессора, писатели и всякие другие.

— А я так думаю, что они и сами этого не знают. Если бы они знали и верили, разве они не прибежали бы к нам с такими хорошими новостями? А благую весть люди не пропустят, услышат. Только бы господь дал...

— Я и не знал, что вы верующий, Сэм.

— Нет, мистер Чевиот, я в бога не верю, я его помянул просто по привычке. Обо мне говорить нечего, я не совсем такой, как другие люди...

— Вы самый весёлый малый на всём заводе, — сказал Чевиот ласково. — А ведь горя натерпелись, наверное, больше других. Как это вы можете?..

— А я не обращаю больше никакого внимания на неприятности, мистер Чевиот! — воскликнул Сэмми. — Не обращаю внимания, и всё. Как бы вам это объяснить... Я как будто прошёл через всё и вышел с другой стороны... Как начали на меня валиться беды одна за другой — сначала рука, потом эта нога... и чего только ещё не было! — я бесновался, с ума сходил и вопил: „За что это мне?“ — знаете, как бывает. Потом — помните, мистер Чевиот? — умерла у меня жена. Ну, и тогда всё кончилось. Остался я, Сэмми Хэмп, калека, без руки, без ноги, каждую зиму бронхит, денег ни пенни, детей нет, ничего нет, а тут ещё помирает жена. Улыбнулась мне в последний раз да и кончилась. Это меня добило, мистер Чевиот. Я сказал себе: „Теперь, Сэм, ничего больше не жди. Ты всё равно, что умер, — лежи и застывай. Крышка“. Помню, про-

сидел я тогда целый день и целую ночь, не ел, не пил, ничего не делал — смерти ждал... А потом думаю: „Что ж так-то сидеть! Пока смерть не идёт, ты бы мог, Сэм, прибрать эту конуру, всё лучше, чем сидеть сложа руки“. Ну, и с тех самых пор — именно потому, что я ничего больше не ждал и ничего у судьбы не просил, — у меня как будто всё наладилось. Меня радовало то, на что я раньше и внимания не обращал, — тогда ни времени, ни терпения не хватало. Всё, что с тех пор давала мне судьба, было вроде как подарочек. Умереть не пришлось, так я стал жить, но иначе жить. Понимаете, мистер Чевииот?

— Кажется, понимаю, Сэм, — сказал мистер Чевииот медленно. — И, по-моему, вы нашли как раз то, что нужно. Боюсь сказать уверенно, но, кажется, где-то в библии об этом говорится... Я как-то не умел никогда применять к себе всякие библейские тексты. И скажу вам, почему это так. Я, сколько себя помню, всегда был человеком с чувством ответственности...

— Ну, ещё бы, мистер Чевииот, — подхватил Сэмми с гордостью. — Как такому человеку, как вы, за себя не отвечать...

— Ну, а все эти изречения не помогают человеку, который не может отрешиться от чувства ответственности. Они предназначены для тех, кто решил прожить на этом свете кое-как, словно сидя на уложенных чемоданах и собираясь в путь. Но мы не можем умыть руки и сидеть на чемоданах... Во всяком случае не все это могут. Мы должны делать своё дело. Я считаю себя ответственным за благополучие людей, работающих здесь. Не могу иначе, таков уж я. — Он помолчал немного. — На мне лежит ответственность и за моего мальчика, — добавил он тише. — Да,

Сэм. Отчасти потому я стою здесь так поздно и разговариваю с вами. Мне не хочется идти домой. Как я посмотрю в глаза его матери?.. Что мы делали, как могли допустить то, что сейчас творится?! Наши дети были ещё школьниками, когда мы уверяли друг друга, что Гитлер не замышляет ничего дурного, а теперь они вынуждены отдавать жизнь за нас... Там, внизу, Сэм, есть машины, которые я сам лично купил в Германии за какие-нибудь полгода до войны. А мы продавали немцам паровозы и готовы были продать всё, что у нас имеется. Выгодная торговля! Хорошие сделки! А мальчики только что со школьной скамьи, и матери их, и девушки, на которых они могли бы жениться,— все расплачиваются теперь за нас. Почему я не предвидел всего того, что надвигалось, почему не встал на дыбы, не завыл! Потому что я только инженер, а не политический деятель? Клянусь богом, Сэм, отныне я буду и инженером, и политиком. И не я один, другие тоже...

Он замолчал. Сэмми не подавал никакой реплики, надеясь, что мистер Чевииот отвлечётся от мысли о сыне. Но через минуту он пожалел о своём молчании, потому что мистер Чевииот снова заговорил о том же.

— Да, мы допустили это, Сэм. А дети расплачиваются. Вот у меня дочка замужем, а муж её в армии. Что будет с нею, если и он погибнет? Мы — безумцы. Было бы правильно, если бы дети наши пошли теперь не на немцев, а на нас, и всех нас перестреляли.

— Я бы согласился с вами, мистер Чевииот, если бы нацисты не были такие, какими они оказались,— глубокомысленно возразил Сэмми. — Если бы они были такие же славные, добродушные ребята, как наши. Но старый пакостник Гит-

дер всех их там свёл с ума... Хотя и то сказать: не будь они так пусты, он бы не мог начинить их всякой дрянью. Может быть, если бы мы могли служить им хорошим примером, они бы не так легко поверили его вранью. Но разве они не знают, что у нас сотни тысяч людей голодают без работы, получая грошовое пособие?

— А любопытная это штука, Сэм,— наблюдать, как растёт сын,— продолжал Чевиот задумчиво, не слушая его.— Просыпается в тебе гордость. И в то же время смирение. Видишь в их глазах, таких чистых, и ясных, и блестящих, то одно, то другое, когда-то уже пережитое тобою, и не знаешь, смеяться или плакать. На минуту к тебе опять возвращается молодость, а там становишься как будто ещё старше. Но никогда ещё я не чувствовал себя таким старым, как сейчас. Мне кажется, будто мне тысяча лет, Сэм... Ох, я что-то разболтался... Шли бы вы домой, Сэм. Вы отработали долгий день.

— А я не устал, мистер Чевиот. И напрасно это вы... Человеку иногда нужно выговориться. Немало у нас на заводе найдётся людей, которые были бы рады и горды, если бы могли стоять тут, как я, и слушать вас, мистер Чевиот. Не только потому, что вы хозяин, а потому, что вы — наш мистер Чевиот. Все знают, что вы человек правильный.

— Хотел бы я знать наверняка,— пробормотал Чевиот.— О, господи... Хотел бы я знать, где теперь мой мальчик...

Он уронил на плечо Сэмми свою большую, тяжёлую руку, и она давила так больно, что Сэмми едва сдержал крик. Но он стойко терпел этот груз на своем плече, и минуты две оба стояли неподвижно в такой позе — печальный и

усталый великан и беспомощно жалеющий его карлик.

Из наружного коридора слышались женские голоса. Один голос спросил, где мистер Чевииот, другой ответил, что он, должно быть, уже ушёл домой.

— Нет, нет, я здесь! — крикнул Чевииот громко и, выпустив плечо Сэма, зашагал, тяжело ступая, туда, откуда доносились голоса. Сэм одним мгновенье был в нерешимости, потом всё-таки пошёл за ним. Он пришёл как раз во-время чтобы услышать, как первая девушка сказала что мистера Чевииота вызывают по телефону аэродрома.

Сэмми стоял на пороге кабинета и смотрел как мистер Чевииот медленно-медленно взял из рук девушки телефонную трубку. Лицо мистера Чевииота в ярком свете ламп казалось серым, на правой щеке непрерывно дёргался мускул.

— Чевииот у телефона... Да, командир звена... Вы говорите, он... несколько дней? Ничего серьёзного?.. В середине будущей недели?.. Да, можете себе представить!.. Покойной ночи.

— Нашёлся! — крикнул Сэм.

— Да, нашёлся. Трёх подобрали и всех уложили в постель на несколько дней. Моему врачу обещают на будущей неделе дать отпуск по болезни... Они уверяют, что серьёзных повреждений нет... Мисс Бэрроус, что с вами?

— Извините, мистер Чевииот... Я не могу... — пролепетала, громко всхлипывая, мисс Бэрроус, с которой вдруг слетела вся утончённость и благородная меланхолия. — Не могу удержаться, мистер Чевииот... Я оттого... оставалась здесь... что надеялась, авось будет для вас какое-нибудь известие. А оно пришло так внезапно... ох!..

— Ну, ну, придётся, видно, мне самому от-

крыть этот шкафчик. Надо бежать домой, но сначала мы все непременно должны выпить за здоровье мальчика. Сэмми?

— Спасибо, мистер Чевитот... Разве только одну капельку... Ради такого случая.

— Мисс Бэрроус?

— Ах, мистер Чевитот, если я сейчас ещё выпью виски, я не знаю, что со мною будет... — возразила она, утирая мокрое лицо.

— А вот сейчас посмотрим, что с вами будет, — сказал мистер Чевитот, наливая третью щедрую порцию виски. — Ну!

Радостная улыбка, освещавшая его лицо, сменилась выражением серьёзной нежности, и онпил молча. Видно было, что мысли его далеко.

Снова зазвонил телефон, отрывисто и резко.

— Если это миссис Чевитот, — промолвил её супруг, — так скажите ей, что я иду домой.

30

Снова наступил понедельник, понедельник с беспрестанным гроыханием железных дверей, с долгими, безрадостными часами труда. Но сегодня понедельник был не обыкновенный, хотя никто на заводе ещё не знал этого.

В это утро пехота и сапёры Восьмой армии прорвали, наконец, роммелевскую линию обороны, и Десятый бронетанковый корпус, как гром, пронёсся по проложенному ими пути, уничтожив у Эль-Аламейна главную массу немецких танков, а с ними и надежду Роммеля занять Египет.

Никто на заводе не знал, что одна из решающих битв этой войны достигла своей кульминационной точки. Даже наверху, в управлении,

только передавали слухи о какой-то крупной операции на фронте, уже заранее дискредитированной, благодаря глубоко укоренившемуся в публике скептическому отношению к военному руководству в Каире. Итак, гл҃чи для всех на самом большом заводе Эмдаунской компании это был просто очередной понедельник, унылое начало новой недели.

Джойс Дирхерст уже ходила на работу. Но она решила не оставаться в этом цехе, полном лязга и грохота, и настаивать, чтобы её перевели куда-нибудь, где тише и работа чище. Миссис Григсон, теперь открыто заявлявшая, что Джойс из другого теста, уверила её, что этого можно добиться: „Суметь понравиться начальству, дорогая,— вот всё, что требуется“. А этот славный весельчак, Фред Сколби, сказал Джойс, что он её вполне понимает, но просил всё-таки сначала присмотреться поближе к нему и к работе, и потом уже решить, стоит ли ей уходить. Мистер Клитон ничего не говорил, — вероятно, он и не знал ещё об её намерении, но Джойс заметила, что он поглядывает на неё сурово, как будто недоволен ею. Впрочем, Джойс теперь мало интересовало мнение о ней мистера Клитона. Что же касается пугавшего её мистера Элрика, она его ни разу больше не видела с тех пор, как стала ходить на работу, и была убеждена, что и не хочет его видеть.

Нелли Диттон не переставала думать о предстоящем радиовещании. Странное дело, уже несколько человек заговаривали с нею об этом, как будто идея миссис Флинн распространилась по всему цеху, но из официальных лиц никто к ней не обращался. Впрочем, не обращались пока и к другим,— значит, либо делегатки ещё не выбраны, либо вся затея провалилась. Пока же Нел-

ли работала усердно, чтобы доказать, что она заслуживает быть избранной, и, работая, мечтала, как всегда. А чудак Стоньер тоже, как всегда, был поглощён какими-то своими мыслями и частенько самым странным образом посматривал через проход на Нелли. Кое-кто из работавших поблизости уже заметил его пристальные взгляды, и об этом заговорили. Не замечал ничего лишь мистер Огмор, ибо мистера Огмора заботили только падение производительности труда на заводе и участь Сталинграда.

У Гвен Оклей произошло столкновение с миссис Уэйкс и мисс Трумэн, которые во всеуслышание заявили, что не позволят командовать собой какой-то девчонке, хотя она и ходит в штанах. Чарли Кинг и старик Паттерсон хотели заступиться за Гвен, но она сказала, что или сама справится с женщинами, или уйдёт с работы. И укротила их: пошла прямо на миссис Уэйкс и мисс Трумэн, так что они, струсив, чуть не бегом ретировались к своим станкам. За эту проявленную ею решительность Гвен удостоилась одобрительного кивка и дружеского слова от молчаливого и замкнутого новичка Болтона, который, к слову сказать, оказался очень хорошим работником.

Артур Болтон переживал сейчас некоторое душевное смятение. Он в последнее время очень часто встречался с Эдит Шиптон (главным образом, по её настоянию), и, хотя она вовсе не внушала ему антипатии, несмотря на всё его сочувствие к обиженной родственнице, жене Герберта Моллэнда, ему не нравилось то, что мисс Шиптон, по всей видимости, перенесла на него свои чувства к Герберту. Болтон не хотел, чтобы мисс Шиптон или какая-либо другая женщина увлекалась им, потому что эта часть души в

нѣм умерла и он хотел, чтобы она оставалась мѣртвой, с дорогими умершими.

Мисс Шиптон этого не знала и начинала недоумевать. Длительная прогулка, которую они с Артуром Болтоном предприняли в воскресенье и в ожидании которой она накануне не могла от волнения уснуть почти всю ночь, не принесла ей радости. Только что она почувствовала, что, наконец, возвращает его к жизни, как он опять замкнулся в себя, ушёл без единого слова, оставив её сбитой с толку. Таким образом, в этот понедельник мисс Шиптон уже с утра была в отвратительном настроении и почти выставила за дверь трёх работниц, пришедших с нелепыми просьбами об отпуске: одной нужно было пойти на похороны, другой на свадьбу дальней родственницы, третья привела предлог в таком же роде.

Затем мисс Шиптон жестоко раскритиковала докладную записку мистера Проскота, которую тот дал ей прочитать (мистер Проскот после дружеской беседы с ним мистера Чевюота вдруг преисполнился важности и честолюбивых замыслов и сочинил „Записку об улучшении морального состояния рабочих“). Она даже назвала эту „Записку“ претенциозной, чем сразу восстановила против себя мистера Проскота. Он в ответ заявил, что, по его мнению, которое разделяют и некие (не названные им) весьма авторитетные лица, она слишком узко смотрит на свои обязанности. На это мисс Шиптон возразила, что, как бы узка ни была её точка зрения на свою работу, но эта работа отнимает всё её время и силы с раннего утра до позднего вечера. Она намекнула, что предпочла бы, чтобы ей помогли в этой скучной, но необходимой работе, вместо того чтобы угощать грандиозными,

но неосуществимыми проектами вроде этой „Записки об улучшении морального состояния“.

Таким образом, в это утро весь личный состав отдела личного состава был в плохом настроении.

В поликлинике сестра Файли помогала доктору Стэммерсу управляться с обычным для понедельника наплывом больных, из коих половина принимала всякие случайные ощущения за первые симптомы какой-то скрытой опасной болезни. Белокурая молодая официантка заводской столовой, Берта Сьюэлл, жаловалась, что страдает бессонницей от тоски по мужу. Ей дали снотворное. Рыжая девушка из сборочного цеха утверждала, будто разлука с мужем, которого отправили в Индию, так на неё подействовала, что вызвала острое расстройство желудка. Она была очень удивлена, когда ей сообщили, что она беременна. Сестра Файли, занимаясь своим делом, в то же время мысленно сравнивала доктора Стэммерса, воображавшего, будто она принадлежит к числу его поклонниц, с неким майором, с которым познакомилась на той неделе, уже немолодым и грузным, но весёлым, любезным кавалером и большим гурманом. Сравнение было далеко не в пользу доктора Стэммерса.

Наверху, в комнате для заседаний, происходило экстренное совещание объединённой производственной комиссии, созванное мистером Чевитом. По его же просьбе, за первые полчаса покончили с текущими делами. Пока они обсуждались, его несколько раз вызывали по важным делам к телефону, один раз даже из министерства. Большинство членов комиссии сегодня пропускали мимо ушей разбиравшиеся жалобы, претензии и предложения, понимая, что предстоит обсуждение какого-то гораздо более важного вопроса, иначе мистер Чевит не созвал бы совещания в такой

неурочный час. В зале перешёптывались, обменивались недоумевающими взглядами. Что случилось? Пора бы мистеру Чевииоту (который был сегодня очень серьёзен и казался даже удручённым, хотя сын его нашёлся) объяснить, в чём дело. И в конце концов старый инструментальщик Боулс выразил общее мнение.

— Я хотел бы как можно скорее вернуться в цех, мистер Чевииот,— сказал он с грубоватой прямоотой.— Так что, если вы имеете нам сообщить что-нибудь экстренное, нельзя ли сделать это сейчас? Конечно, если вы кончили телефонные разговоры.

— Пожалуй, будем считать, что кончил,— сказал мистер Чевииот с некоторым сокрушением.— Хотя мне бы надо позвонить ещё в одно место...

Он обвёл глазами всех сидевших за столом.

— На той неделе к нам приезжали два представителя министерства. Они послали туда донесение относительно нас. Мне довольно ясно дали понять что именно доложено министерству. Я с этим не согласен. Впрочем, я знал, что так будет, и, наверное, большинство из вас тоже.

Поднялся шум. Два-три человека зашипели, унимая остальных. Потом наступила тишина. Все смотрели на мистера Чевииота, а он, видимо, был в большом затруднении и проявлял несвойственную ему медлительность.

— Нравится это нам или нет,— сказал он наконец,— а здесь предстоят некоторые важные перемены. И не только из-за доклада. Видите ли, во-первых, по предложению министерства, Элмдаунская компания сейчас принимает три завода фирмы Черч-Стюарт, которые работали неудовлетворительно. И мне поручили расхлебать всю эту кашу. Это значит, что первым делом мне придётся реорганизовать три новых завода

и приспособить их к нашему производству, как того хочет министерство. Следовательно, отсюда я уйду. Не окончательно и не навсегда, потому что вы остаётесь в той группе заводов, которая будет в моём ведении. Но всё же я уйду, и кто-то должен занять моё место. И правление наше и министерство находят, что моим преемником здесь должен быть мистер Блэндфорд.

Он остановился. Несколько человек в знак одобрения постучали по столу, оглядываясь на Блэндфорда. Другие смотрели на Элрика, кусавшего губы. В противоположность ему, Блэндфорд не обнаруживал никакого волнения.

— Мистер Блэндфорд, как вы знаете, был некоторое время моим старшим помощником, — продолжал Чевит ровным голосом, — так что даже и без такой усиленной рекомендации правления и министерства выбор, естественно, должен был пасть на него. Все мы знаем, что он первоклассный специалист, преданный делу обороны, и я ничуть не сомневаюсь, что наш завод под его руководством добьётся больших успехов.

— Не сомневаетесь? — крикнул Элрик. — А я так сомневаюсь. Сильно сомневаюсь.

— Ну, ещё бы. От вас этого следовало ожидать, — раздалось на другом конце длинного стола. Это сказал подручный сборочного цеха Рэнкин, который не любил Элрика.

— Что вы... — начал было Элрик, но голос его потонул в шуме поднявшихся протестов. Мистер Чевит громко стучал по столу.

— Прекратите это, Боб, — сказал он сурово.

— Если комиссия желает обсуждать вопрос о моей пригодности, — промолвил Блэндфорд спокойно и сухо, — так, пожалуй, лучше мне уйти. Тогда Элрик сможет высказаться до конца.

— Господин председатель, — сказал Элрик, по-

давяя раздражение и стараясь говорить официальным тоном, что ему плохо удавалось,—если замечаний делать не разрешается, я от них воздержусь. Но если нам не дадут высказываться по поводу перемен, которые касаются всех нас, тогда я не понимаю, к чему, собственно, нас созвали.

Два-три человека поощрительно закричали: „Слушайте, слушайте!“ Элрик продолжал уже с бóльшим жаром и уверенностью:

— Если нам полагается молчать, так проще было вывесить приказ на доске внизу—и всё. Если же высказывать своё мнение разрешается, так, мне думается, я имею такое же право сказать, что я сомневаюсь в успехах завода под управлением Блэндфорда, какое вы имели сказать, что не сомневаетесь в этом.

— Но вы через секунду начнёте сводить личные счёты,—крикнул Гейстон, один из мастеров.—Знаем мы вас!

— Да,—отпарировал Элрик прсзрительно.— И я вас тоже знаю.

— Перестаньте, Боб,—приказал мистер Чевiot резко.

Но лицо Элрика сохраняло злое и решительное выражение.

— Почему я должен перестать? Я задал председателю логичный вопрос, не так ли?

— Мистер Чевiot,—вмешался старик Боулс,—я не совсем понимаю, в чём тут дело... Нам полагается вынести резолюцию, что мы одобряем эти назначения,—так, что ли?

— Если и не одобрим, всё равно назначат!—крикнул кто-то с циничным смешком.

— Да,—ответил Боулсу мистер Чевiot, на лице которого было написано, что ему надоели резолю-

ции,— пожалуй, так и надо сделать. Согласны вы начать, Джон?

— Можно,— сказал Боулс.— Я предлагаю вынести такую резолюцию: комиссия очень сожалеет об уходе мистера Чевюта, но понимает необходимость этого ухода и желает ему всяческих успехов на новом посту.

Предложение все дружно поддержали, и оно было принято единогласно.

— Очень вам благодарен,— сказал мистер Чевют.— Теперь перейдем к вопросу о назначении мистера Блэндфорда. Кто хочет предложить текст резолюции? Может быть, вы, Филипс?

Филипс, тихий, пожилой мастер, враг всяких крайностей и споров, встал и сказал:

— Я предлагаю написать в резолюции, что собрание производственной комиссии приветствует назначение мистера Блэндфорда управляющим и желает ему успеха.

Его предложение весьма поспешно поддержал Рэнкин и не преминул бросить при этом искоса злорадный взгляд на Элрика.

— Не ересьтесь, Боб,— сказал мистер Чевют тихо.

Элрик покачал головой.

— Не могу. Впрочем, я не собираюсь возглавлять оппозицию.

Встал Клитон, пристально глядя на председателя поверх своих старых серебряных очков.

— Из вас, ребята, никто не скажет, что я всегда суюсь со своим мнением, потому что вы отлично знаете, что это не так. Но сегодня я тоже хочу сказать слово. Мистер Блэндфорд — дельный инженер, но это вовсе не значит, что он самый лучший кандидат на должность управляющего. Управляющему приходится иметь дело больше с людьми, чем с машинами. Теперь я хочу сказать

насчёт Боба Элрика. У нас с ним не раз чуть до драки не доходило,— он упрям, это всем известно. Но раньше, чем я подам голос за резолюцию, я хотел бы знать, предлагали на этот пост Боба Элрика или нет.

— Правильно, Альфред! — подхватил Боулс. — И я тоже хотел бы знать это самое, господин председатель.

Оба выжидательно смотрели на мистера Чевииота, который явно был в сильном замешательстве. Он с минуту перекладывал какие-то бумаги на столе.

— Ну, что же, мистер Чевииот? — крикнул Элрик с некоторой горечью. — Скажите им, что никто меня не предлагал. Не стесняйтесь!

— Господин председатель, было что-нибудь сказано о нём в донесении ревизоров? — громко спросил Рэнкин.

Мистер Чевииот медленно поднял глаза от бумаг и сжал губы.

— Ревизоры — но я с ними не согласен и говорил им об этом — не только не считают мистера Элрика подходящим для роли управляющего, но предлагают даже снять его с должности главного инженера.

Раздались крики возмущения. Элрик сидел молча, как окаменелый.

— Тише! — крикнул мистер Чевииот и, выждав, пока шум утих, сказал спокойно:

— В докладе сказано, что мы выпускаем меньше продукции, чем нам полагается, и что в этом отчасти виноват наш главный инженер, так как он вызывает раздоры, не умеет надлежащим образом использовать людей на работе и вообще он человек неподходящий. Так там сказано.

— То есть так написал втируша Монтегю! — заорал Клитон, рассердясь не на шутку.

— Вы не знаете всего, Альф,— сказал Элрик с горечью.— Я им обоим нагрубил за завтраком. Меня вывел из себя этот олух Сэдли. Да, я сам напросился на это...

— Погодите ругать их,— вмещался Рэнкин.— Я не побоюсь высказать своё мнение. В этом докладе сказано только то, что говорят уже давно о нашем главном инженере почти все старосты.

Двое из старост поддержали его. Остальные стали громко требовать, чтобы Рэнкин указал, какие именно старосты это говорят. Кто-то прямо в лицо обозвал его лгуном. Мистер Чевинот стукнул кулаком по столу.

— Вы что, забыли, где находитесь?— загремел он, покрывая все голоса.— Кто опять начнёт орать, немедленно уйдёт отсюда. Успокойтесь. Вся эта история и без того достаточно неприятна, а вы ещё делаете её в десять раз хуже. Если кто имеет сказать что-нибудь разумное и скажет это спокойно, я с удовольствием его выслушаю... Ну, что же?

Энглби, не произнёсший до этой минуты ни единого слова, теперь поднял руку, несколько напоминая первого ученика в классе.

— Я здесь новый человек,— начал он извиняющимся тоном, но с обычной своей и тем не менее всегда неожиданной смелостью,— так что предпочитаю держать язык за зубами. Но если рот я открываю не часто, зато глаза и уши у меня всегда открыты, и мнение моё, как человека нового, будет беспристрастным.

За столом раздались одобрительные возгласы. Большинство присутствовавших здесь мастеров и заводских старост успели полюбить Энглби.

— То, что сказано в докладе министерству о мистере Элрике, не совсем неверно, но это просто преувеличение его недостатков. А вот о заслугах

его как главного инженера там не сказано ничего. Между тем главное в нём — как раз не его недостатки, а достоинства. Он настраивает людей против себя, да, верно. Но в то же время он умеет воспитывать в них и подлинную преданность делу. Он умеет заражать людей своим энтузиазмом, руководить ими. Я наблюдал, как он это делает...

— Вам надо было видеть его после Дюнкерка! — крикнул кто-то.

— Мне уже рассказывали, как много он сделал тогда, и я этому охотно верю, — сказал Энглби с улыбкой. — Те двое, что приезжали к нам из министерства, очевидно, предубеждены против него. Это понятно. Такого рода господам он не мог понравиться. Так вот я предлагаю после резолюции, приветствующей назначение мистера Блэндфорда, вынести ещё вторую, в которой мы в самой категорической форме будем протестовать против той части доклада, которая осуждает мистера Элрика, и выскажем наше мнение, что лучшего главного инженера, чем мистер Элрик, нам не найти.

Последовал рёв одобрения, в котором только двое-трое не приняли участия. Мистер Чевигот в первый раз улыбнулся.

— Молодец Энглби! — сказал он. Затем обратился к собранию.

— Я сам хотел сказать то, что сказал мистер Энглби. Он сказал лучше. Ну, да не в этом дело. Мы сейчас вынесем такую резолюцию. Но, может быть, вы хотите сначала высказаться, Блэндфорд? В конце концов, раз вы будете здесь управляющим, этот вопрос вас близко касается.

Все с любопытством уставились на Блэндфорда. А он кивнул головой и слегка улыбнулся мистеру Чевиготу.

— Мы с мистером Элриком не всегда ладили между собой,— сказал Блэндфорд очень медленно, как-то холодно отчеканивая слова.— И не думаю, чтобы мы всегда ладили в будущем. Но я охотно буду работать с ним, если он готов работать со мной.

Элрик с трудом поднялся и тяжело оперся о стол. Его хмурое лицо налилось кровью и было ещё мрачнее обычного. Глядя на него, мистер Чевинот только молча покачал головой.

— Всё это очень мило, Блэндфорд, весьма корректно и благородно,— начал Элрик резко.— Но давайте говорить прямо. Речь идёт теперь не о том, чтобы работать с вами, отныне мне, очевидно, пришлось бы работать у вас под началом. И, значит, если мы не поладим в дальнейшем, мне будет не сладко, так?...

Нет, я не думаю здесь оставаться. И не потому, что меня обошли, хотя я считаю, что не менее других имел право на эту должность, ведь я чуть не собственными руками построил половину этого завода и работал до седьмого пота в цехах, когда вы, Блэндфорд, только ещё собирались совершить экскурсию в промышленность. Дело совсем не в этом. Я не обижен тем, что со мной обошлись гнусно. Но вы не любите меня, а я люблю вас, Блэндфорд. Мне ненавистно то, за что вы стоите, а вам — то, что дорого мне. Какой смысл притворяться? Если бы вы и не стали управляющим, это всё равно не могло бы долго продолжаться. А теперь это попросту невозможно. Раз вы остаётесь на заводе, я уйду. Но одно я хочу спросить, раньше чем уйду с этого собрания. Когда вы узнали о том, что сказано обо мне в докладе министерству?

Блэндфорд, который успел уже сесть на своё место, поднял брови.

— Не понимаю, о чём вы говорите, Эрик. Я не имею к этому докладу никакого отношения.

— Так ли это? Врёте, чорт вас возьми!— Эрик уже кричал, тыча пальцем в лицо Блэндфорду.— Вы были здесь в субботу поздно вечером, не правда ли? Ну, и я тоже был, только вы-то этого не подозревали. Я поднялся на несколько минут наверх и проходил мимо вашего кабинета как раз тогда, когда вы разговаривали по телефону с Монтегю. Лучше вы об этом сочините резолюцию, а я ухожу, меня тошнит от вас!

И, раньше чем кто-либо успел сказать слово, дверь за ним со стуком захлопнулась. Одно мгновение дарило испуганное молчание. Мистер Чевииот шумно вздохнул, и невнятно пробурчал что-то.

— Господин председатель, — сказал, немного побледнев, Блэндфорд.— Я считаю своим долгом дать объяснения. Это правда, что Монтегю звонил мне сюда в субботу вечером. Но я не просил его звонить. Он сказал, что они будут настаивать на моём назначении. Я думаю, он это сообщил мне потому, что в разговоре с ними, когда они были здесь, я упоминал о своём намерении уйти из Элмдаунской компании. Но, могу вас заверить, об Эрике не было сказано ни единого слова. Не буду притворяться, будто меня удивило содержание их донесения: ведь в первый же день было ясно, какую позицию они заняли по отношению к Эрику. Но я тут ни при чём. А теперь мне, пожалуй, лучше уйти. Вы разрешите, господин председатель?

Он обвёл взглядом лица сидевших за столом. Губы его чуть-чуть усмехались, но глаза были холоднее, чем когда-либо. Потом он круто повернулся и вышел из комнаты.

— Давайте голосовать, — сказал мистер Чевииот.

Голос его выдавал огромную усталость, но в нём ещё оставались повелительные ноты.

Резолюция относительно Блэндфорда прошла быстро, а вторая, об Элрике, вызвала некоторые дебаты, ибо сейчас, после гневной выходки Элрика, около трети присутствующих не захотели присоединиться к протесту. Всё же через каких-нибудь пять минут совещание кончилось.

— Надеюсь, вы не сердитесь на меня за вмешательство?— сказал Энглби мистеру Чевииоту.

— Наоборот, я вам очень благодарен, Энглби. Вы сказали как раз то, что нужно. Но, конечно, бедняга Боб, по своему обыкновению, взял да испортил всё. Вечно он бросается вперёд, как бык на забор.

— Да, я это тоже заметил. С чего он такой? Мистер Чевииот раздражённо потер подбородок.

— Да тут всё вместе — вспыльчивость, нервы и то, что он слишком много пьёт. Но, разумеется, настоящая причина глубже. Видите ли, такому человеку, как Боб, нужно, чтобы что-нибудь поддерживало в нём дух, а сейчас такого подъёма быть не может. Будь у него хотя бы славная жена, которая умела бы подойти к нему, или два-три малыша, он был бы другой человек. Но вышло иначе. Жизнь его сложилась плохо. Вот он и злится всё время. Из-за своих внутренних неурядиц он очень остро переживает и внешние. Ну, да ничего, парочка таких щелчков, как сегодня, ему не повредит, а я постараюсь его устроить лучше на другом заводе.. Что ещё случилось?

Это относилось к Блэндфорду, только что снова вошедшему в комнату. Большинство рабочих ещё не разошлось, и неожиданное возвращение Блэндфорда приостановило общее движение к дверям.

— Мне только что сообщили по телефону,—

промолвил Блэндфорд, обращаясь к мистеру Чезвиоту, но говоря так, чтобы все могли его слышать, — что мой родственник, лорд Бриксен, председатель управления технической рационализации, быть может, заедет ко мне завтра утром на обратном пути в Лондон. И у меня явилась мысль пригласить его к завтраку и устроить беседу с рабочими в столовой. Он, несомненно, подвинтит их. Это старый политический деятель, хороший оратор, и, как-никак, посещение министра и беседа с ним должны воодушевить рабочих. Как вы считаете, мистер Чезвиот?

— Конечно, конечно, — ответил мистер Чезвиот одобрительно, хотя и без особого энтузиазма. — Он явится в удобный момент. Когда будете его приглашать, попросите и от моего имени тоже. Я думаю, все согласны, а?

Ропот одобрения не заглушил голоса Альфреда Клитона. Он спросил, глядя в упор на Блэндфорда:

— Скажите, этот лорд Бриксен назывался раньше сэром... как его... Джесмонд-Литон?

— Да. Титул пэра он получил два года тому назад. А что?

— Ничего, только... — Клитон сдвинул очки, чтобы удобнее было смотреть — если это тот самый, так беседа его, может быть, и поможет выиграть войну, но мне от неё ничего не прибавится. Он такой же друг народа, как я... Красная Шапочка.

Трудно было быть менее похожим на Красную Шапочку, чем Клитон в этот момент. Скорее он напоминал нечто среднее между её бабушкой и серым волком, когда, сутуля плечи, важно вышел из комнаты, чтобы вернуться к своей работе.

На другой день, часов около двенадцати, лорд Бриксен прибыл на завод и в сопровождении Блэндфорда прошёлся по главному цеху, бегло осматривая всё. Между двумя кузенами не заметно было ни малейшего фамильного сходства. Лорд Бриксен, которому давно перевалило за пятьдесят, был гораздо красивее и на вид здоровее и крепче Блэндфорда. В его внешности что-то напоминало военного: та же выправка, подтянутость и щеголеватая опрятность, подстриженные седые усы. Лицо у него было румяное, глаза живые, голубые, манеры и голос приятные. Последнее было ничуть не удивительно, ибо он в течение многих лет на этом строил своё благополучие. Лорд Бриксен представлял собой благородный английский образец скользкого политика-профессионала, фигуры, столь знакомой в других демократических странах. А будучи знатным англичанином, он считал нужным разыгрывать из себя просто любителя: иногда у слушателей создавалось впечатление, будто он знатный землевладелец, против воли покинувший своё поместье, ибо чувство долга призывало его в Вестминстер; иногда он намекал, что он в Уайтхолл пришёл из Сити в момент, когда в нём остро нуждались. В настоящее время у него действительно уже было и поместье и некоторые коммерческие дела в Сити, но то и другое было результатом его политической деятельности, которая вот уж двадцать лет давала ему прекрасные средства к жизни. Он не был лидером тори, но принадлежал к избранной и несколько таинственной группе закулисных деятелей, которых постоянно кормит эта партия и страна (когда она поддерживает эту партию) и

которых авторы передовиц в консервативной прессе, для вразумления несколько сбитых с толку читателей, характеризуют, как „надёжных и безопасных“. В молодые годы лорд Бриксен благодаря своему браку вошёл в круг электропромышленников и был одним из их представителей в парламенте. Позднее, — может быть, это был результат его удачной карьеры, — он очень интересовался банками и страховыми обществами. Он стал горячим сторонником частной инициативы (которую он всегда предусмотрительно противопоставлял „общественному контролю“ или „переходу предприятий в руки государства“, но никогда общественной инициативе), и, слушая его, можно было подумать, будто он в какой-то неведомый период своей жизни работал по восемнадцати часам в сутки, создавая новые обширные отрасли промышленности. Пожалуй, его довольно верно можно было охарактеризовать как нечто среднее между второстепенным администратором и первостепенным фокусником, умевшим всего добиться смелостью и самоуверенностью.

Умудряясь сочетать министерскую важность с благосклонностью, вид пронизательный и глубокомысленный с кроткой весёлостью, лорд Бриксен шёл среди шума и сумятицы главного цеха за своим кузеном, который сыпал техническими объяснениями, ничуть не интересовавшими лорда.

— Да, Френсис, — объявил он, останавливаясь, — всё здесь просто замечательно. Грандиозное зрелище. Действительно, грандиозное. Имели вы в последнее время какие-нибудь известия о Питере? Нет? И я тоже нет... Что делает вон та женщина?

Он несколько секунд наблюдал, как она работает, а у женщины на лице было написано: „Ах,

боже мой, на меня смотрят посетители“. Затем он с улыбкой сказал ей, что она делает „очень хорошую работу“. „Да, работа очень хорошая“, — повторил он таким тоном, словно эта фраза имела какой-то технический смысл. Женщина была слишком взволнована, чтобы оценить её, а Блэндфорд слишком умён, чтобы не оценить.

Блэндфорд, исполняя обязанности любезного хозяина, в то же время внимательно наблюдал своего кузена и удивлялся про себя, как Бриксен при таких малых способностях сумел подняться так высоко. Располагающая к себе наружность и манеры, обычные ораторские приёмы, благодаря которым он слыл популярным, хотя в сущности совсем не талантливым оратором, отсутствие интуиции во всём, за исключением разве одного (но это одно имело великое значение!) — непосредственных взаимоотношений между его партией и публикой, — так характеризовал мысленно Блэндфорд своего именитого родственника. В кругу родных лорд Бриксен никогда не считался человеком способным или с сильным характером. Долго ли он продержится после войны? „Недолго“, — сказал себе Блэндфорд с беспощадной суровостью. Если только новая партия тори, которая будет представлять в политике подлинно новую индустриальную систему, не решит использовать несколько общественных марионеток.

— Любопытное зрелище! — воскликнул его милость, указывая на машину больше и шумнее других. — Каково её назначение, Фрэнсис?

Благодаря тому что он уже раньше проделывал это бесчисленное множество раз, лорд Бриксен превосходно изображал человека, глубоко заинтересованного и не пропускающего ни слова из объяснений других. Выигрывая таким образом время, он мысленно спрашивал себя, из каких со-

ображений его кузен Фрэнсис, который всегда был ему непонятен и казался хитрецом, выступает теперь в этой новой роли. Может быть, ему нравится наблюдать, как вертятся колёса огромного механизма? Он всегда это любил. Но нет, здесь что-то другое, более серьёзное. И не в деньгах, конечно, дело, хотя и они тут играют, вероятно, некоторую роль (впрочем, Фрэнсис никогда, кажется, за деньгами не гнался и никогда не жил широко). В обществе довольно упорно поговаривают о том, что эти „производственники“ уже и сейчас представляют до некоторой степени новый правящий класс, ибо войну без них выиграть нельзя, и возможно, что после заключения мира они будут диктовать свои условия. Фрэнсис вполне способен поверить в такие глупости, на него это похоже. Эти господа не учитывают одного: как бы незаменимы они ни были на своих заводах, они всё же зависят от состояния финансов страны. А финансы во время войны и финансы в мирное время, когда впереди постоянно маячит социализм,— это совершенно разные вещи. Лорд Бриксен решил, что надо будет в самом ближайшем времени поговорить об этом по душам с Фрэнсисом.

— Как ваша фамилия?— осведомился знатный гость у молодого брүнета.

— Моя фамилия Огмор, — ответил тот.

— Это один из помощников мастера — пояснил Блэндфорд с улыбкой, — и, надо сказать, один из лучших. Он, кроме того, заводской староста.

Лорд Бриксен кивнул головой и, игриво прищурившись, посмотрел на Огмора.

— Мистер Огмор, я лорд Бриксен и, вероятно, в наказание за грехи, состою председателем Управления рационализации. Нет ли у вас каких-нибудь предложений, которые вы хотели бы сооб-

щитъ нам? Видно, что вы человек с головой. Думали вы когда-нибудь о том, какой бы вы хотели видеть нашу страну после войны?

— Конечно, думал, — ответил Огмор очень решительно.

Лорд снова прищурился.

— И к каким же выводам вы пришли, мистер Огмор?

— Я хочу увидеть Англию социалистической рабочей республикой, как Советская Россия. И не я один этого хочу.

Лорд Бриксен расхохотался.

— Знаю, что не вы один, но сознайтесь, что вас ничтожное меньшинство. И у рядового избирателя в Англии слишком много здравого смысла, чтобы он мог увлечься такими крайностями.

— Рядовой избиратель в Англии даже ещё не знает, за что голосует, — сказал Огмор тихо, но твёрдо. — Когда печать в руках капиталистов и...

— Ну, ну, мистер Огмор, оставим политику до другого раза! — И лорд Бриксен, кивнув ему головой, прошёл дальше.

Подобно большинству тори, он держался удобного мнения, что только то, что говорят противники тори, следует осуждать как политиканство, всякие же высказывания в духе тори — это просто проявление здравого смысла и похвального патриотизма. На этом основании он с чистой совестью громил некоторых лейбористов и кое-кого из „этих популярных болтунов“ Радиокорпорации за то, что они занимаются политикой в военное время.

— А что, такие субъекты, как этот, не доставляют вам хлопот? — спросил он у Блэндфорда, когда они отошли.

— Нет, они как раз наши лучшие работники, — возразил Блэндфорд. — Вне завода я их не обо-

жаю, и, разумеется, если их партия опять изменит свою тактику, от них житья не будет. Но должен сказать, что как раз сейчас, когда Россия в тяжёлом положении, они образцовые работники. Много значит, конечно, дисциплина. И вот дисциплину-то мы и должны установить в самое ближайшее время, но, конечно, не в интересах Москвы. Надеюсь, кто-нибудь из вас думает об этом?

— Думаем, думаем, — ответил его собеседник довольно легкомысленным тоном и поторопился спросить что-то о ближайшей машине, чтобы избежать дальнейшей беседы на эту тему: он считал, что для неё здесь не место. Но только что Блэндфорд начал объяснять ему устройство машины, как гудок возвестил час завтрака. Проскот, гордый и сияющий, уже стоял подле них наготове, чтобы проводить гостя на эстраду в столовой. Он сообщил, что они будут завтракать попозже, после того как его милость произнесёт свою речь, и что мистер Чевиот, которого задержали какие-то важные переговоры по телефону, обещал прийти прямо в столовую и представить лорда Бриксена слушателям.

Морис Энглби вошёл в столовую через маленькую дверь около эстрады, рассчитывая стать у стены и выскользнуть незаметно, как только лорд кончит говорить. Он оглядывал столовую, ища Фреду Пиннель, но её нигде не видно было. Морису предстояло завтракать позднее, в маленькой столовой для администрации, вместе с почётным гостем.

Все усердно жевали. Радио передавало музыку по грамофонной записи. Шум стоял ужасающий. После новой тщетной попытки отыскать глазами Фреду, которая была вполне способна нарочно спрятаться от него, чтобы он не видел, как она

завтракает вместе с простыми рабочими, Энглби, обернувшись, увидел рядом с собой Элрика. У Элрика был весьма непрезентабельный вид, — он, кажется, спал одетый и не потрудился даже побриться и пригладить волосы. От него пахло виски.

Он улыбнулся Энглби, которого не видел со вчерашнего дня.

— Ага, и вы пришли поучиться уму-разуму! — воскликнул Элрик.

— Не мешает послушать, что он может сказать, — заметил Энглби. — Хотя я не жду ничего интересного.

Элрик насмешливо фыркнул.

— Не знаю, что изречёт почтенный лорд, но знаю, что ему следовало бы сделать. Ему следовало бы встать на колени перед этой толпой и сознаться им честно, что он и его приятели во всем виноваты — в безработице, в том, что сейчас оккупированы целые районы... Сознаться, что все их политические и экономические концепции неверны, что они ошибались относительно Японии, Муссолини, Гитлера, ошибались насчёт России, — словом, чорт их знает, в чём только они не ошибались. Да, ему следовало бы просить прощения у всей этой толпы слушателей. А он, вот увидите, начнёт пыжиться, как будто это он фактически всё делает — топит немецкие подлодки, тушит зажигательные бомбы, бомбит Рур, наступает в Египте на Роммеля... Он пустиг в ход обычную болтовню фокусника, желающего отвлечь внимание публики от своих рук, и все эти несчастные дураки будут кричать ему „браво!“

— Не скажу, чтобы вы были неправы, — со смехом заметил Энглби. — Но, если вы заранее знаете, что будет, зачем вы пришли сюда?

— На это легко ответить. Во-первых, чтобы

убедиться, что я предсказывал верно. Во-вторых, просто, чтобы себя помучить.

Энглби с любопытством посмотрел на него.

— Да, Элрик, вы действительно мастер мучить самого себя.

— Что ж, лишь бы не других. А я никого не обижаю, Энглби, что бы там ни говорили некоторые мерзавцы. Я бываю резок, я часто выхожу из себя, но всегда стараюсь быть справедливым к людям. Однако оставим это, как любит говорить наш старик. Вы завтракаете с его милостью?

— Да. И вы тоже, конечно?

— Нет, дружище. Я сегодня не выдержал бы этого испытания. Я могу брякнуть что-нибудь неподходящее и нарушить законы гостеприимства, а это было бы неприлично сейчас, когда Блэндфорд поднимает всё здесь на высокий уровень. Мы были просто компанией инженеров, чертёжников, промышленников, ну, а теперь, разумеется, всё будет по-иному... Нет, не пойду завтракать! Да мне и есть что-то не хочется. Один товарищ в городе дал мне две бутылки настоящего выдержанного солодового виски — густое такое и светлое, знаете? Это и будет мой завтрак.

Энглби с минуту нерешительно молчал, потом сказал:

— Пожалуй, раньше чем вы слишком энергично расправитесь с этими бутылками, мне следует вам рассказать то, что я вчера после вашего ухода слышал от Чевюта: он собирается вас куда-нибудь устроить. Он очень дружески и хорошо говорил о вас, Элрик.

Элрик насупился. Казалось, ему в его нынешнем настроении трудно было найти подходящий ответ.

— Старик у нас молодчина. Правда, он последнее время позволял водить себя на верёвочке, оттого что его уверили, будто всё делается во имя

обороны, тогда как добрая половина этих господ плюёт на дело обороны. Но всё-таки он молодец. Он знает меня, а я его... А вот кстати и он. Вид у него далеко не сияющий.

Идя к эстраде вместе с лордом Бриксенем, Чевинот чувствовал, что его всё сильнее охватывает непонятное глубокое уныние. Пока выключали громкоговорители и Проскот призывал публику к порядку, он смотрел на тысячи лиц, выжидательно обращённых к эстраде. Эта столовая — малый мир. Каких только здесь не было лиц! Измождённые и увядшие, гладкие, молодые, массивные и словно закоптелые лица старых рабочих, напудренные, с накрашенными губами мордочки глупых девушек, отёкшие или изрезанные морщинами лица зрелых женщин, хмурые лица людей разочарованных, задорные и весёлые — юных учеников, лица только начинающих жить и лица уже почти покончивших счёты с жизнью, — смелые, тупые, трусливые, умные, бодрые, весёлые, усталые, полные отчаяния. Здесь был народ. Человечество. Оно пришло сюда готовить машины для того, чтобы выжечь или взорвать в себе собственное безумие. Светлой, радостной мечте угрожали чёрные замыслы. Но существует ли эта светлая мечта? Почему те (и среди них лорд Бриксен), что были такими глупцами только несколько лет назад, теперь вдруг стали так мудры? Кто или что вселило в них эту мудрость? Чему они в действительности научились? Может быть, научились чему-то вовсе не они, а народ, те неизвестные, без имени, чьи лица вот так же выжидательно подняты вверх, воины и труженики и тайные страдальцы? Может быть, оно скрывалось в их душах, где-то в глубине сознания, и они ожидали, что услышат его, что оно будет сказано им громко, открыто, честно, со всей искренней

товарищеской теплотой. Говорить с ожидающим народом в такие дни — это страшная, почти непосильная ответственность.

Как всегда, немного смущаясь, Чевииот откашлялся и, подойдя к микрофону, сказал со своей обычной простотой:

— Дорогие друзья, мы имеем сегодня честь принимать на нашем заводе гостя, лорда Бриксена, члена правительства, председателя Управления рационализации. (В зале раздались жидкие хлопки.) Раньше чем предоставить слово лорду Бриксену, который любезно согласился выступить перед вами, я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас от имени правления за всю вашу работу до сих пор. Я верю, что в ближайшее время мы с вами поднимем выпуск продукции на новую высоту. Мою веру поддерживает и новость, которую я только что узнал: солдаты нашей Восьмой армии одержали крупную победу — они прорвали фронт врага...

На этот раз в зале поднялась настоящая буря. Кричали „ура“, топали ногами. Казалось, ветер победы внезапно с шумом пронёсся по всему этому огромному зданию. Потрясённый, растроганный Чевииот поднял дрожавшую руку и, когда опять наступила тишина, продолжал:

— Я знаю, что вы все будете теперь работать усерднее прежнего, чтобы дать нашим ребятам на фронте всё то, что им необходимо. А сейчас я попрошу нашего почётного гостя, лорда Бриксена, выступить перед вами. Лорд Бриксен!

Лорд Бриксен подошёл к микрофону, розовый, улыбающийся, самоуверенный. Сомнения, неясные, глубоко скрытые чувства, замешательство, мучительное до боли, — всё это было ему чуждо. Он видел перед собой просто публику, аудиторию,

состоявшую из рабочих авиазавода, — и больше ничего. Он не думал о том, что его слушают тысячи людей. Перед ним было какое-то коллективное существо, без лица, но с определённым количеством ушей, чтобы слушать его, и рук, чтобы хлопать ему. Он не видел перед собой реальных, живых людей, и этим объяснялись его развязность и апломб. Эта нереальность аудитории в его сознании и помогла ему сделать карьеру мудрого политика. Если бы когда-нибудь эта нереальная масса превратилась вдруг в настоящих живых людей, ему оставалось бы одно из двух: либо стать подлинным государственным деятелем (на что он абсолютно был неспособен), либо, покайся публично, удалиться в отставку.

Стараясь, чтобы голос его не звучал слишком напыщенно и самодовольно (ибо он знал, что такие ноты будут ещё подчеркнуты микрофоном), он непринуждённо и благодушно начал говорить о своём впечатлении от беглого осмотра завода и о важном значении его работы. Джойс Дирхерст и миссис Григсон, сидевшие рядом, недалеко от эстрады, обе нашли, что лорд очень мил и выгодно отличается от заводской публики. А Фреда Пиннель, которая встретила его уже как-то раз на вечере у общих знакомых, теперь окончательно утвердилась в своём первоначальном мнении, что он — „старое чучело и может здорово надоесть“.

Лорд Бриксен без преувеличенной скромности упомянул о своей деятельности в качестве председателя Бюро изобретательства и напомнил слушателям, что, хотя он всегда с гордостью называл себя консерватором (он не счёл нужным разъяснить, что именно так старался консервировать в Англии), но всегда стоял за разумный прогресс во всех областях и считает себя реформатором не менее любого члена так называемых „про-

грессивных партий". Он сделал на последних словах ироническое ударение и ожидал смеха в зале. Смех действительно раздался — поспешные, нервные, визгливые смешки женщин, которые считали, что надо быть вежливыми, и довольно угрюмый сардонический смех кое-кого из мужчин с крайне левыми взглядами. Гвен Оклей (которая с своего места видела Боба Элрика и нашла, что у него больной вид) не присоединилась к этому смеху. Она уже успела решить про себя, что лорд слишком сладкоречив и что он „фальшивая монета“.

Лорд отметил в своей речи, что в последнее время ходит очень много толков — с его точки зрения, далеко не всегда разумных и полезных — о послевоенном устройстве Англии. „Конечно, мы понимаем, что произойдут большие перемены. Мы сознаём, что вернуться к довоенным условиям невозможно...“

Тут в зале кое-где захлопали, а Элрик сказал Энглби, что это сознание не мешает лорду употребить все силы на то, чтобы вернуть довоенные условия.

— В отношении... гм... ликвидации безработицы, жилищных условий, образования, здравоохранения и так далее неизбежны большие перемены. И смею вас уверить, что мы уже начинаем закладывать прочное основание для таких перемен, чтобы... э... сохранить всё лучшее в нашем традиционном укладе жизни и в то же время... гм... осуществить уже назревшие реформы, которые обеспечат гражданам нашей страны бóльшую обеспеченность, бóльшие возможности и жизнь более культурную.

Последние фразы он произнёс звучным голосом, и это произвело желаемый эффект. Они всегда имели успех, эти фразы, которые он неизмен-

но вставлял в каждую свою речь и пускал в ход несколько раз в неделю.

Восторженнее всех аплодировала мисс Шиптон. Идя сюда, она была уверена, что лорд ей не понравится, ибо его прошлое было ей известно, а она считала себя женщиной передовой. Но сейчас она пришла к заключению, что Бриксен человек вдумчивый и к тому же обаятельный. Она надеялась, что его прекрасная речь расшевелит Артура Болтона, которого необходимо вывести из душевного оцепенения.

Однако лорд Бриксен счёл нужным напомнить, что надо ещё сначала выиграть войну. Ещё не время для самоуспокоенности. Впереди тяжкие испытания.

Тут Морис Энглби заёрзал на месте, подумав о том, сколько времени и энергии потрачено за последние два года министрами, полководцами, членами правительства, дикторами, журналистами, вообще всеми, кто имел возможность быть услышанным, на то, чтобы твердить народу, который знал это не хуже их всех, что войну ещё надо выиграть. Где они видят эту „самоуспокоенность“, которую громят каждый день и каждый час? Не лучше ли всем важным „шишкам“ начать увещевать друг друга и перестать увещевать народ. Не все же они Уинстоны Черчилли.

— Как вы уже слышали от мистера Чевюта,— продолжал лорд Бриксен,— из Египта получены хорошие вести, а скоро будут ещё лучшие. Помощь Америки людскими резервами и военными материалами принимает всё более широкие размеры. Доблестная Красная Армия под Сталинградом...

Тут ему помешало продолжать бурный взрыв аплодисментов. Огмор стучал кулаком по столу, топал ногами, у него даже выступили на глазах слёзы при одном упоминании о его любимой Рос-

сии. Да и громадное большинство остальных рабочих в первый и единственный раз за время этой речи проявило истинное воодушевление. Это упоминание о непобедимой рабочей республике затронуло, видно, в них струну, которой не затрагивали никакие другие ссылки оратора, и вызвало мощный взрыв чувств, слишком редко находивших себе выход. Лорд Бриксен не замедлил использовать этот энтузиазм и следующие несколько минут ораторствовал в таком духе, что можно было подумать, будто он в своё время брёл по снегу с противотанковым ружьём, сражаясь под начальством Тимошенко. На самом же деле он в течение нескольких лет делал всё, чтобы помешать правдивым сведениям о России дойти до английского народа, он хмурился при одной мысли о возможности соглашения с Советским Союзом, поощрял фашистов, рассчитывая, что они встанут между ними и страшным большевизмом, и в конце июня 1941 года один из первых заявил, что Красная Армия продержится каких-нибудь полтора месяца, не больше. (Об этих фактах мистер Альфред Клитон напоминал теперь всем, кто сидел вблизи него. Возможно, что его милость искренно переменял своё мнение под влиянием последних событий, но он ни словом не упомянул об этом в своей речи.

— Проникнутые духом Атлантической хартии и сплочённые, как никогда доселе, свободные и объединённые народы пойдут дружно вперёд! — воскликнул лорд Бриксен, приступая к хорошо затвержённой и много раз использованной заключительной части своей речи. Но, к несчастью, в этот момент кто-то, стоявший у стены недалеко от эстрады, вздумал не во-время выйти из зала, и сделал это с таким шумом, так неуклюже, ничуть не стараясь двигаться потише, что в этом уходе

чувствовалось что-то демонстративное. Стук и грохот прозвучали, как неожиданная злая критика. Секунду-другую лорд Бриксен, благополучно добравшийся до привычного заключения, не мог припомнить следующую фразу и стоял с открытым ртом. Но недаром же он был старый, опытный оратор. Не прошло и минуты, как он оправился и энергично забарабанил одну пошлость за другой. Закончил он, как полагается, торжественным уверением, что победа, мир, свобода близятся и уже видны впереди, как яркий свет маяка. И Нелли Диттон и Мона Фокс нашли, что всё было замечательно.

32

Человек, так демонстративно вышедший из столовой, был Элрик. Ему стало невтерпёж слушать лорда Бриксена, который в его глазах был не человек, а ненавистная символическая фигура, и он решил, что такой уход — лучший способ показать это публично. Если кое-кого это шокирует, тем лучше. Элрик даже немного жалел, зачем не поддался искушению выкрикнуть во весь голос что-нибудь оскорбительное. Самый факт, что этот идиот-тори ораторствует в заводской столовой, казался Элрику частью какого-то тайного зловещего заговора. Недаром он явился сюда сразу же после назначения Блэндфорда управляющим. У Элрика было такое чувство, словно он — участник какой-то страшной драмы, попадает из одной отвратительной передряги в другую, и суждено ему доиграть свою роль до конца, что бы ни случилось. Кроме того, его желудок настоятельно требовал новой порции виски, и он спешил вернуться к себе в кабинет, где хранил бутылку.

С того самого часа, когда он ушёл с производственного совещания, он ни разу не поел как следует, а виски пил беспрестанно. На этом собрании весь завод отдан был в руки Блэндфорда — как тут не тревожиться? Это волновало его гораздо больше, чем отрицательный отзыв о нём самом, хотя и этот отзыв не шутка.

Всё походило на кошмарные видения долгого дурного сна. Эти дни Элрик чувствовал себя, как человек, который в мучительном сне, спотыкаясь, бродит по каким-то узким тёмным коридорам, тщетно стучится в закрытые двери, отскакивает от лестниц, которые валяются на него, от стен, которые смыкаются вокруг него...

Придя в свой кабинет, где в этот час перерыва стояла странная, гнетущая тишина, он залпом выпил виски и, возбуждённый и угрюмый, стал размышлять всё о том же. Вся его неукротимая энергия, которую он раньше вкладывал в работу, энергия, которая, подобно динамо, способна была, кажется, приводить в движение машины, теперь ушла внутрь и где-то в тайниках души рождала странные, грозные видения. Он терпел двойную муку, ибо каждое событие внешнего мира казалось связанным с его внутренним миром чёрной тоски и отчаяния. То, что грозило в ночном кошмаре, осуществлялось наяву, среди бела дня. Каждый день всё более явно и беспощадно оборачивался врагом.

Он выпил ещё и почувствовал себя бодрее. Он сурово напомнил себе, что он инженер и пока ещё главный. Сделав над собой большое усилие, он занялся какими-то бумагами, лежавшими у него на столе. Работа была обычная, не требовавшая большого внимания. Но ему трудно было сосредоточиться на знакомых фразах и цифрах. Они утратили свою реальность. Они словно отодви-

нулись от него на большое расстояние. Этот кабинет, весь завод уходили куда-то вдаль, как-будто он видел их на экране в кино. Он отодвинул в сторону бумаги и подпер обеими руками болевшую голову. „Что это со мною, какого чорта...“

— Вы нездоровы, мистер Элрик?— Это была маленькая Мюриэль Ллойд, его секретарша.

Он хмуро посмотрел на неё.

— Я здоров, спасибо, Мюриэль. А вот с вами всё ли благополучно?

Она не знала, как ей понимать эту реплику.

— Почему вы... Да, спасибо, мистер Элрик, я вполне здорова.

— Так, так. А вам понравилась речь лорда Бриксена? Только говорите правду!

— По-моему, он говорил очень хорошо, мистер Элрик. Мне очень понравилось и, наверное, всем другим девушкам тоже.

— Ага! И вы находите, что такие, как он, должны стоять у власти, быть членами правительства и всё такое?

— Ну да, мистер Элрик. Он нам всем очень понравился.

— Тогда, Мюриэль, вы ничего не понимаете! Он и ему подобные уже раньше чуть не погубили вас, и, если вы не будете остерегаться, они ещё это сделают. Вот почему я не выдержал, ушёл оттуда, Мюриэль... Впрочем, вы, наверное, не понимаете, о чём я говорю, а?

Но Мюриэль не была ни поражена, ни испугана; неожиданно для Элрика, она очень рассердилась.

— Не думаю, чтобы вы имели право так со мной разговаривать, мистер Элрик,— объявила она с негодованием, в упор глядя на него.— Вы всегда так делаете, и, по-моему, это нехорошо с вашей стороны. Я не такая образованная, как вы, я, может быть, иногда бываю бестолкова... но я

не... я не такая уж дура. А вы постоянно даёте мне почувствовать, что я глупа и... и такое ничтожество. Пользуетесь тем, что я ваша подчинённая. Это нечестно.

Он откинулся назад, с удивлением глядя на неё.

— Вы совершенно правы, Мюриэль, абсолютно правы. Раз вы способны так чувствовать, тогда мне следовало говорить с вами совсем по-другому.

— Ладно, мистер Элрик,— сказала она поспешно, уже смущённая своей выходкой.— Я только имела в виду...

— Я знаю, что вы имели в виду, и вполне вас понимаю. Всё в порядке, Мюриэль. Больше не будет таких разговоров. А, может быть, нам с вами скоро и вовсе не придётся больше разговаривать. Вы, вероятно, будете чертовски рады от меня избавиться. Это понятно.

— Нет, нет, не буду рада, мистер Элрик,— воскликнула ошеломлённая Мюриэль.— Неужели вы от нас уходите?

— Я ещё и сам не знаю, что со мною будет,— ответил он упавшим голосом.— Всё так дьявольски запутывается... Посмотрите, кто там, Мюриэль.

Это был Проскот. Он, видимо, очень торопился.

— Слушайте, Боб, вы придёте к завтраку, надеюсь?

— Нет, спасибо, Перси.

— Но почему? Что за причина?..

— Причин много. Во-первых, мне не особенно хочется есть. Во-вторых, я не могу больше выносить общества нашего высокого гостя, оно вызывает у меня желание напиться в дым. В-третьих, раз там будут и он и Блэндфорд, так можно поручиться, что я ляпну что-нибудь неприлично-грубое и поставлю вас и Чевиота в неудобное положение. Ну, что, теперь понятно?

— Понятно. Если кто спросит, я скажу, что вы раскисли. Вид у вас не блестящий.— Он сделал паузу.— Послушайте, старина,— он подошёл ближе и понизил голос.— Конечно, это не моё дело, а вы знаете, что я в чужие дела соваться не люблю. Но я вижу, что в последние дни вы всё воспринимаете не так, как надо. Вы воюете не только со всеми, но и с самим собой. Подбодритесь вы, голубчик, ради всего святого! Если бы вы знали, как много у вас здесь друзей!

— Ну, и что?— Голос Элрика звучал резко, но не враждебно.— Что же прикажете мне делать? Обходить их и собирать голоса в свою пользу? Взять от них хороший письменный отзыв?

— Вот видите!— сказал Проскот с отчаянием.— Вы даже мои слова приняли так, что я уже жалею, зачем заговорил об этом.

— Не жалейте.

— Так помните, что я вам сказал, Боб. А теперь мне надо бежать в столовую.

Элрик опять остался наедине со своими мыслями. Он курил одну папиросу за другой и мрачно обзревал вереницу воспоминаний. Вспоминал, как чью-то чужую жизнь, первые дни после женитьбы, задолго до того, как всё пошло прахом. Потом перебирал в памяти бережно, как нечто драгоценное, те великие сумасшедшие месяцы после падения Дюнкерка, когда страна, наконец, встрепенулась, ожила и в великолепной ярости самозабвения и творческого порыва в последний момент спасала мир и себя самоё. Тогда не слышно и не видно было таких лордов Бриксенов. То было не их время, и они это понимали и сидели смиренно, пока долгое жаркое лето не перешло в осень, а осень с пылающей золотом листвой и пылающими повсюду городами сменилась глубокой

зимой. А когда непосредственная опасность миновала и с ней миновал и великий народный порыв, вылезли на свет лорд Бриксен с компанией. Одним заткнули рот, других взяли за горло — смотришь, опять всё оказалось у них в руках. Да, в 1940 году он, Элрик, работал так, что с ног валился и чуть не ослеп, но не 1940 год вынул из него душу. В этом виновато всё то, что было потом, — всеобщая расхлябанность, разочарование, какой-то сон души и старые излюбленные штуки всё той же шайки.

Вошла мисс Шиптон. Он сразу заметил, что она держит себя с ним увереннее, чем раньше, и гораздо меньше старается скрыть свою неприязнь к нему. „Видно, узнала, что я поскользнулся, — подумал Элрик. — И ей теперь всё равно, нравится мне её тон или нет. Хорошо же, пойдём ей навстречу!“

— Ну, что, опомнились уже после замечательной беседы в столовой? — спросил он.

Она сурово посмотрела на него.

— Речь лорда Бриксена мне очень понравилась и, я думаю, большинству рабочих также. Это как раз то, что им нужно.

— Господи помилуй! Вы меня убиваете, мисс Шиптон... У вас какое-нибудь дело ко мне?

— Да, мистер Элрик. Мистер Проскот, верно, уже говорил вам о радиопередаче, для которой мы должны послать в Лондон двух лучших работниц.

— Да, что-то такое говорил на-днях. Разве он ещё не устроил это дело?

— Он просил меня, когда мы окончательно выберем девушек, получить ваше согласие. Мы сначала наметили миссис Оклей, потому что она установщица и очень опытная, и вообще она такая бойкая...

— Да, Гвен — подходящий человек. Я её знаю давно, мы с ней большие приятели. Но согласится ли она?

— Вот в том-то всё дело. Она отнеслась к этому так неодобрительно — хотя тут ведь предстоит поездка в Лондон за счёт завода и всё такое, — что я не считаю возможным послать её. Скажу прямо: она вела себя довольно глупо.

— Вы, наверное, не так подошли к ней. Гвен немного обидчива, но она совсем не глупа, и интересы завода ей дороги. Может быть, она думает, что эта передача для нас бесполезна. У меня самого на этот счёт сомнения. Они учат девушек, что́ сказать, и получается омерзительно фальшиво, так что никому от этого пользы нет.

Мисс Шиптон и сама была почти такого же мнения, но её сильно раздражал тон Элрика, в котором ей чудились презрение и насмешка. Поэтому она всегда готова была перечить ему.

— Не нам судить... — начала она сухо.

— Эту свою позицию вы оставьте, — заорал вдруг Элрик, зло глядя на неё. — Мы можем судить не хуже других. Мы здесь работаем. Мы проводим целые дни с рабочими. Если не нам, так кому же судить? Лорду Бриксену, что ли?

— Мистер Элрик, я кричать на себя никому не позволю. Если вы не можете говорить спокойно, я лучше уйду.

— Ладно, — сказал он ворчливо, — незачем вам уходить. А что касается Гвен Оклей, так тут ничего не поделаешь. Не хочет — не надо. Если она не уедет, работа от этого только выиграет. Нам было бы очень трудно обойтись без Гвен даже несколько дней. А кого же ещё вы наметили?

— Мистер Проскот предлагал мисс Пиннель, бывшую секретаршу мистера Блэндфорда, кото-

рая теперь в учебном... Она девушка незаурядная...

— А, знаю, высокая такая брюнетка. Что же в ней незаурядного? Финтифлюшка! Какая она работница авиазавода? Может, когда-нибудь и станет ею, хотя сомневаюсь. Нет, она не годится.

— Я передам мистеру Проскоту ваши возражения против мисс Пиннель,— сказала мисс Шиптон. Она была вполне с ним согласна, но вовсе не желала признаться в этом.— Затем есть те две девушки из сборочного, которые иногда участвуют в концертах...

— И этих прочь. Мы должны послать двух настоящих работниц, а не каких-то третьеразрядных любительниц искусства. Отчаливайте-ка вы от сборочного и возьмите двух женщин прямо от станков.

— Хорошо, тогда... Сегодня мистер Огмор предлагал мне одну из своих. Он, конечно, знает, кого выбрать.

— Да, Огмору легче всего судить.

— Он предлагает послать работницу его отделения, Нелли Диттон. Славная, работающая девушка. Немножко наивная, не очень умная, но хорошая девушка. И потом ещё её подругу, Мону Фокс. Огмор находит, что, так как они подруги, они будут меньше робеть, если поедут вместе, И специальность у них разная.

— Да, это лучше,— сказал Элрик.— Они подойдут.— Он, видимо, хотел закончить разговор, но вдруг что-то вспомнил.— А там есть ещё девушка, Джойс Дирхерст. Вы её знаете? Что, если послать её?

— Совершенно не подходит,— возразила с живостью мисс Шиптон.— Она пропустила столько дней без уважительной причины, а теперь заявляет, что вообще хочет уйти с завода.

— Хочет уйти? Почему?

— Говорит, что ей работа не нравится и что она хочет заняться чем-нибудь другим. Стоило её обучать! Нет, девушка мало симпатичная, и, разумеется, трудно найти менее подходящую для командировки в Лондон в качестве представительницы наших рабочих.

— Да, да, да,— прорычал Элрик, не глядя на неё.— Пошлите тех двух, и дело с концом. Всё?

— Как будто всё, мистер Элрик. Вы не поговорите с этой Дирхерст?

— Ладно. Посмотрим.

Он жестом отмахнулся от дальнейшего разговора и поторопился выпроводить мисс Шилтон. Эта женщина всегда недолюбливала его и теперь почти не скрывает этого. Она, должно быть, пронюхала кое-что. Когда она говорила о Джойс, в её голосе слышалось холодное злорадство.

Телефон теперь звонил беспрестанно, и пришлось добрый час заниматься деловыми разговорами. Но эта привычная деятельность не заглушала чувства безмерной опустошённости. Он всё ещё был во власти того долгого дурного сна, в котором всё грозило сомкнуться вокруг и задушить его. Когда наступило время чаепития, он отказался от чашки чаю, принесённой Мюриэль, — Мюриэль, которой явно очень хотелось вторично спросить, здоров ли он, — и опять проглотил изрядную порцию виски. Потом сошёл вниз.

Поговорив с несколькими мастерами, он направился в четвёртое отделение. К нему сразу же подошёл Фред Сколби, и он заставил себя вести с ним деловой разговор, хотя говорить собственно было почти не о чём. Он незаметно подвигался всё ближе и ближе к тому месту, где работала Джойс Дирхерст, пока, наконец, не оказался в нескольких шагах от неё. Он почему-то

вспомнил сейчас то утро, когда увидел её в первый раз. Казалось, то было очень давно, то была какая-то другая глава в истории его жизни. А ведь с тех пор не прошло и недели! Так сильно было это странное ощущение давности их предыдущей встречи, что он удивился, увидев Джойс такой же, как она была тогда. Она казалась большим цветком, распустившимся в этом столь неподходящем месте. Элрика снова захлеснула тёмная волна исходившего от неё очарования. А с нею — и чувство, которое он испытывал в то первое утро, только гораздо сильнее. Он чувствовал, что только эта волшебница — не просто девушка, как все, а существо из другого, лучшего мира — могла вывести его из лабиринта кошмарного сна.

Он отослал Фреда и подошёл к Джойс. Остановился, не сводя с неё глаз. Она случайно подняла голову и увидела его. Когда взгляды их встретились. Элрик снова ощутил то же, что тогда вечером, когда она была у него в кабинете и они оба стояли и молча смотрели друг другу в лицо, — огромную, нестерпимую нежность, в которой были и радость, и боль. И ему казалось, что она тоже переживает в эту минуту то, что тогда: у неё вдруг так же, как тогда, расширились и посветлели глаза, и в них появилось слегка воодушевленное выражение. Ведь это ему не почудилось? Это было?

Он подошёл к ней и сказал решительно, властно:

— Джойс, как только кончите работу, поднимитесь ко мне в кабинет.

Она слегка нахмурилась, взглянула как-то нерешительно.

— Дело важное, — добавил он, подумав, что должно быть, испугал её.

— Хорошо, приду,— ответила Джойс тихо и снова принялась за работу. Элрик быстро отошёл. Давно у него не было так легко на душе. Неужели кончился долгий, тяжкий сон?

33

Возвратясь от Элрика, мисс Шиптон ещё часа два сидела у себя в кабинете. И не только потому, что у неё была работа, а ещё и по другой причине: разговор с Элриком был настолько неприятен и стоил ей такого душевного напряжения, что ей понадобился весь остаток дня на то, чтобы притти в равновесие. В кабинете у Элрика она держалась храбро, но, возвратясь к себе, вся тряслась от волнения и глубокого возмущения. Элрик ей всегда был антипатичен, и она считала, что такому человеку следовало бы иметь дело только с машинами в цехах, а не занимать ответственный пост. Он хам и циник, и ни один более или менее культурный рабочий такого, конечно, уважать не может. У него очень тяжёлый характер, и он как будто старается быть как можно бестактнее и грубее. Если бы спросили её мнения, она бы, не колеблясь, сказала, что он оказывает на рабочих дурное влияние. Затем он сильно пьёт, и у него очень неприятная манера обращаться с женщинами. Ходят слухи, что его положение пошатнулось,— тем лучше, если это правда. Мисс Шиптон готова была заявить мистеру Чевиоту или кому-угодно, как инспектор охраны женского труда, что, с её точки зрения, было бы лучше заменить Элрика другим, более культурным и положительным человеком.

Она сознавала, что есть и другие, более глубокие причины её нелюбви к Элрику. И несколько

раз сегодня, работая у себя в кабинете, она вспоминала его тёмные насмешливые глаза и спрашивала себя, что же в этом человеке всегда отталкивает её и вызывает такое чувство, словно перед нею враг? Наконец, уже к концу дня, пришла к заключению, что ей противна в нём грубая, жадная, дерзкая мужская натура. Ей никогда не нравились мужчины такого типа. В них — что-то первобытное и хищное. Они унижают женщину уже одним своим подходом к ней. И долг каждой разумной женщины, стоящей за глубоко человеческие, товарищеские отношения между полами, бороться, а если понадобится, то и разоблачать таких мужчин. Они будут существовать и процветать только до тех пор, пока глупые женщины, которые хватаются за любую возможность половой жизни, будут допускать это.

Вынеся такую резолюцию и подкрепившись двумя чашками крепкого чая, тремя бисквитами и папиросой, мисс Шиптон несколько воспрянула духом и решила сходить вниз и потолковать с двумя девушками, выбранными для выступления по радио.

Но там она сначала переговорила с мистером Огмором, который наблюдал за окончательной сборкой большой машины устрашающего вида, только что доставленной сюда из другой части завода.

— Нет, не объясняйте мне ничего, — взмолилась она. — Я не люблю машин и всё равно ничего не пойму. Какое чудовище!

Мистер Огмор укоризненно покачал головой.

— Она отлично работает. Единственный её недостаток тот, что она производит страшный шум, и женщины её за это не любят, — она мешает им переговариваться. Нет, эта машина не страшная, мисс Шиптон, — добавил он внушительно.

Страшно одно: фашизм и эксплуатация масс. А эта машина как раз поможет нам избавиться от фашистов... Что вы мне хотели сказать?

— Вашему отделению везёт,— начала она весело.— Обе предложенные вами девушки — и Нелли Диттон и Мона Фокс — будут посланы в Лондон.

Длинное серьёзное лицо мистера Огмора просияло.

— Вот это я называю хорошими вестями! — воскликнул он. — Все будут довольны и работать станут лучше. Я вам очень благодарен, мисс Шиптон, честное слово. И вы не пожалеете, что выбрали этих двух, они хорошие девушки. Вы сами им сообщите или мне это сделать?

— Вы скажете Моне Фокс, а я — Нелли Диттон,— решила мисс Шиптон.

— Ладно. Нелли как раз за вашей спиной. Мона — та где-то носится, по обыкновению. Да, да, это приятно.— Он дружески пожал ей руку. „Симпатичный человек этот мистер Огмор, не то что разные Элрики“.

— Ну, Нелли,— объявила она, наслаждаясь своей ролью,— у меня для вас хорошая новость.

Девушка покраснела до корней белокурых волос.

— А, мисс Шиптон, это, наверное, насчёт автобуса?

— Автобуса?— мисс Шиптон не сразу вспомнила, о каком автобусе идёт речь.— Ну, нет, это дело поважнее. Я пришла вам сказать, что вы избраны для поездки в Лондон и участия в большой радиопередаче, посвящённой авиазаводам.

— Я?— задохнулась Нелли.

— Да, вы, Нелли.

Сперва удивление, затем радость осветили лицо девушки.

— Ах, мисс Шиптон... Но смогу ли я... Конечно, это чудесно... Но как вы думаете, я не осрамлюсь?

— Ну, конечно, нет. А знаете, кто ещё едет с вами?

— Нет. Кто же?

Перед тем как ответить, мисс Шиптон подумала, что есть женщины двух родов: радость одним несколько омрачится, если они узнают, что какую-нибудь привилегию с ними разделит подруга; радость других от этого, наоборот, усилится. К какому же роду женщин принадлежит Нелли?

— Вы с нею, кажется, приятельницы. Это Мона Фокс.

Нелли явно принадлежала ко второму типу женщин: лицо её ещё больше просияло.

— Да, она моя подруга. И нам можно будет ехать вместе? Как хорошо!.. Не знаю только, что скажет мама. Я вам рассказывала про неё, да? Она не верит радио, говорит, что оно выдумывает всё про войну. Но, надеюсь, тётя её уломает. Я уверена, что тётя захочет ехать с нами. Когда это будет, мисс Шиптон?

— Не раньше, чем в конце недели. Я вам сообщу все подробности, как только сама их узнаю.

Мисс Шиптон уже хотела уйти, но вдруг её внимание привлёк кто-то из соседей Нелли. Она придвинулась ближе к девушке и спросила шопотом:

— Кто этот мужчина вон там, который всё время смотрит на вас?

Лицо Нелли омрачилось.

— Мисс Шиптон, я не хотела вам говорить, чтобы вы не подумали, что я всегда жалуюсь: сначала автобус, теперь это. Но мистеру Огмору я уже несколько раз говорила... Потому что иногда мне просто страшно...

— Кто он такой и почему так смотрит на вас?

— Его фамилия Стоньер, — тоже шопотом ответила Нелли. — Он здесь недавно. И честное слово, мисс Шиптон, это не моя фантазия, можете спросить хоть миссис Флин, вон ту чёрненькую, она вам подтвердит — он или сходит с ума или уже сошёл. Честное слово! Он всё время что-то бормочет. И говорит такие странные вещи. А в последнее время всё на меня смотрит, глаз не сводит. Но не так, как другие мужчины, те просто разглядывают девушек, и всё. А этот... Вы сами видели, мисс Шиптон.

— И что же сказал мистер Огмор?

— Мистер Огмор тоже находит, что он очень странный человек и, пожалуй, становится день ото дня хуже. С тех пор как начали устанавливать у нас ту большую машину, он ровно ничего не делает, только наблюдает, как её собирают, да пялит глаза на меня... Но мистер Огмор говорит, что Стоньер до сих пор не сделал ничего недозволенного, так что он не может жаловаться на него. Право, мисс Шиптон, если это будет продолжаться, мне придётся просить мистера Огмора перевести на другое место или его, или меня. Он мне действует на нервы. Не можете ли вы что-нибудь сделать, мисс Шиптон?

— Попробую, Нелли. Мне тоже не нравится этот человек.

Она пошла вдоль ряда, чтобы найти мистера Огмора.

— Стоньер? — Мистер Огмор нахмурился и крепко потёр подбородок. — Да, с ним что-то неладно. Я сначала не верил, когда меня предупреждали тут некоторые, но в последние дни сам уже заметил. Кроме того, он работает всё хуже и хуже. Стоит — будто спит с открытыми глазами. Знаете, что я надумал? Завтра доктора Стэммерса в

поликлинике не будет, он принимает только послезавтра с утра, и тогда я под каким-нибудь предлогом пошлю Стоньера в поликлинику. А с сестрой Файли я уговорился, что доктор Стэммерс потолкует с ним и осмотрит его.

— Послезавтра?

— Да. Тогда мы узнаем мнение специалиста. Скажу вам откровенно: я буду рад избавиться от Стоньера. Таким не место среди рабочих... Ну, а насчёт радио я сказал Моне Фокс, и девушка от радости совсем голову потеряла. Немного она работает эти дни в своей бригаде „передовиков“. Ну, да нам сейчас не это нужно. Второй фронт — вот что нам сейчас нужно. Так-то, мисс Шиптон!

Это было для мисс Шиптон сигналом ретироваться. Она не то чтобы была не согласна с энтузиастами второго фронта, но ей надоело слушать каждую минуту, что надо „открыть“ второй фронт, как-будто это банка залежавшихся консервов.

Пробираясь на другой конец зала, она вспомнила, что здесь где-то работают две женщины, которых ей надо повидать. Она даже себе самой не хотела сознаться в том, что её тянет туда, где работает Артур Болтон. Она не позволяла себе думать о нём.

Она поговорила с теми, кого разыскивала, и заметила, что уже поздно. Только теперь она разрешила себе вспомнить, что Болтон работает близко отсюда и надо воспользоваться случаем поговорить с ним. Возможно, что он захочет объяснить ей, почему их воскресная прогулка была так неудачна. Может быть, ему тогда нездоровилось. Может быть, он хочет её видеть, но слишком робок, чтобы притти к ней или передать письмо. Ведь он очень застенчив и занимает на заводе более низкое положение, чем она, так что естест-

венно с его стороны ожидать, чтобы первый шаг сделала она. Так она и поступала до сих пор. Но это для неё обидно. А кроме того, это не даёт ему возможности проявлять как-нибудь свой интерес к ней. Конечно, если только он... Ледяная рука сжала сердце — если только он сколько-нибудь интересуется ею.

Она остановилась немного поодаль, делая вид, что ищет что-то в своей записной книжке, и затем взглянула на него. Он стоял неподвижно, рассматривая оконченную работу. Высокая фигура, серьёзное лицо... Мисс Шиптон словно видела перед собой поясной портрет в необычайной рамке машин. Было в нём что-то в высшей степени старомодное, не вязавшееся с окружавшим его миром машин. Внешность у него была мало привлекательная. Мисс Шиптон подумала, что за нею ухаживали когда-то мужчины, гораздо более обаятельные, интересные, сильные, а между тем её не тянуло к ним. Что же так привлекает её в этом Болтоне? Почему она всё чаще и чаще думает и беспокоится о нём? Пережитая им драма? То, что он производит впечатление человека, убитого жизнью? Или непонятная потребность оправдать свою связь с Гербертом в глазах этого осуждающего её чужого человека? Или — спросила она себя честно, напрямик — может быть, тогда, в первую их встречу, когда он сказал ей, что жена Герберта знает всё, он этим как-то сразу вытеснил Герберта из её жизни, и, так как внезапная пустота в мыслях и сердце была невыносима, он занял место Герберта? Ибо она сейчас уже знала, что влюблена в этого молчаливого незнакомца и не успокоится до тех пор, пока не вернёт его к жизни, пока он не полюбит её.

Через минуту он может уйти. Подумав это, она вздохнула и, когда подошла к Болтону, дыша-

ла тяжело и не сумела принять тот небрежный вид, который обычно напускала на себя.

— Здравствуйте, Артур,— сказала она весело.— Кончаете?

— Да, только что кончил.

Он не улыбнулся и посмотрел на неё без всякого выражения. Нужно было ещё прибрать у станка, и он занялся уборкой.

Мисс Шиптон испытывала мучительное волнение человека, которому остаётся очень мало времени.

— Мне казалось,— начала она и тут же поправила себя:— Я чувствую, что вам наша прогулка в воскресенье не доставила удовольствия. И всё задаю себе вопрос, не моя ли это вина?

Он опять посмотрел на неё.

— Нет, не ваша.

— Мне нужно было поговорить с вами о тысяче вещей,— продолжала она быстро,— и спросить вас о многом. Но разговор у нас не вышел. Может быть, вы не любите разговаривать на прогулках? Я знаю, некоторые это не любят. Должно быть, я слишком много болтала... Теперь ваша очередь.

Он промолчал, словно не заметил этого вызова и ожидал, что она ещё скажет.

— Вы сегодня или завтра вечером не свободны?— Сказав это, она почувствовала к себе презрение.

Он не спеша вытер тряпкой руки. Посмотрел пристально и, может быть, немного грустно на стоящую перед ним женщину.

— Я должен вам сказать одну вещь, которой мне говорить бы не хотелось,— начал он медленно, со своим характерным ланкаширским выговором, который как-то сглаживал всё и придавал словам меланхолический оттенок.— Мне кажется, вам сейчас очень нужен друг, и это впол-

не понятно после истории с Гербертом и всего остального. И вы, вероятно, думаете, что мне тоже не мешало бы иметь друга...

— Да, я об этом думала,— перебила его мисс Шиптон.— Я знаю, что он вам нужен... и знала это ещё до нашего знакомства, когда мне рассказали обо всём, что вы пережили и...

— Не хотела бы вам мешать,— произнёс голос, звучащий холодно и, пожалуй, немного иронически.— Вы меня извините и всё такое... Но мне нужно взять вашу розовую бумажку, мистер Болтон. Спасибо,— и Гвен Оклей, отобрав листок, посмотрела на них обоих с улыбкой (за которую мисс Шиптон с наслаждением ударила бы её) и ушла, насвистывая.

Болтон подождал немного, затем решительно сказал:

— Но дело в том, что я не хочу иметь друга. Не очень-то это вежливо звучит, и я предпочёл бы не говорить так, но ничего не поделаешь: надо. Мне нечего дать другу, а тем более другу-женщине. Мне нужен теперь только покой да работа. И тогда...

— И тогда что?— спросила она.

— Ничего, буду жить кое-как. Читать по-немножку, думать, наблюдать...

— Другими словами, вы хотите, чтобы я вам не надоедала больше... оставила вас в покое...— Голос едва не изменил ей.

— Я хотел вам объяснить своё состояние,— ответил он уклончиво, не глядя на неё.— Чтобы у вас больше не было разочарований. Я ведь вас разочаровал в воскресенье. Что ж, сознаюсь, я виноват.

— Если вы думаете...— начала она запальчиво и вдруг остановилась. Чувствовалось, что для этого ей пришлось пустить в ход все внутренние тор-

моза, и даже скрип их, кажется, был слышен. Но она всё-таки взяла себя в руки. „Женщины, которыми пренебрегли...“ Знакомая фраза... Нет, есть иной, лучший путь, и она выберёт его.

— Понимаю. Ничего больше не нужно говорить. И извиняться не нужно. Я думала, что, так как нам обоим тяжело, мы могли бы помочь друг другу... И потом... не знаю, почему... но после того, как вы говорили со мной о жене Герберта, я чувствовала, что должна оправдаться перед вами, чтобы вы не презирали меня...

— Я вас вовсе не презираю,— возразил он с удивлением.

— Что же, и то хорошо. И никто ни на кого не в обиде.— Переломив себя, она посмотрела ему в глаза и даже изобразила что-то вроде улыбки.

— Если я вам за чем-нибудь понадобится, приходите. Я имею в виду деловые услуги... Ведь это моя обязанность здесь. До свиданья.

Она поспешила уйти, сама ещё не понимая, что её гонит,— слепое бешенство или предельное отчаяние. Ощущая жгучую боль в веках, она вонзила ногти в свои влажные ладони. Гудок затих, и, пробираясь сквозь спешившую к выходу толпу, она беспрестанно натыкалась на людей, как слепая. Когда она была уже недалеко от лестницы, которая вела наверх, мимо неё промелькнула высокая грациозная фигура девушки, в которой она узнала Джойс Дирхерст. Джойс торопливо взбежала по ступеням. Уже не к ней ли она идёт? Ничего, подождёт.

К тому времени, когда мисс Шиптон добралась до верхнего этажа, почти все служащие уже разошлись, и не слышно было привычного стука пишущих машинок, жужжания и телефонных звонков. Она медленно шла к своей комнате, находившейся в конце коридора. Вспомнила утренние

огорчения, рассердивший её разговор с Элриком. Как раз в эту минуту она проходила мимо его кабинета, и гнев с новой силой забушевал в ней.

Она вдруг остановилась и круто повернулась. Где-то, в одном из кабинетов, раздался женский крик. Это, наверное, у Элрика. Она вбежала туда и увидела Джойс Дирхерст, которая вырывалась из объятий Элрика.

Мисс Шиптон что-то крикнула — она никак потом не могла припомнить, что, — и через мгновение тяжело дышавшая и всхлипывавшая Джойс очутилась с нею вместе в коридоре. Там и сям из дверей уже высывались головы, но она быстро увела девушку к себе.

— Он пьян... или с ума сошёл... бог его знает, — сказала Джойс, задыхаясь. — Он велел мне притти к нему, я думала, он хочет поговорить со мною насчёт моего увольнения... Но не успела я войти, как он выкрикнул моё имя и... и схватил меня и начал целовать. Он был страшен... Я ничего такого не говорила и не делала, чтобы дать ему право так вести себя... Я всегда его боялась... — Она громко заплакала.

— Оставайтесь здесь, — сказала мисс Шиптон. — Я пойду заявлю об этой истории.

Она пошла обратно в кабинет Элрика. Элрик сидел, сторбившись, за письменным столом, с бессмысленным выражением глядя куда-то в пространство. Во всей его позе была такая безутешность, что даже мисс Шиптон, как она ни была зла на него, не могла не почувствовать её. Но она немедленно себя одёрнула.

— Я заявлю об этом, — сказала она вторично, ещё более воинственно, словно бросая ему вызов.

Ни один мускул не дрогнул в лице Элрика, только глаза медленно поднялись и встретили её

обвиняющий взгляд. В глазах этих нельзя было прочесть ничего. Выражение их смутило мисс Шиптон, и она почувствовала, что надо объяснить цель своего прихода:

— Я скажу мистеру Чевииоту, что такие вещи как то, что здесь сейчас произошло, делают мою работу невозможной. Думаю, что он меня поймёт. А если нет, я подам заявление об уходе.

— Не только ваша работа, но и множество других вещей станут невозможны,— промолвил Элрик медленно, уже не глядя на неё.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы всё равно не поймёте, так что не стоит объяснять. Ступайте, донесите!

Она опять рассердилась.

— И пойду!

И действительно пошла прямо к мистеру Чевииоту. В первой комнате было темно, очевидно мисс Бэрроус уже ушла, но в следующей горел свет. Она постучала и вошла. Там сидели мистер Чевииот и молодой Энглби. Стол между ними был завален папками и бумагами.

— Если у вас дело не очень экстренное, отложите на завтра, мисс Шиптон,— сказал мистер Чевииот, поднимая мохнатые брови.— Мы сейчас очень заняты.

— Я считаю его очень важным, мистер Чевииот, иначе я не стала бы вас беспокоить в такой час.

Ей трудно было совладать со своим голосом, он дрожал и прерывался. Мистер Чевииот посмотрел на неё с большим удивлением.

— Только что произошло нечто очень неприятное,— и она принялась рассказывать эту, как она выразилась, „грязную историю“.

— Лучше приведите ко мне девушку, если она в состоянии идти,— сказал мистер Чевииот серьёзно.

— Ну, конечно, — ответила мисс Шиптон и тотчас вышла.

„Мистер Чевииот, повидимому, отнёсся к этому должным образом“, — подумала она с большим облегчением, ибо никогда не знаешь, чего можно ожидать от мужчин. Она выполнит свой долг, выполнит мужественно и не откладывая. Обличив Элрика, она тем самым защитит интересы всех передовых женщин.

И, однако, неизвестно почему (может быть, оттого, что она не могла забыть разговора с Болтоном), та атмосфера безутешности и глубокой усталости, которую она на миг ощутила в комнате Элрика, преследовала её, словно просочившись оттуда в коридор и заполнив его весь, во всю длину. Как тут торжествовать победу, когда жизнь вдруг стала казаться такой ничтожной, убогой и печальной.

34

Морис Энглби был трезво настроенный молодой человек и не сторонник культа героев, но за последние дни мистер Чевииот начал вызывать в нём чувство глубокого восхищения и искренней привязанности. Морису нравилось работать под руководством этого большого, грубоватого человека, который весь был поглощён делом и ничуть не заботился о своём престиже и никогда не рассматривал ничего с точки зрения своих личных интересов. Когда мисс Шиптон вышла из кабинета, Энглби с тревогой поглядел на мистера Чевииота.

— Неприятная история... Особенно если эта девушка собиралась уйти с завода...

Погодите, может быть, мы слышали не всё, — сказал мистер Чевииот. — Мисс Шиптон не любит

Элрика, я это давно подметил. Не думаю, чтобы он ей сделал какое-нибудь зло. Вернее всего, просто, по своей привычке, подтрунивал над нею. Этого, впрочем, совершенно достаточно, чтобы нажить себе врага в женщине, несколько строптивой и лишённой чувства юмора. Но оставим это. Меня беспокоит только вопрос, чем всё это кончится для Боба Элрика. И для нас. Ну, да ладно, сначала выслушаем девушку.

— Пожалуй, мне лучше уйти, мистер Чевинот

— Нет, не надо, если только она этого не потребует. Я лично предпочёл бы, чтобы вы были здесь, — потом узнаете, зачем... А пока, чтобы не терять времени, давайте посмотрим ещё раз эти расчёты.

Они занимались делом ещё несколько минут, пока не вернулась мисс Шиптон в сопровождении высокой, очень миловидной девушки, заплаканной и не поднимавшей глаз. На Энглби, которому не нравились женщины такого типа, она произвела впечатление вялой и бесхарактерной.

— Здравствуйте, милая девушка, — сказал мистер Чевинот. — Мне очень жаль, что вас напугали но вы, я вижу, уже оправились.

Она подтвердила тихим голосом, что чувствует себя лучше.

— И я не хочу больше об этом говорить, — добавила она. — Это мисс Шиптон вздумала... — Она бросила на мисс Шиптон недовольный взгляд.

— Да, понимаю. И мы задержим вас на одну минуту, не больше. Расскажите, что произошло.

Девушка рассказала, как Элрик велел ей притти наверх к нему в кабинет, и упомянула, что она уже была там один раз, когда ушибла руку, и Элрик встретил её в поликлинике. Она добавила, что никогда не была к нему расположена, ничем

его не поощряла, что с первого же дня он показался ей странным, и она его побаивалась. Наверное, он был пьян, когда обнял её сегодня, от него несло виски, и у него был какой-то дикий вид.

— Так,— сказал мистер Чевинот.— А вам, кажется, и до этого случая не нравилось у нас на заводе? Что ж, мне очень жаль, что вышла такая неприятность, но ведь ничего дурного вам не сделали. И если вы добрая, разумная девушка — а вы мне именно такой и кажетесь — то не станете болтать об этом. Вам, я думаю, самой не хотелось бы, чтобы об этом пошли разговоры. Нет? Ну, вот и отлично. Бегите одеваться, а то прозеваете автобус, а завтра приходите на работу, как обычно. Что касается вашего желания уйти с завода, так на той неделе мисс Шиптон или мистер Энглби потолкует ещё с вами об этом. У нас тут девушек не обижают, напротив, все говорят, что мы для них очень много делаем. Вы живёте у родителей?

Она объяснила, что и отец и мать у неё умерли и живёт она с тёткой.

— Я не хотела бы, чтоб об этом все узнали,— повторила она, опустив глаза.— Это неприлично... Ну, я пойду. До свиданья.

Мисс Шиптон проводила её до лестницы и вернулась.

— Девушка совсем оправилась, мистер Чевинот,— дoloжила она.— И, к счастью, она необщительна, так что, я думаю, болтать об этой истории не будет. Но раз она вообще хочет уходить, нам теперь будет трудно удержать её. Да и незачем: невелика потеря. Она совсем недавно прислана из учебного цеха, и уже видно, что работа у нас ей не по вкусу. Пожалуй, вам следует знать, что мистер Элрик два-три раза расспрашивал меня об

этой девушке и явно интересовался ею. Это может подтвердить и мистер Проскот. Я нимало не сомневаюсь,—добавила она чопорно,—что мистер Элрик умышленно позвал её к себе для того, чтобы... гм... предпринять наступление. Вот что я хотела бы отметить...

— А может быть, он имел основания думать, что и она в такой же мере этого хочет,—заметил Энглби.

— Не знаю, что он думал,—возразила с неудовольствием мисс Шиптон,—но из того, что говорила мне эта девушка, и из моих собственных наблюдений я заключаю, что она никогда не давала ему ни малейшего повода к этому. Надо вам знать, мистер Энглби, нынешние девушки визжат и поднимают шум только тогда, когда они в самом деле испуганы. Так что поведению Элрика нет оправдания.

— Ладно, мисс Шиптон, благодарю вас,—вмешался мистер Чевииот.—Вы поступили правильно, а остальное предоставьте мне. Кстати, мистер Элрик ещё здесь?

— Был здесь минут десять тому назад,—ответила мисс Шиптон угрюмо.—Я вам больше не нужна, мистер Чевииот?

— Нет, спасибо,—сказал он устало.—До свиданья.

Она ответила „до свиданья“ с некоторой суровостью, словно желая напомнить обоим, что они обязаны выполнить свой долг, как бы неприятен он ни был. По её уходе Чевииот и Энглби некоторое время молча смотрели друг на друга.

— Элрик последние дни был в каком-то странном состоянии,—сказал, наконец, Энглби.—И, может быть, ему показалось, что девушка так же увлечена им, как он ею. Это — плюс частые вы-

ливки — объясняет, почему он обнял её, как-только она пришла в кабинет.

— Может быть. Но до сих пор у Боба, при всей его необузданности, хватало благоразумия гоняться за женщинами только вне завода... Впрочем, может быть, оттого, что у нас лишь недавно начали появляться такие томные и волоокие молодые особы. Ну, я пойду, скажу ему парочку подходящих слов, если он способен сейчас разговаривать. А вы, пожалуйста, не уходите, подождите меня здесь, Энглби. Это очень важно.

Оставшись один, Энглби с лихорадочной торопливостью схватился за телефонную трубку. У него был свой маленький автомобиль, и сегодня Фреда Пиннель снизошла до того, что приняла его предложение отвезти её домой. Но последний час он работал с мистером Чевиотом и не имел возможности предупредить Фреду, что он ещё не может уйти и, возможно, задержится на некоторое время.

В конце концов дежурный сержант в вестибюле по его просьбе разыскал Фреду и позвал её к телефону. Она была в бешенстве.

— Отчего вы мне не сказали, что вас могут задержать? — спросила она. — Из-за вас я застряла здесь окончательно. Последний автобус ушёл, а подвезти меня некому. Что я буду делать?

— Подождите меня, — ответил он хладнокровно. — Я у мистера Чевиота, и тут всякие происшествия... Поднимитесь в столовую и выпейте чаю с булочками.

— Не хочу. Фрэнсис Блэндфорд уже ушёл?

— Да. Ему сегодня нужно было заехать к Финчому. Придётся вам подождать меня, вот и всё.

— Я готова вас убить! Торчи теперь здесь из-за вас.

— Вы можете получить в столовой тарелку зна-

менитого супа, который готовится для ночной смены. Ну, идите, Фреда, я слышу шаги хозяина. Постараюсь освободиться как можно скорее.

Когда он вешал трубку, в ней ещё трещал разъярённый голос Фреды.

Мистер Чевинот вошёл, тяжело переваливаясь, как унылый старый медведь.

— Он ушёл. Бог его знает куда, только не домой, конечно. Я оставил ему записку, потому что завтра меня с утра не будет здесь, я должен ехать к Стенборо. Написал, что до сих пор я готов был воевать за то, чтобы его оставили здесь, если он согласится работать с Блэндфордом, но эта последняя его глупость, о которой, разумеется, все узнают, делает положение безнадежным, и ему придётся уйти.

В Энглби возмутился инженер.

— Но человека с его знаниями и опытом нельзя отпускать с завода!

— Я это знаю не хуже вас, Энглби. Конечно, я переведу его на один из заводов, которые мы сейчас принимаем. Но я не хочу сейчас говорить ему об этом. Он так безобразно вёл себя в последние дни, пускай же неделю-другую думает, что он окончательно снят с работы, и поостынет немного. Надо его проучить! Потом я о нём позабочусь. Но здесь для него всё кончено, и ему с этим нелегко будет примириться.

— Да, жаль мне его, — сказал Энглби медленно и серьёзно. — Мы с ним очень разные люди, но кое-что мне в нём понятно. Я понял, что толкает его постоянно на безрассудства, хотя, конечно, ему бы следовало крепче держать себя в руках. Побуждения у него всегда хорошие. Вы извините, мистер Чевинот, что я говорю всё это вам, который знает его в десять раз лучше, чем я.

— Ничего, говорите, — улыбнулся мистер Чевитот. — А знаете, кто займёт здесь место Элрика?

— Нет.

— Вы, Энглби.

И мистер Чевитот откинулся на спинку стула с удовлетворённым видом человека, только что проделавшего ловкий фокус.

Энглби вытаращил глаза. — Я? Но...

— Никаких „но“. Это дело решённое. Смотрите, — он протянул молодому человеку через стол лист бумаги, приказ о назначении Энглби главным инженером. Для Энглби это было огромное продвижение, и оклад главного инженера более чем вдвое превышал тот, который он получал сейчас.

— Что же, если вы считаете, что я справлюсь...

— Это мы все считаем. И не терзайтесь мыслью, что вытеснили беднягу Элрика, — он всё равно должен уйти. Значит, решено... А теперь за дело. У нас тут ещё на добрый час работы. Я отпустил своего секретаря домой. А ваша где? Нам кто-нибудь может понадобиться.

— Моя тоже ушла. — Энглби замялся было, но потом добавил: — Знаете, что мне пришло в голову? В столовой ждёт меня Фреда Пиннель, бывшая секретарша Блэндфорда. Что если вы попросите её притти сюда и поработать с нами?

— Почему я? — ухмыльнулся мистер Чевитот. — Почему не вы? Трусите?

— Трушу, мистер Чевитот. Но не хочу, чтобы она это знала, иначе я погиб. Если вам не трудно...

Мистер Чевитот уже снял телефонную трубку. Он позвонил в столовую и попросил, чтобы Фреду прислали наверх, в его кабинет. Через пять минут пришла Фреда, очень удивлённая.

— Мисс Пиннель, окажите нам услугу, — начал мистер Чевитот тоном отеческим и вместе внуши-

тельным.— Здесь предстоит спешная реорганизация. Во-первых, мистер Энглби займёт место Элрика...

Он остановился, и Фреда успела бросить Энглби так называемый „многозначительный взгляд“. Но что он означал, этот взгляд, для Энглби осталось тайной. Он не мог подавить в себе чувства некоторого самодовольства и боялся, как бы этого не заметили другие.

— Вы поможете сейчас вашему приятелю и мне,— продолжал мистер Чевиот с лукавым огоньком в глазах,— а вероятно, и Восьмой армии, и Красной Армии, если будете нашим секретарём в течение какого-нибудь часа. Согласны?

— Ну, конечно,— сказала Фреда кротко.— Сейчас принесу блокнот.

Они работали почти до десяти часов.

— Перепишите вот это, мисс Пиннель,— командовал время от времени Энглби, либо совсем не глядя на неё, либо глядя как на чужого, незнакомого человека. И Фреда, задетая этим, утомлённая, раздражённая, всё же находила в работе с ними какое-то давно неиспытанное удовлетворение. Общество этих двух мужчин, столь различных, но одинаково поглощённых работой, их бескорыстная творческая энергия, сознание важности этой работы, в которую и она вносила какую-то маленькую долю, ощущение необычно позднего времени и какой-то отрешённости от всего — все это вместе взятое неожиданно положило конец постоянно томившему её душевному беспокойству, и она испытывала чувство удовлетворения, почти похожее на счастье.

— Можете не оправдываться,— сказала она отрывисто, когда они с Энглби уселись, наконец, в его автомобиль.— Я с удовольствием поработала.

Но не разговаривайте сейчас со мной. Мне не хочется разговаривать.

— Очень хорошо,— ответил он благодушно.— Я и сам охотно помолчу. День был утомительный.

35

— Да, ну, полноте, Энглби,— сказал Элрик.— Не в чем вам извиняться. Я рад, что именно вы заняли моё место. И знаю, что вы и не думали меня „спихивать“.

— Мне и не снилось это назначение,— вставил Энглби.

— Меня никто не спихнул,— продолжал Элрик.— Я сам себя спихнул. И не спрашивайте меня, как это вышло, потому что я этого не знаю.

— Мистер Чевинот говорил мне вчера вечером, что он без вас не может обойтись и вовсе не намерен вас отпускать. Он хочет перевести вас на один из новых заводов, которые будут в его ведении. Но мне велено ничего вам не говорить...

— Понимаю... Но это уже будет не то. Тут останется половина моей души. Я врос в этот завод... и завтра не увижу его больше!

— А зачем вам уходить раньше, чем...

— Я ухожу сегодня вечером,— сказал Элрик резко.— К чему тянуть? Лучше кончить разом. Так что давайте дальше, Энглби. Вот тут список наших мастеров, а тут список помощников...

Они вместе склонились над бумагами, и Энглби спрашивал, а Элрик отвечал, указывая, какие у каждого работника достоинства и какие недостатки. Элрик от напряжения даже вспотел и весь дрожал. Энглби несколько раз предлагал сделать передышку, но Элрик только презритель-

но отмахивался и, охрипший, замученный, продолжал объяснять. Энглби только сейчас понял по-настоящему, сколько душевной энергии, вероятно, было в нём, когда обстоятельства не мешали ей проявляться, и как легко он может вновь обрести её. Он понял, почему мистер Чевит так охотно прощал Элрику многое. Была в этом человеке, среди множества хлама, который быстро мог бы сгореть во вспыхнувшем вновь пламени его души, бескорыстная любовь к своему делу, горевшая мощным неугасимым светом, который мог служить другим людям маяком. Энглби подумал, что он на месте Элрика легко сумел бы себя укротить и тем самым облегчить себе дорогу в жизни, но никогда он не был бы способен в такой мере, как Элрик, отвечать требованиям переживаемого великого момента, работать так, как работал тот после падения Дюнкерка, и как он будет работать, если понадобится... Должно быть, его мрачность и внезапные приступы раздражительности объяснялись тем, что после титанической борьбы на высотах он не мог более жить вялой и размеренной жизнью долин.

Элрик и не подозревал, какие мысли проходили в уме этого сдержанного и деловитого молодого инженера. Он думал, что Энглби видит в нём только раньше времени постаревшего пьяницу с трясущимися руками.

Они кончили как раз во-время, Энглби мог ещё поспеть к позднему завтраку. Элрик не пошёл с ним в столовую. У него не было аппетита и не хотелось больше оставаться в обществе Энглби. Он решил обойти цех, быть может, в последний раз. У лестницы он наткнулся на Сэмми Хэмпса.

— Хэлло, мистер Элрик! — воскликнул Сэмми. Элрик посмотрел на него.

— Очень уж вы всегда веселы, Сэмми. Это ваш недостаток.

Старик сказал растерянно:

— Что ж, раз я так чувствую, мистер Элрик. Я уже говорил об этом на-днях с мистером Чевинотом.

— Что же вы говорили? Расскажите, послушаю.

Сэмми смотрел на него с некоторым сомнением.

— Я ему объяснил, что после того как я всё потерял и больше мне ожидать было нечего, мне стало казаться, будто у меня есть всё, и с тех пор я рад всякой малости.

Элрик подумал с минутой:

— Понимаю. Вы начали с пустого места. Вы были живы — и больше ничего, а всё, что приходило потом и было не слишком плохим, всё это вы принимали как подарок. Так, что ли?

Сэмми просиял.

— Вот, вот, мистер Элрик! Вы мигом сообразили.

— Но всё-таки это не по мне, Сэмми, нет. Я по-прежнему считаю, что вы слишком веселы, чорт вас возьми! Ваш способ — просто самообман. Это значит обжуливать себя самого. Вы не обижайтесь, Сэмми, это самое можно сказать про большинство из нас. Нельзя начинать с пустого места. Нельзя не ожидать и не желать ничего. Мы люди, Сэмми, и недаром за последний миллион лет миллиарды и миллиарды таких, как мы, суетились на земле, отдавали все силы, из кожи лезли, рыскали повсюду в поисках чего-нибудь лучшего, нового, мечтали, надеялись, радовались, когда выглядывало солнце. Мы с этим родимся, это у нас в крови: ожидание, стремление к чему-то лучшему, чем то, что видели отцы.

Каждому нужно верить, что работа его кончится удачно, что товарищи не предадут, что где-то есть женщина, ожидающая его, что у него будут дети, которые будут жить, когда он умрёт. Говорю вам, Сэмми,—человек так уж создан. Вы, конечно, можете это в себе уничтожить, ведь есть же люди, у которых вырезали половину внутренних органов, чтобы спасти остальное,—но это уже не жизнь. Я вас не осуждаю, Сэмми. Я знаю, что вы пережили. Ну, прощайте, всего вам хорошего, Сэмми.

— А почему вы так говорите, мистер Элрик? Разве вы от нас уходите?

— Да. Я здесь сегодня, вероятно, в последний раз.

— Да как же это...— ахнул расстроенный Сэмми.— Это нехорошо, мистер Элрик. Никто из нас не хочет, чтобы вы ушли, мистер Элрик.

— Спасибо, Сэмми. Но так уж вышло. Видите, вы сейчас изменили своему правилу быть всеобщим довольным: сказали, что это „нехорошо“. Конечно, нехорошо. Всё для нас нехорошо по сравнению с тем, чего душа просит. Вот вы говорите, что никто не хочет, чтобы я ушёл. Мало ли что. Мы не хотим Гитлера. Мы не хотим затемнения и бомбёжек. Мы не хотим дни и ночи готовить самолёты, и пушки, и бомбы, и строить аэродромы, когда у нас нехватает городов и приличных жилищ, и мебели, и кастрюль да сковородок, и радиоприемников. Мы не хотим, чтобы куча богатых мошенников сидела и придумывала, как удержать власть над нами, когда война кончится. Но вместо того чтобы раздувать в себе этот огонь, мы пытаемся его залить, уверяем себя, что то, что есть у нас, хорошо, вместо того чтобы заменить его самым лучшим, какое только можно себе вообразить. Конечно, не мне говорить. Я в

своей жизни много валял дурака. Но я хоть сознаю это... Ну, будьте здоровы, Сэмми.

Сэмми стоял у лестницы и смотрел вслед Элрику. Печаль и растерянность, каких он давно не испытывал, приковали его к месту. Не столько слова Элрика, сколько тон их произвёл на Сэмми сильное впечатление. Элрик говорил так, как будто уже был чужой здесь, как будто только призрак его бродил по заводу.

Элрик медленно шёл по цеху, останавливаясь то тут, то там, чтобы поговорить со старыми товарищами. Вот он встретил Клитона, у которого был почему-то довольный вид.

— Вы сегодня какой-то необыкновенный, Альф,— сказал Элрик.— В чём дело? А, знаю,— вы опять начали курить!

Клитон выпустил из своей чёрной трубочки солидный и не слишком благоуханный залп дыма, кивнул и подмигнул Элрику.

— Я сказал, что не буду курить, пока Роммеля не выгонят из Египта, а теперь его выгнали и бог знает куда ещё загонят скоро, так что можно и покурить... И вот ещё что я вам скажу, Боб. На заводе у пас тоже ветер переменился. Да. У меня ещё пока не подсчитано, доказать не могу, но я уже нюхом это чую. Все они,— он повёл трубкой вокруг, чтобы показать, что говорит о цехе,— все они опять дружно впряглись в работу. Видят, что есть, наконец, ради чего стараться, и работают как следует. Вот увидите, что будет.

— Я-то не увижу, Альф,— сказал Элрик с горечью.— Это самое комичное, но мне не смешно. Подумать только, как долго, сколько месяцев я убеждал всех — помните? — что одна только победа на фронте, только пусть запахнет наступлением,— и наши ребята встряхнутся. Так и вышло. Но вышло-то как раз тогда, когда я уйду. И че-

рез неделю-другую кое-кто и здесь и в министерстве сможет сказать и скажет: „Вот видите, ушёл Элрик — и производительность сразу повысилась“.

Клитон вынул изо рта трубку и смотрел на Элрика поверх очков.

— Постоите-ка... А кто это говорит, что вы уходите?

— Мистер Чевииот. Министерство. Правление. Я говорю, Альф. Сегодня я всё уже передал Энглби.

— Что? Этому молокососу? Не надо нам его!

— Он парень подходящий. Стойте за него, Альф. Он не подведёт, верьте моему слову.

— Ну их всех к дьяволу! — вспыхнул Клитон. — Одна неприятность за другой. А я уже радовался, что всё налаживается так хорошо. Без вас, Боб, завод будет для меня не тот. Чего-то главного будет нехватать. Мы с вами сколько раз ругались. Если вы говорили „белое“, так я обязательно говорил „чёрное“. Да, пока вы работали здесь, у меня было с кем схватиться. Не могу я спорить с этими сопляками или франтиком вроде Блэндфорда. Никакого удовольствия. Нет, подумать только! Сначала оказалось, что уходит мистер Чевииот, а сейчас вы. Теперь мне всё равно, где работать — что здесь, что в другом месте. Пришёл, отработал смену, и ладно. Как же я теперь? — спрашивал он с неподдельным возмущением.

Элрик похлопал его по плечу.

— Не так страшно, Альф. Помогайте Энглби держаться против Блэндфорда. Я думаю, он не сдрейфит. Блэндфорд не любит нашего брата, за ним не мешает понаблюдать. Я надеюсь на вас.

— Меня он не проведёт, не беспокойтесь, — сказал Клитон угрюмо. — Ни он, ни его лорды Бриксены. — Он грозно уставился на Элрика, но

затем сдвинул очки ещё ниже, на самый кончик носа, и лукаво подмигнул.

— А я собирался вам сказать, что ваша девушка опять на работу не вышла. Но теперь мне уж не до шуток...

— Это никогда не было шуткой, Альф, сказал Элрик.— Вы все не так поняли, Альф. Впрочем, и другие здесь меня понимали превратно, так что не стоит об этом говорить...

Он обвёл глазами цех. Потом, прищутив их, посмотрел опять на Клитона.

— Ну, я ухожу. Мне надо ещё сказать два слова Огмору насчёт большой лэнглей-бэртоновской машины. Он на ней никогда не работал, а она коварная. Ну, пока.

Но Клитон задержал его ещё на минутку, протянув ему руку, которую Элрик крепко стиснул в своей. Это было не похоже на Альфреда Клитона. И не один час он впоследствии размышлял о своём неожиданном порыве, но не говорил о нём ни с кем, кроме миссис Клитон, которая, прожив более полувека в женском мире бессознательных порывов, интуиции, предчувствий и предзнаменований, выслушала его без всякого удивления. Ей казалось вполне естественным бессознательное желание пожать руку другу, когда над этим другом уже витает смерть.

36

Нелли Диттон не уставала повторять себе, что она выбрана для поездки в Лондон и будет выступать по радио. Всякий раз как она об этом вспоминала, словно большой голубой воздушный шар выплывал, светясь, из темноты и, лопнув, разлетался золотым дождём нежданной чудесной

радости. Разумеется, по временам её томило нервное беспокойство при мысли, что она может осрамиться, что все узнают и будут потешаться над нею. Но чаще всего выходило так, что как раз тогда, когда на неё нападал страх, Мона Фокс бывала в бодром настроении и уверяла, что всё это совсем не страшно. И, так как Мона беспрестанно забегала к ней, чтобы наспех поболтать и умчаться, Нелли никогда подолгу не нервничала и больше бывала в самом радужном настроении. Она словно выросла вдруг. И все так ласково разговаривали с нею о предстоящей поездке.

Миссис Флинн, конечно, считала, что всем этим Нелли обязана ей. Её чёрные глазки-бусинки сверкали торжеством. Всякий раз, как Нелли взглядывала в её сторону и их глаза встречались, миссис Флинн энергично кивала ей головой, как бы подтверждая, что они попрежнему участвуют обе в одном и том же успешном предприятии. И при всяком удобном случае миссис Флинн подбегала к Нелли поболтать.

— Всё началось с того, что я пошла к мистеру Огмору,— говорила она.— Я так прямо ему и сказала: „Если,— говорю,— не меня выберут выступать по радио, тогда обязательно должны выбрать её, смотрите же, не напутайте“,— говорю.

Она беспрестанно давала Нелли советы.— Только смотрите, себя соблюдайте, когда будете в Лондоне,— выкрикивала она.— Я знаю, чего станут от вас добиваться некоторые. А если вы не знаете, так пора вам знать. Те молодчики, что подъезжают с медовыми речами, пожалуй, не лучше, а хуже других. Не позволяйте им угощать вас портвейном, как бы они вас не упрашивали. Не смотрите на то, что они работают в Радиокорпорации.

И раз миссис Флин добавила сердито:

— А что вы думаете, — если эти дикторы начнут накачивать женщину портвейном, они не только с вами, они со мной могли бы сделать что угодно.

Даже несчастный брюзга, мистер Тэйлор, у которого раньше была своя кондитерская, — и тот подошёл к Нелли, торжественно пожал ей руку и поздравил, но при этом не забыл предостеречь её, чтобы она не позволила использовать себя для пропаганды в пользу России. Он, кажется, полагал, что мистер Огмор тайно сговорился с Британской радиокорпорацией сделать из Нелли пропагандистку. — Берите пример с меня: я всегда на-чеку, — добавил он таинственно. — И советую вам, если спросят, что вы хотели бы увидеть, скажите, что Тоуэр. Это поучительное зрелище, очень поучительное.

И раздражительная миссис Дэфф, и бедняжка Элси, которая в эти дни чувствовала себя очень несчастной из-за своего женатого друга, и вечно поющие „сёстры“ — все отнеслись к ней очень доброжелательно и находили правильным то, что выбрана Нелли. Но все недоумевали, с какой стати в Лондон посылают Мону Фокс. Трое молодых людей из оркестра пришли к Нелли просить, чтобы она по радио помянула добрым словом Элмдаунскую шестёрку, которая в любое время, когда только это удобно БРК¹ и заводоуправлению, готова выступить по радио. Нелли обещала сделать всё, что будет в её силах, и чувствовала себя большим человеком и даже настолько осмелела, что попросила одного из оркестрантов поучить её игре на пианино.

Затем в обеденный перерыв, вскоре после того

¹ Британская радиовещательная компания.

как Нелли вернулась из столовой, приятель мистера Огмора, такой же, как и он, помощник мастера, специально пришёл с другого конца завода потолковать с нею. Это был крупный, словоохотливый мужчина с большими чёрными усами и густым басом.

— Вы не имеете возможности достать несколько яиц, мисс Диттон? вежливо начал он.

— Нет, вряд ли, мистер Мэлкастер, — ответила Нелли, подумав с недоумением: „Почему яйца?“

— Жаль. Видите ли, я в своё время изучал ораторское искусство, — пояснил он. — Я, бывало, целый час способен был читать наизусть Диккенса, потому что я знаю, как нужно укреплять голос. Яичный белок — вот лучшее средство. Но если его достать нельзя — значит, нельзя. Во всяком случае не напрягайте Е го.

— Не напрягать что? — спросила Нелли.

— Голос. Связки должны быть свободны, расслаблены. Собственно, следовало бы мне ехать с вами, но — между нами говоря, мисс Диттон, — тут замешана некоторая зависть ко мне, как это обычно бывает, со стороны профессионалов и кое-кого в БРК. Не буду называть имён... Да, так смотрите, поменьше говорите и берегите Голос.

Мистер Мэлкастер сказал это очень громко потому, что громадная новая машина опять завизжала, заскрипела. Мистер Огмор уверял, что это замечательная машина, но остальные все её терпеть не могли. Во-первых, она была с виду так же некрасива, как велика, во-вторых, производила невыносимый шум. Казалось, что куски металла, которые она скоблила, вопили от боли. Эта машина вообще была мучительница. Целое утро все возились с капризным чудовищем. Её изогнутые

руки-рычаги вдруг начинали содрогаться и стонать, а затем останавливались, и от неё летели фонтаны зелёных искр. Никто не любил эту машину, кроме мистера Огмора.

И, может быть, кроме мистера Стоньера. Впрочем, его не разберёшь, этого чудака, который всё только сам с собой разговаривает. Но большая машина явно чем-то притягивала его, потому что он всё время на неё посматривал, и глаза его светились, а потом он вдруг круто оборачивался и таранил глаза на неё, Нелли. Она уже говорила о нём мистеру Огмору и жаловалась мисс Шиптон, а больше она ничего не могла сделать. Разве только не замечать его. Но это было трудно, просто невозможно. Она пробовала не смотреть на него, выдерживала минут двадцать, и потом что-то заставляло её взглянуть.

Да, всё было просто чудесно, и её распирали удивление, радость, сознание собственной значительности. Но, так как ничего не бывает абсолютно прекрасно, то в этот день Нелли суждено было оказаться в центре внимания не одной, а вместе с большой машиной и мистером Стоньером.

Это случилось во время чаепития. Многие ушли за чаем, и большинство машин около Нелли бездействовало. Но новая машина — та, капризная — шумела, как всегда. Нелли только что прекратила работу. Осматриваясь, она заметила Элрика, стоявшего шагах в десяти от неё и наблюдавшего за большой машиной. Нелли почти ничего не знала об Элрике, хотя слухи доходили и до неё. Но она заметила, что он ючень изменился. Он казался утомлённым, больным, сильно постаревшим.

Как раз в ту минуту, когда она увидела Элрика и удивилась перемене в нём, ей бросилось в глаза и лицо Стоньера, и в первый раз стало ясно, что это сумасшедший, настоящий сумасшедший. Она

вдруг испугалась так, что не могла больше оставаться на месте и выносить его взгляд.

И в этот самый миг Стоньер бросился к ней. Она успела заметить, как сузились и сверкали у него глаза, а губы двигались, как будто он выкрикивал слова команды.

Она взвизгнула и хотела бежать, но было слишком поздно. Она боролась с ним, ошеломлённая, охваченная ужасом, но он был страшно силен и наполовину нёс, наполовину волочил её к большой машине. Ноги девушки отделились от земли. Сумасшедший поднял её на руки, а она уже не могла бороться — оттого ли что он был так силен, или оттого, что его лицо со слюнявым ртом было так безумно и страшно, или её обессилил жар и грохот совсем близкой теперь большой машины. Холодная волна мрака и слабости подхватила, закружила её, но в этой волне возникло вдруг новое лицо — она узнала его — лицо мистера Элрика, а вслед за тем она очутилась на полу, испуская крики, взмывавшие вверх, как ракеты, и, лежа среди топота бегущих ног, потеряла сознание...

Миссис Флинн, более чем когда-либо возбуждённая, описала ей потом всё, что случилось.

— Я прибежала, как угорелая, прямо от чайной тележки, понимаете? — рассказывала миссис Флинн. — Гляжу, вы лежите, милочка... Ну, будет вам плакать, всё ведь уже прошло... лежите на полу около этой жуткой машины... Заявлять нам, что мы должны за этими чудовищами ухаживать!.. Да, вы лежите, вся растерзанная, в разорванном халате, без чувств, а Стоньер с мистером Элриком вцепились друг в друга, как два тигра, и повалились на эту проклятую машину, и, раньше чем Стоньера успели оттащить, она вдруг опусти-

лась вниз и — бац! — отхватила половину лица у мистера Элрика... И плечо ему раздробила.

— Ох, не надо, пожалуйста, не рассказывайте, миссис Флинн! — закричала Нелли обмирая. Но потом почувствовала, что ей надо узнать всё до конца.

— Что же... Что было потом?

— Стоньера увезли в машине. Он орал и бесновался. Дождлся-таки смирительной рубашки, — сказала миссис Флинн с мрачным удовлетворением. — Ну, а мистер Элрик — того отвезли в больницу, но могли бы оставить здесь и не тормозить, всё равно ему конец. Бедняга не выживет ни за что. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти вашу, милочка, — добавила она очень торжественно, наслаждаясь трагизмом происшедшего. — Вот вам ваши обожаемые машины. „Брать и давать!“ Ухаживать за ними! Нет, пора нам, женщинам, вступить за свою плоть и кровь, пока ещё не всех перекалечили... Нелли, вы знаете миссис Оклей? Она тут бригадиром, что ли, и всё старается походить на мужчину. Ну, так вот вам пример. Когда она услышала, что с мистером Элриком беда, она как завизжит! Растолкала народ и кинулась к нему, как дикая кошка, никто не мог её удержать. Вот как чувствуют женщины. И зачем только мы посланы в этот мир, раз мы такие чувствительные? Ведь это не жизнь. Видит бог, это настоящий сумасшедший дом...

Боль утихла, но Элрик был где-то далеко, вокруг было темновато и становилось всё холоднее... Ему неприятно было это одиночество, но он понимал, что оно естественно, ибо для всех тех

людей, лиц, голосов и движений, которые для него уже так мало значили, жизнь продолжалась, всё шло своим чередом, нужно было кончать сегодняшний день, подумать о завтрашнем. А для него теперь всё остановилось. Их время ещё не кончилось, и они торопились за ним, а его уже почти истекло. Оставалось лишь слабое-слабое биение крови и легкие, движущиеся вокруг тени. Теперь ему не нужно спешить, он может лежать тихо и спокойно.

Одно лицо (он видел ясно, что оно грязно и заплакано) вдруг отделилось от остальных и встало перед его глазами. И он сознавал, что это — хорошее лицо и нужное ему, и сейчас он узнал его.

— А, Гвен! — произнёс он.

И не только Гвен, но и другим, стоявшим у кровати, показалось, что, когда Элрик произнёс это с удивлением и радостью в голосе и глаза его на миг засветились, чтобы затем угаснуть навеки, он не ушёл, а пришёл куда-то, он не кончил, а начал. Но куда он пришёл и что начал, они так никогда и не узнали, ибо он больше ничего не сказал и через несколько минут скончался.

38

В тоскливый сумеречный час, в промежутке между дневной и ночной сменами, Энглби пошёл опять в поликлинику передать кое-какие распоряжения сестре Файли. На этот раз и Фреда пошла с ним. Они были в ссоре и почти не разговаривали, и тем не менее все свободные часы проводили вместе. Они искали общества друг друга, чтобы иметь возможность проявлять свое презрение и растущую неприязнь. И так, они и сегодня про-

водили (вернее, убивали) вечер вместе, и Фреда захотела непременно идти с ним в поликлинику, потому что ей, по её словам, надоело вечно болтаться на заводе, дожидаясь его. Энглби был бледен, утомлён, и по лицу его видно было, что он глубоко расстроен. Фреда держала себя, как всегда, заносчиво, но красота её как-то потускнела. Она, конечно, слышала всё о происшедшей драме, но ей не пришлось соприкоснуться с ней так близко, как Энглби, и случившееся не произвело на неё большого впечатления. С другой стороны, всякое настроение Энглби теперь находило в ней немедленный отклик, что немало её бесило и было непонятно. Таким образом, несчастье с Элриком повлияло на неё, так сказать, рикошетом, и она испытывала от этого какую-то досаду на себя.

Итак, Энглби был задумчив, Фреда дулась, и оба жалели, что у них нехватило благоразумия отменить вечернюю встречу.

Приёмная поликлиники была пуста, но из следующей комнаты доносились голоса. Они тихонько вошли в приёмную и в нерешимости остановились у двери. Энглби не хотел уйти, не передав поручения сестре, но в то же время не хотел ей мешать, если она ещё занята у постели Элрика. Когда же, через несколько минут, он решил, что пора войти во внутреннюю комнату, дверь в которую была приоткрыта, Фреда вдруг удержала его за руку и знаками приказала ему молчать и слушать.

В комнате с сестрой Файли была Гвен Оклей, и стоявшим у двери ясно слышен был весь их разговор.

Но вы поймите, сестра, — говорила Гвен, — ничего у меня больше не осталось. К чему мне жить, когда он умер?

— Не думайте так, дорогая,—возразила сестра.— Вы сейчас сильно расстроены, конечно, но вы переживёте. Всё осталось,—кроме него, разумеется. И ведь вы не жена ему и не нуждались в его помощи...

— Нет, нет, вы не понимаете!—воскликнула Гвен с глубокой безнадежностью в голосе.— Не то вы говорите, совсем не то. Я его любила, понимаете? Я любила его много лет. Он даже не знал до этой последней минуты о моей любви. Я могла видеть его каждый день, говорить с ним, я всегда знала, что он недалеко, и этим жила. А теперь ничего нет. Пустота. Всё пусто вокруг, и я пустая. Завтра не будет ничего. И на будущей неделе не будет ничего. Ничего...—И она захлебнулась громким протяжным плачем.

— Выслушайте меня, дорогая,—сказала сестра Файли с обычной своей живостью и уверенностью.— Я старше вас на год-два и больше видела в жизни. Да, видела немало... Я тоже любила. И я знаю мужчин. Но то, что мне в них нравится, за что я их люблю, не может быть только в одном человеке. Неужели непонятно? Уходит один бедняга и уносит с собой всё, что было в нём,—силу, доброту, свои любимые шутки, свою манеру смотреть на тебя или обнимать тебя,—и, конечно, это тяжело. Если хотите знать, я тоже любила Боба Элрика, хотя особенной близости между нами никогда не было. Но один мужчина не уносит с собой всё на свете, а тем более для такой молодой женщины, как вы. Ушло только то немногое, что было в нём. Остались другие, их сила, их доброта, их шутки, их манера обнимать и смотреть на женщину... Неужели вы не согласны со мной, Гвен, милая?

— Нет, сестра,—сказала Гвен с отчаянием.— И я не пойму, как может женщина говорить так.

— Не говорите мне, что я не женщина,— отозвалась сестра Файли с некоторым раздражением.— Я не меньше женщина, чем другие, а может, и побольше многих других. Только я никогда не теряю головы, вот и всё.

— Но как вы можете так рассуждать? Не в том дело, что было в нём и что есть у других. Мне это всё равно. Я одно знаю: сегодня утром он был, а теперь его нет и не будет никогда. Мне он нужен, только он. И я теперь, как неживая, и не верю, что буду когда-нибудь опять живая, как другие люди. Лучше бы я умерла!..

— А я говорю, что всё это глупости,— сказала сестра настойчиво, но не резко.— Мне не раз приходилось слышать такие слова. Недаром же я так давно работаю в больницах. Сколько людей умирало на моих руках, и оставшиеся твердили, что не хотят больше жить! Они это вычитывают в книгах, слышат в пьесах и фильмах, это романтично. А я говорю: глупости. Жизнь — вот что главное. Там, где я училась, работал старый хирург, шотландец Мак-Фейл. Он иногда беседовал с нами. Так вот он говорил нам всегда, чтобы мы верили в жизнь и дрались за неё, не отступая ни на шаг. То, что вы чувствовали к Бобу,— хорошо, потому что в этом было много жизни. А если вы сейчас хотите умереть — значит, вы повернулись спиной ко всему, что было.

— О, нет, сестра, это не так. Мы чувствуем что-то — глубоко-глубоко внутри — к одному человеку, и оно принадлежит только ему и никому больше...

— Оно жизни принадлежит, а не тому или другому мужчине! — воскликнула сестра Файли.

— Но ведь в этом-то особенном, глубоком чувстве к одному, которое делает всё на свете милым,— в нём-то и есть жизнь.

— Думайте так, если хотите, Гвен. Но, по моему, вы слишком это раздуваете в себе. Есть множество вещей, которые вас могут радовать, если подойти к ним по-настоящему. Не мужчины, так...

— Да, знаю, что вы хотите сказать,— перебила Гвен.— Я это всё уже сама себе твердила сколько раз, когда пробовала себя уговорить не сходить по нём с ума. Но все эти вещи, о которых вы думаете, и раньше не были главным, а теперь они для меня — ничто, ничто, ничто!

— Они — всё, всё, всё! Они — единственное, что у нас есть... Вот что, Гвен, как придёте домой, примите вот эти две таблетки, и вы уснёте. Можете, если хотите, завтра не выходить на работу, но я бы вам советовала сделать над собой усилие и притти, как всегда, это вам будет полезно.

— Я и не собираюсь сидеть дома,— сказала Гвен обиженно.— Это после всего того, что он говорил о прогульщиках?! Он бы меня возненавидел за это. И на заводе я буду к нему ближе, чем во всяком другом месте.

Гвен, видимо, собиралась уходить, и Фреда торопливо указала Энглби на наружную дверь. Таким образом, когда Гвен, а за нею сестра Файла вышли в приёмную, обе подумали, что Энглби со своей спутницей только что вошли с улицы.

— Здравствуйте, миссис Оклей,— сказал Энглби, стараясь говорить как можно более непринуждённо.

— Здравствуйте, мистер Энглби.— Она улыбнулась бледной, жалобной улыбкой.

Вы знаете, мне пришлось занять его место,— сказал Энглби, понизив голос.— И мне незачем вам говорить, что заменить Боба Элрика будет нелегко. Но он уверял, что доволен моим

назначением. И имейте в виду, миссис Оклей,— я особенно рассчитываю на вас, вы ведь так давно работаете здесь. Если завтра сможете выкроить для меня полчаса, приходите наверх, потолкуем. Мне нужно с вами посоветоваться о разных вещах. Придёте?

— Хорошо, я... я постараюсь. До свиданья.— И Гвен вышла.

После паузы Энглби передал поручения сестре, она записала. Потом пытливо посмотрела на него.

— Я вас мало знаю, мистер Энглби. Но мне почему-то кажется, что вы будете на месте и что вы умный человек. А что,— обратилась она к Фреде, — это верно? Он умный?

Да,— сказала Фреда медленно.— По-моему, умный.

— Вот и отлично! — воскликнула сестра Файли и в последний раз оглядела приёмную, проверяя, всё ли в порядке.— Да, денёк у нас был сегодня, я вам доложу! Я не отказалась бы сейчас выпить...

Очень сожалею, что не могу вас угостить,— сказал Энглби смеясь.— Надеюсь, вам удастся сегодня выпить. Пойдёмте, Фреда. Покойной ночи, сестра.

Когда он и Фреда шли через главный цех, он вдруг что-то вспомнил и повернулся к ней.

Мне придётся на пять минут подняться к себе наверх. Извините. Может быть, пойдёте со мной... если я вам ещё не надоел?

— Пойду,— ответила она голосом, настолько невыразительным, что Энглби не мог угадать её настроения. Они молча поднялись по лестнице. Наверху было очень тихо и тоскливо. Пока Энглби проделал всё, что ему было нужно, прошло не пять, а пятнадцать минут. Но — странное дело — Фреда не выражала нетерпения. Она си-

дела, наблюдая за ним, и взгляд, брошенный им украдкой на её лицо, ровно ничего не сказал ему.

— Я готов, — объявил он наконец.

— Сядьте на минуту, — предложила вдруг Фреда. — Мне хочется с вами поговорить, и, пожалуй, лучше всего сделать это сейчас. Вы слышали разговор двух женщин в поликлинике. С которой вы согласны?

— Я тоже думал об этом. В теории я согласен с сестрой. На практике... право, не знаю. Мне были понятны чувства бедняжки Гвен. А что?

— Ничего, просто хотела знать ваше мнение. Я думала об этом споре. И думала о нас обоих. К чему мы идём?

— И какой же ответ вы нашли? — Он сделал вид, что очень занят своей папиросой.

— Мне кажется, мы всё время только сводим счёты, — сказала Фреда серьёзно. — То вы со мной, то я с вами. И я несколько раз решала, что не буду больше с вами встречаться, но, конечно, продолжаю встречаться, главным образом потому, что всякий раз готовлюсь сказать вам что-нибудь такое, что проняло бы вас. Мило?

— Мы пытаемся каждый преодолеть свой комплекс неполноценности. Вы представляете всё то, что я в принципе ненавижу и чего на практике боюсь. Но, разумеется, если бы в вас, наряду с этим, не было большого очарования, я бы не стал с вами возиться.

— Ну, а я? Я вовсе не страдаю чувством неполноценности, как вы это называете. Я считаю себя определённо выше вас, но, конечно, мне ещё нужно вам доказать это.

Он спокойно посмотрел на неё.

— Хитрите, Фреда! Что толку, если мы будем лгать друг другу? А вы жульничаете. Лучше начните опять.

Она сперва рассердилась, потом лицо её прояснилось, и она захохотала.

— Я всегда собиралась замуж за какого-нибудь высокого и не комнатного человека, хорошего наездника, который мог бы получить место в Кении. У меня было двое-трое таких на примете, но не знаю, что с ними теперь случилось.

— Наверное, воюют где-нибудь на фронте. Это больше, чем то, что я делаю здесь. Впрочем, это не моя вина,— добавил он, словно оправдываясь.

— Не глумитесь,— перебила она поспешно,— И не считайте меня глупой. Я за последнее время убедилась, что вы, пожалуй, делаете для обороны больше, чем десяток фронтовиков. Ну, хорошо, я вам о себе рассказала, теперь вы. Был у вас кто-нибудь в Вульверхемптоне или в другом месте?

— Да. Но мы не говорили о своих чувствах и не понимали друг друга. Она мне нравилась. Учительница. Славная девушка и неглупая. Из той же среды, что и я.

— Словом, всё идеально. Ну, и где же она?

Он покачал головой.

— Должно быть, сочеталась браком с каким-нибудь высоким наездником, получившим службу в Кении. Во всяком случае, сейчас она меня больше не интересует.

Он вдруг сделал нетерпеливое движение и, перебив самого себя, сказал уже другим тоном:

— Послушайте, Фреда, я сегодня не в состоянии держаться с вами прежней тактики. Если хотите продолжать наступление, вы выиграете, но это будет жалкая победа. Понимаете, я устал. Достаточно уж того, что я вдруг оказался на месте Элрика,— скачок, который мне и не снился. Но я вынужден был сделать это, так сказать,

через его труп. Я любил Элрика. Нелегко будет мне здесь работать сейчас...

— Ничего, сумеете,— сказала Фреда.— Не следовало бы это говорить, но я убеждена, что справитесь. И я не верю, чтобы Фрэнсис Блэндфорд или кто другой мог помешать вам, даже если бы хотел. Вы будете хладнокровны и тверды там, где бедный Элрик всегда только из себя выходил. Такой уж вы. И не надо сомневаться в себе и беспокоиться.

— А я всё-таки беспокоюсь. Кроме того, сегодня мне грустно, даже немного тошно... Знаете, почему я сказал, что мне будет нелегко здесь? Есть один человек, который может стать мне попере́к дороги: это вы, Фреда.

Она смотрела на него широко открытыми глазами, словно в первый раз увидела его близко.

— Вы что, острить вздумали, Морис?

— Никогда ещё не был так далёк от этого. Мне совсем не до шуток. Вот что я хочу вам сказать, Фреда. Если вы не можете помогать мне, тогда я хочу, чтобы вы ушли с завода. Ступайте в женский батальон или куда угодно. Да, да, я говорю серьёзно.

— А чем я могу помогать вам?

— Я и об этом тоже думал.— Он пылливо смотрел на неё.— Вам придётся выйти за меня замуж. И очень скоро.

Фреда казалась искренно поражённой и даже немного испуганной.

— Но постоит минутку. Я никогда... Мы с вами оба ошибались в своих чувствах. Мы это только что установили.

— Тогда зачем мы сидим здесь и препираемся?— спросил он.

— Знаете, Морис, всякий раз, когда мне кажется, что я вас прижала к стене и что вас те-

перь легко будет поставить на место, вы вдруг делаете или говорите что-нибудь такое, что опрокидывает все мои решения и даже пугает меня... Вы серьёзно думаете, что влюблены в меня?

Он утвердительно кивнул головой. Вид у него был сконфуженный.

— Да, мне кажется, что именно так оно и есть.

— Но вы как будто недовольны этим! — воскликнула Фреда, одновременно и сердясь и забавляясь.

Он шагнул к ней, взял её за руки и с принуждённостью, весьма удивительной в нём и даже похожей на опытность, поцеловал её.

— Кое-чем доволен, кое-чем нет. Но бороться с этим сейчас выше моих сил. — И он вторично поцеловал её.

— Ладно! — воскликнула Фреда почти злобно. — Я выйду за вас. И я уверена, что буду ужасной женой, а вы будете каждую ночь рассуждать о социализме и успехах техники.

— Возможно. Но ваши дети вырастут в мире социализма и высокой техники, так что и вам не мешает ознакомиться немного и с тем и другим.

Она вскочила со стула.

— Вот как, даже и дети предполагаются?

— Да, если нам повезёт.

— Вы находите, что в таком мире, как наш, стоит иметь детей?

— Обязательно, при всех обстоятельствах.

— Вот это... — И в неожиданном порыве она положила руки ему на плечи и сжала их. — Вот это самое разумное из всего, что я когда-либо слышала от вас. Мне собственно следовало бы иметь мужа глупее меня, а в вас я с первого дня угадала умницу. Ну, пойдёмте! Мы уже теперь не найдём нигде никакой еды...

— Найдём. Нас ждёт ужин в „Каунти“. Я его

заказал ещё утром.— Он рассмеялся.— Я не считаю, что класс паразитов следует морить голодом, я только хочу заставить его работать.

Когда они уже сошли с лестницы, Фреда вдруг спросила:

— Но вы мне так и не сказали, Морис, почему вы боитесь, что вам трудно будет работать в новой должности?

И пока они шли к воротам, где уже собиралась ночная смена, Энглби начал объяснять ей это.

39

Похороны состоялись в субботу утром, и Чевитот, Блэндфорд и Энглби возвратились вместе на завод в автомобиле Чевитоа. Чевитот приехал специально для того, чтобы присутствовать на похоронах, но заодно решил после похорон обсудить некоторые вопросы, касающиеся завода. Так как он теперь переехал в другой район и управлял целой группой заводов, то не следовало упускать удобного случая.

— Бедняга Боб не обиделся бы на это,— сказал он Блэндфорду и Энглби, когда они подкатили к воротам.— Он удовольствовался бы тем, что мы помянем его за стаканом виски и вернёмся к работе. Так что пойдёмте.

Автомобиль остановился немного в стороне от главного входа. Из ворот уже появились отдельные фигуры. Чевитот задержал своих спутников.

— Не стоит торопиться. Посмотрим, как будут выходить рабочие. Сейчас гудок. Бог знает, когда ещё мне представится случай увидеть их всех разом в субботний день. Подождём несколько минут.

Засунув глубоко руки в карманы пальто, под-

няв массивные старчески-сутулые плечи и вытянув вперёд голову, Чевииот стоял между Блэндфордом и Энглби. Стоял на широко расставленных ногах так прочно, словно врос в землю, и от его большой нескладной фигуры веяло простотой и мудростью. Всё больше и больше людей выходило из заводских ворот, но пока это были главным образом служащие. Только через несколько минут толпой повалили рабочие.

Чевииот кивал тому, другому и поглядывал сбоку на Блэндфорда и Энглби. Он думал: как поведут себя эти двое? Объединятся ли в интересах работы или будут мешать друг другу? Молодой Энглби, обманчиво тихий и робкий на вид, обручился с той рослой красивой девушкой, родственницей Блэндфорда и его бывшей секретаршей. Блэндфорд поговаривает о своём переселении поближе к заводу и, кажется, начинает сознавать, что в его работе есть нечто поважнее разрешения всяких технических проблем и возни с бумагами. Завод — это, кроме всего прочего, живые люди, и Блэндфорду пора посмотреть на них другими глазами, чем до сих пор, и познакомиться с ними поближе.

— Ручаюсь, — промолвил Чевииот, — что цифры выпуска опять повысятся на той неделе.

— Надеюсь, — отозвался Блэндфорд. — Несколько камней преткновения мы уже убрали с дороги.

— Да, а главное, Роммель тоже почти убран с дороги, — вмешался Энглби. — Как прав был Элрик! Дайте людям стимул, заставьте их почувствовать, что есть ради чего работать, — и они всего добьются.

— Я с этим не спору, — сказал Блэндфорд, — хотя Элрик всегда подозревал меня в скептицизме. Но я считаю, что нельзя переоценивать роль

рабочего и под этим предлогом пренебрегать решением чисто технических задач. Я армиями не командую и не могу гарантировать моим рабочим побед на фронте. Я занимаюсь вопросами производства, а всякие обобщения насчёт войны и морального состояния народа — дело не моё. Пусть этим занимаются разные пустомели-журналисты да политики.

— Я вашу точку зрения понимаю, Блэндфорд, — сказал Чевит. — Всегда понимал и защищал вас. Но сейчас, когда вы заняли моё место, вы увидите сами, что необходимо немножко переменить позицию. Чем бы вы ни занимались в наши дни, в конечном счёте непременно окажется, что всё упирается в людей, зависит от того, что они думают и чувствуют, чего боятся, на что надеются. Мне на днях рассказали лучший анекдот, какой я когда-либо слышал. Германский солдат, взятый в плен русским солдатом, говорит ему: „Мы знаем, за что воюем. А вот за что вы воюете, мы не можем понять“. А русский посмотрел на него пристально и отвечает: „Мы воюем за вас“. Да. Народ хочет быть уверен, что он воюет за себя и за таких же, как он, что он работает для себя и для своих братьев во всём мире.

— По их разговорам это не всегда заметно, — бросил Блэндфорд.

— Большинство из них не умеет выражать свои мысли, — возразил Чевит. — Они, если и говорят, так не высказывают того, что чувствуют. Они слишком застенчивы и боятся быть осмеянными.

— Это верно, — вставил Энглби.

— Зато свои истинные чувства они вкладывают в работу, — продолжал Чевит, — и тогда цифры неоспоримо говорят вместо них... Ага, выйдут!

Они выходили, жмурясь от дневного света, мигая глазами. Они болтали, или брюзжали, или смеялись, и все жадно вдыхали холодный воздух. Был туманный ноябрьский день. Солнце стояло серебряным кружком в зеленоватом небе, и свет его был слаб и жидок. Летние субботы, золотые, с жарким синим небом, остались далеко позади. Мокрые мёртвые листья прилипли к стенам, как афиши. С запада шли дождевые тучи. В безветренном воздухе гудели автобусы, длинный ряд которых готовился тронуться в путь и отравлял воздух. Но всё же здесь светило солнце, здесь был настоящий дневной свет. Была суббота.

Подумав о том, что он долго опять не увидит их всех, Чевииот расчувствовался. Волнение, испытанное им, когда он смотрел, как опускали в могилу гроб Элрика, сейчас снова поднялось в нём. Он расстается с этими людьми, работавшими с ним, верившими ему. Тут ничего не поделаешь. Но душой он всегда будет с ними и им подобными. Будет ли скоро заключён мир, замолкнут ли скоро орудия или нет — всё равно, он не уйдёт с поста, не окопается в уютном гнезде. Не подкупить его тем, кто наверху, не предоставит он действовать лордам Бриксенам! Они полагают, что народ должен жить, отгороженный от всего высокой стеной. Нет, народу надо помочь выбраться. Он, Чевииот, будет работать так же, не жалея сил, создавая то, что потребуется в мирное время, когда заводы перестанут работать на войну. С ним будет Дэвид и его товарищи, эта славная молодёжь, которая уже начинает задавать пытливые вопросы. И скоро, быть может, они возьмут руль из его усталых, дрожащих рук. Впереди — гора дела, которое он будет делать вместе с другими людьми и для них. Он знал теперь

то, что не ясно понимал уже давно: счастье не в том, чтобы получать и сберегать, а в том, чтобы творить и давать.

Он всё кланялся и улыбался, как будто узнавая одно знакомое лицо за другим, на самом же деле он уже не видел отдельных лиц: перед ним огромным сплошным потоком проходило человечество.

Вот все они вышли на дневной свет, с наслаждением глотая холодный воздух, радуясь солнцу: Перси Проскот, Эдит Шиптон, мисс Бэрроус, Мюриэль Ллойд, сестра Файли, миссис Холт и Берта Сьюэлл, Гвен Оклей, Артур Болтон, Нелли Диттон, Мона Фокс, Элси, Джек Браймбер, Альфред Клитон, Фред Сколби, Сэмми Хэмп, Томас Вулер, Берт Огмор, Уолли и Лесли, Джордж Пальмер, Рэнкин, Филипс, Чарли Кинг, старый Паттерсон, Джек, Гейстон, старый Боулс, миссис Григсон, миссис Фью, миссис Грин, миссис Дэфф, миссис Флинн, мистер Тэйлор, миссис Уэйке и мисс Трумэн, Мэри Грю, миссис Рули, Рэндольф Перкинс. Я назвал только тех, с кем вы уже знакомы, но остались тысячи незнакомых, с которыми мы, не зная их, живём одной жизнью.

717